Героико-патриотический литературно-художественный альманах

ПОДВИГ

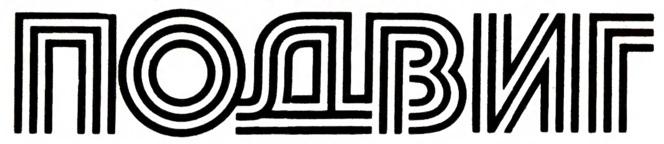
ВЫПУСК

25

Издательство ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия"



Героико-патриотический литературно-художественный альманах



Издательство ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия"

Выпуск 25 1984

СОДЕРЖАНИЕ

П $\frac{4702000000-157}{078(02)-84}$ 051—84



ГЕОРГИЙ СОКОЛОВ



1

Мне, как ветерану Великой Отечественной войны, часто приходится выступать в школах, воинских частях, в колхозах, на предприятиях и рассказывать о героизме советских солдат, матросов и офицеров.

Нередко на этих встречах возникали горячие разговоры и даже споры о том, что такое подвиг. Одни говорили, что это единый порыв; другие считали, что и длительный период человеческой жизни бывает подвигом; третьи уверяли, что подвиги совершались только во время войны, а в мирное время они редки, разве что на пожаре, во время несчастного случая, при поимке бандитов или диверсантов.

Однажды один старшеклассник спросил меня:

— В предисловии к Вашей книге Герой Советского Союза Борзенко написал, что Вы уничтожили в рукопашных схватках более полусотни гитлеровцев, много раз ходили как разведчик в тыл противника. Считаете ли Вы себя героем?

Такой вопрос в упор смутит, думаю, даже тех, кто носит Золотую Звезду Героя. А у меня нет Золотой Звезды, и я не считаю себя героем. Как же ответил я? Я ответил так:

— Просто я добросовестно выполнял боевые приказы, был хорошо обучен, натренирован, поэтому выходил победителем в рукопашных схватках.

— Кого же считать героем? — растерянно воскликнул старшеклассник.— И что такое подвиг вообще?

В самом деле, что же такое подвиг?

2

Во время войны я командовал ротой разведчиков. Как-то в дни затишья между боями зашел разговор о подвигах. Сначала просто вспоминали о боях в Севастополе, затем разговор перекинулся на Крымскую войну столетней давности. Вспомнили матроса Кошку и других героев того времени. И вот тут-то возник вопрос: кого называть героем?

Один из разведчиков заявил, что, если человек сознательно идет на смерть, значит, он герой, ибо жизнь — самое дорогое, что есть у человека.

Но тут раздались голоса:

— Бандиты тоже рискуют жизнью...

— Царский палач генерал Милорадович завтракал под пулями. Стало быть, он герой?

Вот тут-то и начался спор! Некоторые склонны были считать героем того, кто не жалеет жизни ради идеи. Но опять кто-то возразил:

— Фашисты тоже имеют идею.

А тут еще одну путаницу внесли. Один разведчик сказал так:

— Представьте себе: идет бой. Первая же пуля убивает командира. Бойцы теряются, хотят отступать. Тогда я беру командование на себя и со словами «за Родину!» веду солдат на врага. Как надо считать мой поступок: героическим?

— Ну конечно! — послышались голоса.

— А если в основе моего поступка было желание получить лейтенантские погоны?

Опять разведчики были озадачены.

Как же мы закончили разговор о том, что такое героизм?

Мы решили, что героизма «вообще» нет. Всегда следует спрашивать себя: во имя чего совершен тот или иной смелый поступок?

Другой постановки вопроса быть не может. Все дело в том, за что борется человек. Никто не назовет бандита, вора и хулигана героической личностью. Их «подвиги» не вдохновляют.

Почему нельзя назвать героем того бойца, который заменил командира из тщеславного желания заработать офицерские погоны?

А потому, что тот боец способен на подвиг только тогда, когда на него смотрят. А если бы никто не видел его в ту минуту, если бы он не был уверен в получении лейтенантских звездочек, то не стал бы рисковать жизнью. Какая же цена такому поступку?

Мне вспоминается один военный эпизод. Был в моей роте сержант, комсомолец Иван Баталов. Однажды группа разведчиков попала в тяжелое положение. Вражеский пулемет, находящийся в дзоте, который мы блокировали, прижал разведчиков к земле, не давал возможности даже поднять голову. Лежать долго нельзя — вот-вот гитлеровцы вызовут огонь минометов, и тогда

не выползешь: место, где залегли разведчики, было хорошо пристреляно врагами. И вот тогда, чтобы спасти товарищей, Иван Баталов пожертвовал своей жизнью. Он вскочил и бросился к вражескому пулемету. Пронзенный десятком пуль, он лег на пулемет — и тот захлебнулся. Разведчики бросились вперед и перебили гарнизон дзота.

Баталов умер как герой. В его левом нагрудном кармане хранился комсомольский билет, а в нем мы нашли записку, на которой были написаны слова Николая Островского:

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Да, это так. Жизнь действительно самое дорогое, что есть у человека. Во время войны мне много раз приходилось участвовать в рукопашных схватках, ходить в разведку, попадать под артиллерийский огонь и под бомбы. Но я не сказал бы, что не жалел жизни, не боялся за нее, не испытывал чувства страха.

Мы шли в разведку, высаживались десантом, вступали в рукопашные бои.

Почему же мы шли в бой, и дрались до победы, и отдавали свои жизни?

Есть, стало быть, у человека чувство, которое выше чувства самосохранения, желания выжить. Это чувство — долг перед своим народом, любовь к Родине, то есть то, что мы называем патриотизмом.

Мне кажется, что подвиг — это проявление потенциальных возможностей человека. Все зависит от того, как человек привык ежедневно, ежечасно решать проблему «я» и «мы». Все начинается с мелочей, с повседневного, будничного. Каждый день нашей жизни дает нам возможность воспитывать в себе настоящего человека, чтобы в нужную минуту устоять перед самым большим испытанием. А такое большое испытание хоть раз в жизни приходит к каждому человеку.

Вспомним роман Фадеева «Молодая гвардия». Роман оканчивается перечнем имен и фамилий тех, кто пожертвовал жизнью ради Родины, вынес величайшие муки, пытки и не сдался. Их около ста. Все это были рядовые, незаметные юноши и девушки. В мирное время никто не подозревал в них такой огромной душевной силы. Они и были простыми мальчиками и девочками, но все они — герои. Их мучили, их зверски пытали, но они молчали, они не предали дружбы и того высокого, святого, за что боролись. Они пренебрегли собственными страданиями во имя высокого, благородного, они пренебрегли личным ради общественного, «мы» для них было выше, чем «я».

Одна девушка-молодогвардейка говорила: «Я, конечно, ничего не скажу, но мне очень страшно». Кажется, не геройские слова, а разве она не героиня? Она совершила подвиг так же просто, как дышала, поступить иначе она не могла — так воспитали ее и ее сверстников комсомол, Коммунистическая партия. Человек совершил подвиг просто, как жил.

Не мелочным стремлением к личной славе, а сознанием, что ведем с врагом «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле», как писал поэт Твардовский, совершали советские люди героические подвиги.

3

Великая Октябрьская социалистическая революция породила новый тип человека — сознательного защитника народной власти, носителя новых идей классового и национального освобождения. Патриотизм, в котором высокое чувство национальной гордости обогащено сознанием социальной справедливости, становится гигантской силой, неодолимой и животворной, рождающей массовый героизм.

Воспитанные Коммунистической партией, советские люди ставят на первый план не личное «я», а общественное «мы». Вот почему героизм в нашей стране стал массовым. Героев у нас не единицы, даже не сотни, а десятки и сотни тысяч. Стоит только сказать: Ленинград, Сталинград, Севастополь — как вслед за этими словами мы вспомним множество героев.

Вот, скажем, Севастополь. Мы знаем, что в летопись Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровских захватчиков Севастополь вошел как пример доблести, самоотверженного служения Родине его защитников. Восемь с лишним месяцев советские воины стойко обороняли Севастополь, отражая натиск озверелых фашистских полчищ. Гитлеровцы потеряли под Севастополем триста тысяч солдат и офицеров, тысячи танков и орудий. В дни обороны Севастополя советские люди показали всему миру образцы непревзойденного героизма, мужества, храбрости.

Или, скажем, Малая земля. Это была крепость, хотя и без крепостных стен, которую гитлеровцы не могли взять в течение семи месяцев. Там воевали люди, чье мужество, преданность Родине были проверены не раз. Неспроста гитлеровцы называли защитников Малой земли трижды коммунистами. Тот, кто ступал на берег Малой земли, уже становился героем, трус там не мог существовать.

4

Иногда понимают героизм как что-то мгновенное, обязательно связанное с риском для жизни. Но разве этим исчерпывается героизм? Вспомним Чернышевского. Разве его

жизнь в глуши, в ссылке, в одиночестве, разве его непрерывный труд и гордая вера — не подвиг? А жизнь создателя нашей партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина — это разве не подвиг?

В воспоминаниях генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза А. Родимцева есть впечатляющий рассказ о лейтенанте Афанасьеве, который командовал героическим гарнизоном четырехэтажного «Дома солдатской славы».

Вот что рассказывает генерал Родимцев:

«Уже после войны из-за тяжелых ранений лейтенант Афанасьев Иван Филиппович ослеп. Целых двадцать лет для него кругом была мгла. Но гвардеец не сдался, не опустил руки. Он продолжал работать, часто выступал на собраниях, встречался с комсомольцами, воинами Советской Армии. Слепым написал книгу о мужественных защитниках Сталинграда. Судьбой героя-гвардейца заинтересовался заведующий кафедрой глазных болезней Волгоградского медицинского института профессор Александр Михайлович Водоводов. Он решил сделать ему операцию глаз. Операция проходила без наркоза.

Иван Филиппович был ассистентом профессора. Превозмогая боль, от которой, казалось, вот-вот померкнет разум, Афанасьев по ходу операции отвечал на вопросы хирурга, когда внутрь глаза вторгались иглы шприца. Такое мог вынести только закаленный в суровых испытаниях воин. В памяти Ивана Филипповича Сталинград остался городом руин. Когда хирург вернул ему зрение, Афанасьев увидел другой город, возрожденный к жизни из праха и пепла».

И генерал справедливо спрашивает:

«Когда же совершил подвиг Афанасьев? В суровые дни обороны Сталинграда, когда командовал гарнизоном «Дома солдатской славы»? Или когда не сдался болезни, продолжал жить, работать, приносить людям пользу, бороться с недугом? Думаю, разделять нельзя. Вся жизнь этого бесстрашного бойца, мужественного, стойкого коммуниста, истинного патриота Отечества является подвигом».

Повседневный героизм иногда требует не менее мужества, чем мгновенный подвиг. Разве можно забыть трудовые подвиги советских людей во время войны! В морозы, когда руки примерзали к металлу, советские рабочие восстанавливали заводы, эвакуированные в Сибирь, на Урал, и перевыполняли нормы, стремясь дать фронту больше танков и снарядов.

А разве забудешь массовый героизм советских людей, когда они восстанавливали после войны разрушенные города, заводы и фабрики, перенося неимоверные трудности!

Каждый, кому пришлось пройти дорогами войны, видел на всем пути от Кубани и Волги до Берлина и Вены страшные картины разрушений. На месте городов виднелись изуродованные до неузнаваемости, заваленные бетоном и железным ломом здания.

На месте сел и деревень — выжженные дотла пустыри.

Казалось, что потребуются многие десятилетия для того, чтобы возродить жизнь в разрушенных городах и селах, залечить раны войны.

Но вышло по-иному.

Мы нынче так привыкли ко всякого рода трудовым достижениям советских людей, что даже известия о полетах в космос воспринимаем как должное, без удивления.

А ведь если вдуматься, сравнить сегодняшнее со вчерашним, с тем, что оставила нам война, то перед нами во всем величии предстанет подвиг советских людей.

5

Очень хорошо сказал однажды Юрий Гагарин:

— Наши космические ракеты, создаваемые талантом советских ученых и трудом рабочих и инженеров, движет не только первоклассное топливо, но и обильно пролитая на полях сражений кровь героев Великой Отечественной войны.

Молодое поколение советских людей — это наследники боевой славы своих отцов и старших братьев. Они гордятся своими отцами, чей беспримерный героизм решил исход великой битвы с фашизмом. Новое поколение вступило в мирную трудовую битву — битву за дальнейшее процветание нашей Родины, за коммунизм, за мир. И в этом великом созидательном труде мы опять становимся свидетелями массовых подвигов. И это закономерно. Советская молодежь является наследником всего лучшего, всего высокого и прекрасного в истории человечества. Нет пределов их высоким человеческим чувствам, мыслям и поступкам.

Ныне кое-кто брюзжит, дескать, вот раньше комсомольцы совершали куда более героические дела, чем нынешнее поколение. Мне кажется, что так могут говорить люди, не знающие жизни современной молодежи.

Могу без лести сказать — какое это душевно сильное нынешнее поколение, как чисты и патриотичны помыслы юношей и девушек! Их трудовые дела не менее значительны, чем те, которые совершало мое поколение и более старшее.

Юность — лучшая пора в жизни человека. В юности он особенно чуток и восприимчив. Именно в юношеские годы определяется, чем будет силен человек.

У меня хранится более ста писем от шестнадцатилетних мальчиков и девочек. Это отклики юных читателей на мою документальную повесть «Ей было шестнадцать», посвященную подвигу кубанской комсомолки Дуси Сорокиной, связной партизанского отряда. Читаешь их письма и видишь, что боевые традиции живут в юных сердцах и будут приумножены.

Приведу одно письмо. Пишет Раиса Диденко из Майкопа:

«Мне, как и Дусе, шестнадцать лет, учусь в десятом классе. Я мысленно представляю себя на Дусином месте и сама себя спрашиваю: а как бы я поступила, находясь в Дусином положении? И отвечаю: точно так же! Образ Дуси Сорокиной никогда не забудется, всегда будет жить в моем сердце...»

Я часто бываю на кораблях Черноморского флота, в военных городках летчиков, артиллеристов, пехотинцев. И то, что я вижу там, заставляет меня с гордостью и удовлетворением заявить: оборона нашей Родины находится в надежных руках! Я смело могу заявить, что стремление к подвигу — одна из наиболее существенных черт морального облика молодого советского воина. И в этом я вижу прежде всего торжество политики нашей партии и Советского государства, воспитавших нового человека. И самое замечательное состоит в том, что советская молодежь рассматривает подвиг не как исключительное явление, а как естественное выполнение своего общественного долга.

То, что я видел в воинских частях, на предприятиях и в колхозах, дает мне право заявить: великий всенародный подвиг, ознаменованный победой в сорок пятом году, продолжается. Эстафету героических дел смело и уверенно несет новое поколение. Славные боевые и трудовые традиции живут в сегодняшних делах молодых строителей коммунизма.



Клуб «Поверка» представляет молодых поэтов России. Патриотическая направленность, высокое гражданское звучание определяют поэтический строй и тематику их стихотворений. Авторы рассказывают о службе в рядах Советской Армии, о подвиге народа в Великой Отечественной войне, говорят о самом святом для каждого человека — о Родине.



Владимир НОСКОВ

РОДИНА

На обочине века бурного,
Городьбою обнесено,
Угнездилось село Табунное,
Край смородинный и сенной.

Здесь обычаи обязательны:
Женам — верность,
Отцам — поклон.
Здесь на матице да на матери
Дом покоится испокон.

В дальнем промысле затоскуется —
Выйду к людям почаевать,
В палисаднике, в чистой улице
Первой встретится чья-то мать.

Встанет, пристальная,
с завалинки,
Глянет знающе и красно:
— Ах ты яблочко!
Что ж от яблоньки
Далеко тебя унесло?

Вышла, думаю: может, Леша мой,
Может, вспомнил родную ветвь...
И торопится, хоть непрошеный,
Самым лакомым разговеть.

Скатерть белая, чай смородинный,
Деревенское «о» да «о».
И с любовью, глазами Родины
Смотрит сухонькое лицо.

КОНТРОЛЬНО-СЛЕДОВАЯ ПОЛОСА

Где иглы ограненных погранзнаков,
Где шорох настороженных шагов,
Лежит она меж двух гербов и
флагов,
Как трещина меж двух материков.
Кругом трава, зернистая от влаги,—
Такая нынче щедрая роса,
Степной туман окутал буераки,
И облака, как древние варяги,
Плывут, соединяя полюса.
Контрольно-следовая полоса...

И снова все до боли несомненно,
Едва на той, притихшей, стороне
В пяти шагах, сползая вдоль
шинели,
Блеснет затвор,
И, словно на мишени,
Тяжелый взгляд задержится на мне.

Владимир ГЛЫБОВСКИЙ

1947 ГОД

Мама, чьи именины?
Хлеба-то,
хлеба сколько!
Дай мне
кусочек с коркой...
Карточки отменили!
В кухне баян осиплый
Рвет инвалид на ощупь:
«Ну-ка, пляши, Володьша,
Да не стесняйся, сивый!
Жизнь-то,
эх, мать честная,—
Бабы пельмени лепят:
Вовка, ты ел пельмени?
Много ты, брат, не знаешь...»
Вечер на окнах синий,
Запахов сколько разных!
Праздник,
на кухне праздник —
Карточки отменили!

СОЛДАТСКАЯ ЗЕМЛЯ

Полей учебных жесткая земля!
Тебя взрываем мы, тебя копаем,
И на лопатах
кожу оставляем.
Приказано — не выполнить нельзя!
Полей учебных добрая земля!
Когда усталость ощущаем в теле,
Мы падаем в траву, как на постели,
Ты принимаешь нас,
не помня зла.
... Когда-нибудь придет к тебе покой,
Сирены стихнут,
выцветут мишени,
Но старые солдатские траншеи
Еще не скоро зарастут травой.
Умеешь ты и помнить и прощать,
И с каждым днем, как мать, нас
учишь строже.
Прости, земля, что мы тебя
тревожим,—
Тревожим, чтобы лучше защищать!

Александр КОМИССАРОВ

Я хлебом не был обделен,
Я ел его досыта, вволю,
Я не был заживо сожжен
За светлую людскую долю.

Но с кровью матери во мне
И голод, и ожоги,
И всполох выстрела во мгле,
И пуля на дороге.

* * *

Ручей к ручью, ручей к ручью —
И вот широкая река
Уж отразила облака
И солнца рыжую свечу.
Ручей к ручью, ручей к ручью.

Цветок к цветку, цветок к цветку —
И вот большой, цветущий луг
Среди речных лежит излук,
Открыв простор свой ветерку,
Цветок к цветку, цветок к цветку.

Стрела к стреле, стрела к стреле —
И вот несметная орда,
Горят хлеба и города,
От трупов тесно на земле.
Стрела к стреле, стрела к стреле.

Рука в руке, рука в руке —
И русский праведный народ
На битву правую встает
На том лугу, на той реке.
Рука к руке, рука к руке.

И вновь, как прежде на веку,—
Ручей к ручью, цветок к цветку.

Михаил ГАВРЮШИН

РУСЛА

Комарье насосалось крови,
и разбух от нее закат.
Это помнится крепко,
кроме
этого, визг лопат,
пот, вибратора вязкий грохот,
растревоженный гул тайги,
крепкий юмор, прокуренный хохот
и тяжелые сапоги.
Расшумелась тайга-недотрога,
в буреломах притихли ручьи.
Здесь бетонная ляжет дорога,
в том порукой мозоли мои.
Нас всосало в бетон по колено,
потому что замешен он
на могучей воде из Лены
с нашим потом,— хороший бетон.
Караульного кнут не засвищет
на бетонном прямом пути.
Жаль, не сможет с нами Радищев
по дороге новой пройти.
А дороге той параллельно
голубая течет река,
у которой взял имя Ленин
и отсюда ушел в века.
Волга силу ему подарила,
Лена имя ему отдала,
и сказалась речная сила,
та, что к свету его вела.
Мы тяжелого щебня хрустом,
каждым шагом упоены...
Совпадает бетонное русло
с историческим руслом страны!



Николай ЧЕРКАШИН

ЗНАК ВИШНУ

От автора

В основу этой повести легли трофейные архивные документы о штурме немецкими войсками Брестского укрепленного района в 1941 году и материалы об осушении подземных сооружений в Восточной Пруссии, затопленных по приказу Геринга в конце войны.

На карте Германии нет города Альтхафена. Улицы и площади, на которых живут и действуют герои «Знака Вишну», сведены воедино из трех городов — Кенигсберга (ныне Калининград), Пиллау (ныне Балтийск) и Штеттина (ныне Щецин). Также объединены и некоторые события, имевшие место в этих городах в 1945—1946 годах.

Название частей вермахта, в том числе диверсионного полка «Бранденбург», соединения морских штурмовых средств К и др.— подлинные.

Только когда мотоцикл въехал в массивные ворота комендатуры, лейтенант Еремеев перевел дух и размазал по лбу скопившийся в бровях пот.

Жарко!

Да что жарко... Тут кого угодно бы холодный пот прошиб. Шутка ли, конвоировать «вервольфа» * по незнакомому для тебя городу. Таких субчиков, судя по тому, что Еремеев о них слышал, надо перевозить в бронированных автомобилях. Но у «смершевского» ** автофургона полетела коробка передач, и за добычей капитана Сулая прислали этот дохлый колясочный мотогроб.

Капитан Сулай, «волкодав» экстра-класса, первым из «смершевцев» Альтхафена взял живого «вервольфа»; неделю выслеживал его в портовых водостоках, и уж, конечно же, майор Алехин, прекрасно понимавший, кого добыл Сулай, мог бы расстараться если не насчет «эмки», то уж хотя бы насчет бортовой полуторки. Таинственный «вервольф» в серой докерской спецовке выглядел весьма прозаично. Тем не менее Сулай затянул на поясе «черта» крепкий флотский линь, а свободный конец намертво привязал к скобе коляски. Руки оставил свободными, чтобы не привлекать внимания прохожих. «Вервольф» покорно позволил проделать все это и даже предупредительно поднял руки, чтобы Сулаю удобнее было обвязывать поясницу. Капитану эта предупредительность не понравилась, уловил он в ней что-то насмешливое, обидное для себя и потому узел на скобе затянул потуже.

Еремеев с любопытством поглядывал на белобрысый затылок немца. Он впервые так близко видел живого диверсанта и никак не мог понять, что заставляет его воевать спустя год после того, как война закончилась.

Посреди асфальтового двора, у широкого колодца, переделанного, видимо, из бывшего фонтана, плескался голый по пояс помощник коменданта капитан Родиков. На фигурной закраине колодца стояло ведро, Родиков ладонями черпал из него воду и блаженно разбрызгивал по спине.

— Привет, Еремеич! Иди освежись!

И плеснул пригоршню на горячий мотоцикл. Капли попали в лицо пленному, он жадно слизнул их с верхней губы и впервые за всю дорогу обратился к конвоирам:

— Господин лейтенант, разрешите попить... Воды.

Еремеев молча распустил узел на колясочной скобе, и «вервольф», обвязанный веревкой, словно францисканский монах, побрел к колодцу.

— Василий Петрович, дай ему воды! — крикнул Еремеев, рас-

---

* Оборотень — самоназвание немецких диверсантов в конце второй мировой войны.

** СМЕРШ («Смерть шпионам») — название органов контрразведки в войсках.

правляя сбившуюся под ремнем гимнастерку. Родиков уступил ведро и потянулся за майкой, сложенной вместе с гимнастеркой на краю колодца. Едва он натянул ее на голову, как «вервольф» отшвырнул ведро и нырнул в колодец. Еремеев застыл. Родиков ошеломленно вглядывался в колодезный зев.

Первым опомнился сержант Лозоходов.

— Утоп, гадюка! — метнулся он к колодцу.— Чтобы живым не даться! Во гад, а?! Во псих!..

— Багор! — осенило лейтенанта.— Срочно багор. Багром достанем...

Через минуту Еремеев уже шарил длинным шестом в темной воде.

— Ничего! — утешал его Лозоходов.— Всплывет...

Еремеев покусывал губы, сдерживая непрошеные слезы.

Через три дня у него кончался стажерский срок... Теперь все. После такого казуса — прощай контрразведка! Шляпа-растяпа.

Еремеев на минутv представил, как капитан Сулай, лучший «волкодав» Альтхафена, узнав, что звездный час его жизни, коронный «хват», загублен юным ротозеем, презрительно сощурит свои глазки — ни бровей, ни ресниц, процедит свое уничтожающее — «пианист»!

На шум и суету у колодца подоспели командир комендантской роты и несколько малознакомых Еремееву «смершевцев». Тыкали шестом в дно и Еремеев, и командир роты, и капитан Родиков, и остальные офицеры, однако ничего не находилось. Да там вообще ничего не было, кроме ровного песочка!

— Придется вызывать водолазов! — мрачно резюмировал капитан Горновой, оставшийся за Алехина.

Пока ждали машину с водолазами, Еремеев писал объяснительную записку: «После того как я разрешил арестованному напиться воды, тот подошел к колодцу и прыгнул в него с целью самоутопления. В упущении вражеского диверсанта признаю себя виновным полностью и безоговорочно. Прошу наказать меня по всей строгости. Лейтенант Еремеев.
14.07.46 г.».

Приехали водолазы.

Мичман в беловерхой фуражке интересовался глубиной колодца.

— Метра четыре,— отвечал ему Еремеев, слегка воспрянувший при виде моряков, выгружавших из кузова воздушный насос, шланги и блестящий медный шлем с круглыми оконцами.

На дармовое зрелище набежал праздный комендатурский люд — шоферы, писари, стрелки.

Мичман склонился над колодцем и подозвал офицеров.

— Товарищи начальники, не ваш ли там клиент купается?

Горновой и Еремеев свесились в ствол: из воды выдавалось что-то похожее на спину и затылок.

— Багор, живо! — крикнул Горновой Лозоходову. Сержант



принес шест, подцепил труп за край брезентовой спецовки. В три пары рук они вытащили окоченевшее тело и положили у колодца лицом вниз.

Моряки забрасывали свои причиндалы обратно в кузов, и мичман, довольный, что не пришлось возиться с тяжелыми доспехами, по-хозяйски побивал скаты грузовика.

— Товарищ капитан, осмотреть бы надо, за что он там зацепился. Что-то долго не всплывал... — догнал Еремеев Горнового.

— Пусть водолаз осмотрит.

Морякам снова пришлось выгружать снаряжение и облачать мичмана в прорезиненную рубаху. Четыре матроса, растянув ворот, втряхнули туда своего начальника, привинтили к фланцу шлем, задраили передний иллюминатор и бережно спустили мичмана в колодец. Пузыри воздуха, вырывавшиеся из воды, гулко клокотали в бетонной трубе.

Через четверть часа, сипя и шипя, на поверхность вынырнул медный шар шлема. Водолаза вытащили наверх, вывинтили переднее стекло.

— Ни-че-го! — сообщил мичман почему-то по складам.— Ровнехонькие стенки. Грунт — песок с галькой. На глубине три метра махонький отросточек водопроводной трубы. Наверное, за него и зацепился. Одно слово — труба дело...

«Труба дело...» — мысленно повторил Еремеев. В ворота въезжал «виллис» майора Алехина.

ЧЕРНЫЙ «АДЛЕР»

Вопреки всем скверным предчувствиям наказание за оплошность с «вервольфом» оказалось вовсе не таким уж суровым. Майор Алехин в присутствии Еремеева прочитал объяснительную записку, расспросил о подробностях и, ничего больше не говоря, отпустил лейтенанта восвояси. Два часа, которые прошли до повторного вызова в алехинский кабинет, показались Еремееву самыми томительными в жизни. Похоже было, эти два часа понадобились майору, чтобы подыскать достойное наказание для незадачливого конвоира, и он его нашел.

— Орест Николаевич, наша машинистка Вера Михайловна ушла в декрет. Придется вам какое-то время за нее поработать. Хотя бы двумя пальцами. Другого выхода нет.

То, что вскоре положил Оресту на стол майор Алехин, сказало бы сведущему человеку о многом. Но Еремеев вывел для себя одно: от второго этапа операции «Штрек» его отстранили. И отстранили под благовидным предлогом.

Еремеев безропотно нес машинописную свою епитимью *. Обид-

* Епитимья (*церк.*) — наказание, налагаемое на провинившегося монаха.

но день-деньской стучать на машинке, тем более что в это время разрабатывается новая — решающая — операция, в которой, увы, дела ему не нашлось.

Каждое утро лейтенант Еремеев взбегал по винтовой лестнице старого флигеля, отпирал железную дверь секретной части, запирался изнутри на щеколду, задергивал на зарешеченном окне белые занавески, доставал из несгораемого ящика недоконченную работу и, подавив тяжелый вздох, присаживался за ненавистную машинку. Он ненавидел ее за черный цвет, за готическое слово «adler», вызолоченное на каретке, за клавишу с литерой U, заменяющую русское «у», за ее гестаповское прошлое (машинку нашли в брошенном особняке тайной полиции). Но все же оттопыривал два рабочих — указательных — пальца и тарабанил так, что литера О пробивала бумагу насквозь, и майор Алехин, вычитывая документы, морщился:

— Понежнее, Орест Николаевич, понежнее... Сами знаете, любая машина любит ласку.

Что нравилось Еремееву в шефе, так это всегдашняя вежливость в сочетании с твердым характером. Капитан Сулай — полная ему противоположность. Желчный, ехидный, весь подвижный, как на шарнирах. Ходит в неизменной застиранной гимнастерке, хотя почти все офицеры гарнизона давно уже пошили щегольские кителя с золотыми погонами.

«... Обстановка в Альтхафене характеризуется деятельностью хорошо обученной и материально подготовленной диверсионной группы «Вишну», названной по кличке ее руководителя, бывшего офицера германского военно-морского флота. Настоящее имя и биографические данные руководителя группы установить пока не удалось.

Особый интерес проявляет группа к осушительным работам, ведущимся на территории затопленного подземного завода по сборке авиамоторов. Так, в штольне А, где была установлена мощная насосная станция 12 мая с.г., произошел сильный взрыв, выведший установку из строя, убиты два солдата и тяжело ранен сержант из инженерного батальона. 20 июня такой же взрыв произошел в ночное время в штольне Д; человеческих жертв не было, но насосная установка уничтожена полностью.

Ликвидация группы «Вишну» чрезвычайно затруднена тем, что ее участники укрываются в весьма разветвленной сети городских подземных коммуникаций.

Как удалось установить, система городских водостоков, представляющая из себя каналы-коридоры, проложенные еще в средние века и достигавшие местами двух метров, соединена лазами и переходами с подземными промышленными сооружениями города, оставшимися частично не затопленными. Удалось установить, что ходы сообщения проложены в подвальные и цокольные этажи ряда крупных городских зданий, в бомбоубежища, портовые эллинги и другие укрытия.

Таким образом, диверсионной группе «Вишну» предоставлена широкая возможность для скрытого маневра, хранения продовольствия, боеприпасов, оружия.

Борьба с диверсантами чрезвычайно затруднена отсутствием каких-либо схем или планов подземных коммуникаций Альтхафена. Тем не менее в результате засады, проведенной 12 июля с.г. оперативно-розыскной группой капитана Сулая, в узловой камере портового коллектора удалось захватить одного из членов банды «Вишну» живым. К сожалению, арестованный изыскал возможность покончить с собой до первого допроса. Личность самоубийцы не установлена. Акты вскрытия и судебно-медицинской экспертизы прилагаются...»

Еремеев еще раз отдал должное деликатности майора Алехина: «арестованный изыскал возможность...» Капитан Сулай непременно бы написал: «По вине лейтенанта Еремеева»...

«...Смерть наступила в результате асфиксии, возникшей вследствие утопления... Особые приметы тела: шрам на первой фаланге большого пальца левой руки, коронка из белого металла на 7-м зубе верхней челюсти, татуировка в виде небольшой подковы или буквы U чуть ниже подмышечной впадины правой руки...»

Еремеев раздернул занавески, открыл окно, выпустил жужжащих мух и закурил, присев на широкий подоконник. Внизу во дворе сержант Лозоходов ремонтировал мотоцикл. Ремонту он помогал разухабистой песенкой, которую напевал себе в нос фальшиво и чуть гнусаво, но не без удальства и уверенности в своих вокальных данных:

А-памирать нам
А-ранова-а-та,
А-есть у нас еще дома дела.

— Заработались, товарищ лейтенант! Все уже на обед ушли. Ешь — потей, работай — мерзни!

— И то верно! — согласился Еремеев. Спрятал бумаги, запер дверь и сбежал, кружа по узкой лесенке, во двор.

После обеда Еремеев обычно возвращался во флигель и стучал на машинке до вечера — часов до семи, сдавал Алехину перепечатанные материалы и уходил со службы. Пожалуй, то была единственная привлекательная сторона в нынешнем еремеевском положении. Впервые с самого начала войны у него появились свободные вечера. Сознавать это было упоительно. Раньше, в партизанском отряде, на офицерских курсах, в разведэскадрилье, тем более здесь, в комендатуре, Орест никогда не мог знать, чем у него будет занят вечер: срочным поручением, негаданным дежурством или вызовом по тревоге? И еще одно обстоятельство в новой жизни доставляло неизъяснимое блаженство: у него впервые была своя квартира, вернее, комната, которую он снимал у фрау Ройфель.

...Сон приснился скверный, один из тех кошмаров, что частенько стали будоражить Еремеева по ночам в первый послевоенный год. И в отряде, и в эскадрилье спал Орест крепко и почти без сновидений. А тут — надо же такой пакости примерещиться... Будто бы вонзил Еремеев в большую рыжую крысу вилы и пригвоздил к земле. Глаза у крысы от боли выкатились, а все же в последнем неистовом рывке лезет она сквозь зубья вверх, пытается дотянуться до пальцев, и вот уже совсем близко страшные ее резцы, выпирающие из пасти u-образно.

Орест тоненько закричал и проснулся. Разлепил веки, и в глаза ударила с подушки кроваво-красная буква U. Еремеев подскочил и ощупал наволочку. На бязевом уголке алела вышитая гладью метка — готическое U и рядышком разделенная складкой Z.

«Вот, черт, привязалась проклятая буква!»

Ни энергичное бритье с пригоршней крепкого одеколона, ни полплитки шоколада, извлеченного из «авиационного запаса» и сдобрившего жиденький утренний кофе, не развеяли дурного настроения.

Едва Еремеев открыл дверь своего временного кабинета, как появился капитан Сулай с двумя бойцами. Солдаты покряхтывали под тяжестью ржавого исцарапанного сейфа.

— Принимай подарочек! — крикнул капитан вместо приветствия.— Начальство распорядилось просмотреть, изучить и составить краткую опись.

Сейф был уже вскрыт, видимо, на месте. Сулай на такие дела мастак.

Еремеев бегло перелистал папки с аккуратно подшитыми листками. Это был архив немецкой военно-строительной части за 1941—1942 годы. Того, что лейтенант надеялся здесь найти — схемы подземных коммуникаций Альтхафена,— в папках не оказалось, и Орест разочарованно запихивал документы в тесное нутро сейфа. Отчеты, сводки, планы, сметные ведомости... Вдруг в чужом иноязычном тексте промелькнули родные до боли названия: Видомль, Гершоны, Жабинка... Еремеев открыл титульный лист, перевел длинное название: «Отчеты о деятельности саперно-штурмовой группы «Бранденбург» при прорыве брестского укрепленного района».

Отец!

Летом 1940 года семья командира пулеметно-артиллерийского батальона майора Еремеева перебралась из Забайкалья в Западную Белоруссию и поселилась в пригородной брестской деревушке Гершоны. Отцовский батальон вместе с инженерными войсками округа рыл котлованы и бетонировал стены дотов БУРа — брестского укрепрайона. К весне сорок первого года некоторые из них, но далеко не все, были построены, вооружены и заселены гарнизонами.

О, как свысока смотрел Орест на одноклассников! Еще бы — все они только играли в войну, а он знал самую настоящую военную тайну.

Отец почти перестал бывать дома. На первомайские праздники он накоротко заскочил в Гершоны, а потом захватил с собой сына.

Командирский дот «Истра» находился в трех километрах от деревни, почти у самой границы. Десятигранная железобетонная коробка по самые амбразуры уходила в землю.

Отец провел его сразу в капониры и показал то, что Орест больше всего хотел увидеть: пушки. Два 76-миллиметровых казематных орудия с укороченными стволами выводились наружу вместе со спаренными пулеметами через массивные стальные шары.

Потом они сидели в командирской рубке, где поблескивали окуляры перископа. Отец позвонил вниз и распорядился принести чай, Орест не отрывался от резиновых наглазников. В зеленоватых линзах плыл чужой берег Буга, густо поросший ивняком, ольхой и орешником. Между кустами промелькнули две фигуры в плащах и крутоверхих фуражках. Немцы! Офицеры в открытую держали планшеты и показывали руками на нашу советскую сторону.

— Пап, немцы! — оторвался Орест от перископа.

— Да я на них каждый день любуюсь... Садись, чай остынет!

То была последняя их встреча. Теперь, спустя пять лет, Еремееву казалось, что отец привез его в дот, словно предчувствуя гибель, словно хотел показать сыну место, которое станет его могилой... Крепко обнял, сказал на прощанье какие-то простые будничные слова:

— Дуй домой... Маме помогай. И на немецкий за лето нажми. Похоже, что скоро понадобится.

Еремееву казалось, что он слышит бесстрастный голос человека, составляющего отчет: «150-килограммовый заряд, опущенный через перископное отверстие, разворачивал стены сооружения в стороны. В одном месте бетонная крыша была отброшена от дота и перевернута».

Орест сглотнул комок, подступивший к горлу, и взял новую страницу. Металлический голос деловито продолжал: «Защитная труба перископа имеет на верхнем конце запорную крышку, которая закрывается при помощи вспомогательной штанги изнутри сооружения. Разбиваемые одиночной гранатой, а то и просто ударом приклада, они оставляли трубу незащищенной. Через трубу внутрь сооружения вливался бензин, уничтожавший гарнизон во всех случаях». Отчет подписал некто Ульрих Цафф, как надо было теперь понимать,— один из тех, кто сжег отца в доте «Истра».

Метка! На наволочке было вышито U и Z. Он спит на подушках убийцы своего отца! Мысль эта сразу же показалась Оресту невероятной. Чепуха! Мало ли немецких имен и фамилий можно придумать на U и Z?! Но ведь это и не инициалы фрау Ройфель. Белье чужое. Надо бы поинтересоваться — откуда оно?

Капитан Сулай невзлюбил нового стажера с первого взгляда. Так его раздражал рост новичка — Сулай сызмальства недолюбливал верзил; раздражала его и авиационная форма Еремеева, которую лейтенант не пожелал сменить на общевойсковую. С летчиками у Сулая вообще были сложные отношения. Перед войной у старшины погранзаставы Сулая курсант-авиатор отбил девушку, на которой Павел собирался жениться. И еще Сулай не мог им простить беззвездного неба сорок первого.

У этого летуна на лице за версту видно: «Я — контрразведчик!» Не ходит, а вышагивает, и «смершевское» удостоверение в кармане так и шевелится. Такого зубра упустил! Пианист!

В столовой, однако, пришлось с ним сесть за один столик: свободное место оказалось лишь рядом с Еремеевым. Лейтенант приканчивал картофельные котлеты.

— Ну как бумажки? — спросил Сулай, чтобы разбить ледяное молчание за столом.— Что-нибудь интересненькое нашел?

— Нашел...

И тут Орест, сам того не ожидая, рассказал про отчет Ульриха Цаффа, про отца, про дот под Гершонами... Он рассказывал подробно, так как видел на хмуром лице Сулая непритворный интерес.

К концу рабочего дня капитан постучал в железную дверь и попросил прочитать ему те места, где речь шла о взломе перископных шахт...

... Да-да, все было именно так. Сначала на крыше дота раздался слабый, чуть слышный полуоглохшим людям взрыв. Потом пустая труба — перископ в нее еще не успели вставить — донесла в капонир удары железа по железу. Это сбивали, должно быть, не отлетевшую до конца броневую защелку.

Все, кто остался в живых, в том числе и политрук Козлов, с которым Сулай приполз из развалин заставы к ближайшему доту, собрались в правом капонире; левый был пробит бетонобойным снарядом. Сверху послышалось резкое шипение. Потянуло лекарственным запахом... Газы! Все, у кого были маски, тут же их натянули.

Козлов стрелял из спаренного с орудием пулемета. Снаряды кончились, шарнир заклинило, и политрук палил наобум, чтобы только показать — гарнизон еще жив и сдаваться не собирается. Кончилась лента. Зловещее шипение наверху усилилось...

Они спускались в подземный этаж, задраивая за собой все люки. Но газ проходил вниз по переговорным трубам, в которые не успели вставить газонепроницаемые мембраны.

Немцы пустили в нижний этаж воду.

Их оставалось шестеро, и все шестеро, поблескивая в тусклом свете аккумуляторного фонаря очками масок, принялись забивать переговорные и вентиляционные трубы кусками одеял и шинелей.

Но вода прибывала. Они укрылись в энергоотсеке, забравшись на генераторы и агрегаты. Вода подступила по грудь и остановилась. Подниматься выше ей мешала воздушная «подушка» высотой в метр. Они держали над головами фильтрационные коробки своих противогазов. Младший лейтенант, оказавшийся на одной с Сулаем динамо-машине, глухо пробубнил сквозь резину маски, что сидеть здесь бессмысленно и надо проныривать в главный тамбур, а там посмотреть, нельзя ли выбраться из дота через запасной выход, взорванный штурмовой командой. Эту мысль Сулай постарался довести и до остальных. Первым нырнул младший лейтенант. «Младшина» хорошо знал расположение внутренних ходов, и потому Сулай, не мешкая, последовал за ним. В кромешной подводной тьме он ориентировался только по струям, взвихренным работающими ногами лейтенанта. Сулай на ощупь миновал лаз, отдраенный «младшиной», и вплыл в тесный коридорчик. Сколько еще плыть, Павел не знал, но чувствовал, что и назад пути нет — не хватит воздуху.

Его вытащил младший лейтенант и, сорвав маску, дал глотнуть свежего воздуха из какой-то отдушины. По всей вероятности, внутренние сквозняки верхнего этажа вытянули газ довольно быстро.

Они подождали остальных, но никто больше не вынырнул.

Здесь, в Альтхафене, разглядывая такие мирные, такие уютные, затейливо нарядные домики, он никак не мог поверить, что из-под этих крыш с петушками на башенках вышли в мир те самые саперы-подрывники, которые терпеливо дожидались, когда выпущенный ими из баллонов газ разъест легкие русских артиллеристов, а вода, направленная в подземные казематы, зальет рты раненых...

После войны капитан Сулай хотел проситься из армейской контрразведки снова в погранвойска. Мечталось о тихой заставе где-нибудь на юге и обязательно с конями. Но, узнав о том, что в городском подземелье Альтхафена обосновались диверсанты, решил повременить. Пусть и эти хваленые «вервольфы» тоже узнают, что такое вода, подступающая к горлу...

* * *

Запах касторового масла Еремеев уловил еще на площадке. Фрау Ройфель готовила на ужин крахмальные оладьи. Она не удивилась, узнав, что молодой человек хочет выразить свое восхищение постельным бельем.

— О, да! — расцвела польщенная хозяйка.— Это настоящее фламандское полотно!

— Я бы хотел послать своей матери несколько таких наволочек. Не подскажете ли вы, где их можно достать?

— Эти наволочки и простыни я покупала на «шварцмаркете» * возле кладбища.

---

* «Черный рынок».

— Я бы хотел разыскать торговца, который продает такие чудесные вещи.

— Не знаю, чем вам помочь. Это была женщина моих лет... Поищите ее возле цветочного киоска, где продают венки.

— Спасибо. Пожалуй, я так и сделаю.

На «шварцмаркет» удалось выбраться на другой день после обеда. Тон торговле здесь задавали пожилые немки — альтхафенские старухи. Они откупались от призраков голода и нищеты вещами, нажитыми праведно и неправедно. Они откупались от них всем тем, что долгие годы украшало их гостиные и спальни, кабинеты и кухни, но так и не сделало счастливыми очаги...

У Еремеева разбегались глаза от выставки никогда не виданных им полотеров и картофелечисток, механических яйцерезок и электрических кофеварок. Были тут и «Зингеры» всех моделей — ручные, ножные, электроприводные, сверкали спицами и никелированными рулями «лендроверы» и «торпедо», наперебой голосили патефоны — польские, французские, немецкие,— демонстрируя мощность своих мембран. Продавались детские игрушки — заводные слоны и Санта-Клаусы, шагающие куклы в крахмальных чепцах и пластмассовые автоматы. Старик в зеленых очках и суконном кепи показывал остроту складной бритвы «золинген» тем, что сбривал посуху волосы с рук всех желающих испытать на себе превосходное качество лезвия.

У цветочного киоска, как Орест и ожидал, никаких старух с постельным бельем не оказалось. Это было бы слишком большой удачей. Зато там же, у каменного магазинчика с готическим верхом, Еремеев купил прекрасный костюм — серый в крупную клетку.

И еще одну покупку сделал Орест. Возле цветочного киоска он увидел бронзовые фигурки каких-то восточных божков, собак, бычков, несколько затейливых подсвечников и пару узкогорлых вазочек с гравированными узорами. Выждав, когда плотный дядя в розовых подтяжках поверх водолазного свитера переправит к себе в вещмешок обе вазочки, Еремеев, не торгуясь, купил мельхиорового сеттера и божка, танцующего на подставке, увитой бронзовыми лотосами.

Едва он успел засунуть фигурки в сверток с костюмом, как гомон большого торжища разорвала длинная автоматная очередь.

Конец ее потонул в истошных женских визгах, воплях раненых, торопливой ругани мужчин. Еремеев укрылся за цветочным киоском.

Выпустив еще одну очередь, автомат — Орест безошибочно определил отечественный ППШ — смолк. Стреляли скорее всего из развалин старинной аптеки. Именно туда бросился патруль, а

за ним и несколько офицеров, оказавшихся неподалеку. Орест тоже побежал к аптеке, огибая по пути тех, кто лежал в ожидании новых выстрелов, и тех, кто не ждал уже ничего. Старик в зеленых очках вытянулся на боку, выронив роскошную свою бритву...

Начальник патруля, пожилой лейтенант со скрещенными на погонах стволами, пострелял в черную дыру под рухнувшими сводами, выходившую на площадь как амбразура. Дыра молчала.

— Утек, гадюка! — выругался лейтенант и спрятал пистолет в обшарпанную кобуру.

СНОВА ПРОКЛЯТОЕ U

О происшествии на «шварцмаркете» майору Алехину доложили вместе с сообщением о новом взрыве на объекте А. Объектом А именовался подземный авиационный завод, затопленный немцами на западной окраине города. Взрыв — третий по счету — случился во все той же злополучной штольне, где всего лишь три дня назад заработала отремонтированная насосная установка. К счастью, обеденный перерыв еще не окончился, так что обошлось без жертв, за исключением, впрочем, одной: в стволе штольни нашли куски тела диверсанта, подорвавшегося на собственной мине.

Майор Алехин, взяв с собой капитана Горнового, немедленно выехал на объект. Перед отъездом он поручил капитану Сулаю взять комендантский взвод и разобрать вход в подвалы аптеки.

— Только осмотреть,— предупредил он настрого.— Никаких вылазок в подземные коммуникации!

Проскочив линии блокпостов, «виллис» остановился у серого портала железнодорожного въезда под землю. Здесь их встретил начальник осушительного участка, низенький, краснолицый капитан в замызганной шинели.

— Цыбулькин,— хмуро представился он.

Пока шли по въездному тоннелю, скупо освещенному гирляндой редких лампочек, Алехин расспрашивал капитана.

Цыбулькин отвечал на вопросы охотно и даже предупредительно. Алехин понимал его состояние: несмотря на предупреждение особого отдела ни на минуту не оставлять без надзора насосные установки, мотористы ушли на обед всем скопом...

Из рассказов начальника участка вырисовывалась такая картина: в час дня, как всегда, к порталу тоннельного въезда подкатила полуторка с обеденными термосами. Обедали здесь же, на поверхности, за сколоченными из досок столами. Едва принялись за второе, как из-под сводов тоннеля донесся глухой взрыв.

Подошли к сорванным дверям бункерной.

— Золотарев! — гаркнул капитан в глубину тоннеля.— Вруби фазу!

Тут же зажглась зарешеченная лампочка-переноска, уложенная поверх провода. Алехин взял ее и шагнул в черный проем.

Развороченная глыба насоса нависала над полуовальным вхо-

дом в затопленную штольню. Бетонный ствол штольни круто уходил вниз. Свет лампы упал на черную непроглядную воду. Два гофрированных хобота, спущенных от насоса, все еще мокли в ней бессильно и беспомощно. Подошел начальник участка и тоже заглянул в воду.

— Единственная штольня, которая поддается осушению,— вздохнул Цыбулькин.— По три метра в сутки проходили.

— Вот и беречь надо было! — не удержался Алехин.— Охрану выставлять! Глаз не спускать... У воды в штольне кто-нибудь дежурил?

— Днем мотористы поглядывали. А вот ночью...

— Так вот, впредь двоих ставить придется: и у воды и у двери.

— Есть! Осторожнее, товарищ майор! Похоже, бомба!

Алехин глянул под ноги — рядом лежала небольшая черная болванка, в самом деле, похожая на бомбу.

— Баллон! — первым определил предмет Горновой.— Газовый баллончик. Вон вентиль у него. Баллон от немецкого легководолазного снаряжения. Я, правда, только на фото видел. А вот и в руках довелось подержать.

Тщательно упаковав в вещмешок баллончик, кисть руки и несколько обрывков прорезиненного костюма, контрразведчики выбрались на поверхность.

Во флигеле майора Алехина ждала пространная и слегка запоздавшая шифротелеграмма: «...Обеспечьте всеми мерами безопасность работ по осушению объекта А, а также максимальное ускорение работ. По поступившим сведениям, в районе штольни D находится подземный цех с образцами опытных моторов для сверхмалых подводных лодок и быстроходных торпедных катеров».

Еремеев вернулся домой поздним вечером совершенно разбитый. Всю вторую половину дня он провел вместе с Сулаем на разборке развалин аптеки. И хотя кирпичные блоки растаскивал целый взвод, попотеть пришлось всем. Потом, когда был разобран вход в аптечные подвалы, Сулай, Еремеев и солдаты стали искать свежестреляные гильзы. Гильз не было. Ни одной!

Ползали на коленях, заглядывали во все щели, разгребли на полу весь кирпичный щебень.

— С гильзоуловителем этот гад стрелял, что ли?! — гадал Сулай, морщась от боли в пояснице.— Ну не мог он все так чисто собрать! В полутьме, в спешке...

Капитан пообещал десять суток отпуска тому, кто отыщет хоть одну гильзу, и поиски возобновились с особым энтузиазмом. И тут Еремеев отличился. В углу подвала нашел втоптанную в грязь новенькую латунную гильзу. Сулай просветлел.

Пока шли поиски гильз, двое каменщиков во главе с чернявым

сержантом замуровали лаз из подвала в широкую бетонную трубу, выставив вовнутрь острые бутылочные осколки. Орест вспомнил, что именно так затыкал отец крысиные норы в одной из старых квартир.

Фрау Ройфель укладывалась рано. Еремеев, стараясь особенно не греметь на кухне, заварил себе чай и перекусил в комнате холодной тушенкой с галетами.

Сверток с покупками так и валялся на кровати. Первым делом Орест примерил серый костюм. Брюки были слегка велики в поясе, но пиджак сидел великолепно.

Мельхиоровую собачку Еремеев поставил на радиоприемник, а танцующего божка... Орест чуть не выронил статуэтку из рук: На лотосовом пьедестале изгибалась все та же зловещая буква U. Нет, нет, она не была начертана наспех... Она была аккуратно отлита вместе с самим пьедестальчиком и, видимо, что-то символизировала. На фабричную марку литера не походила. Слишком уж на виду, слишком почетное место отводилось ей на пьедестале. Начальная буква имени бога? Бог U? Есть ли такой бог?

Ответить на все эти вопросы мог только специалист-востоковед, и Орест решил заглянуть при случае в библиотеку Альтхафенского университета.

Он попробовал вспомнить, как выглядел продавец бронзовых безделушек, но ничего, кроме того, что человек был весьма немолод, перед глазами не вставало. Хорош контрразведчик с такой памятью!

Вся радость от находки в подвале улетучилась вмиг. Гильзу мог найти любой солдат, а вот запомнить лица, фотографировать их глазами — это уже контрразведка...

«ГРУППА БОМБЕЙСКИХ ВИШНУИТОВ» И СИФОННЫЙ БАРОМЕТР

Начальник участка осушительных работ капитан Цыбулькин никак не мог понять, почему ремонтники так рьяно взялись за работу. Если после первого взрыва прошло добрых полмесяца, прежде чем привезли и смонтировали новые насосы, то в этот раз в штольне все горело и кипело.

За сутки демонтировали искореженную установку, через день привезли новый насос, мощнее прежнего. И поставили его в невероятные сроки — за двенадцать часов! Но услышать победный гуд новой техники Цыбулькину не удалось. Весь личный состав участка перебросили в город на осушительные работы в доках судоверфи.

В штольню D пришли люди точно в таких же замызганных ватниках и цигейках, какие мелькали здесь раньше. Но если бы Цыбулькин мог увидеть своего преемника, он с удивлением бы узнал

того самого «смершевского» капитана, который так хорошо разбирался в водолазных баллончиках. «Прорабом» к себе на участок Горновой взял капитана Сулая, переодетого в шинель со старшинскими лычками на полевых погонах.

План операции «Маркшейдер», разработанный майором Алехиным, не отличался особым хитроумием. Он был прост и надежен, как самая древняя на земле уловка — засада.

Лейтенант Еремеев в число посвященных не входил.

Университет еще не работал, и не было никаких надежд, что в библиотеке, если она не сгорела, кто-нибудь окажется. Но сторож сказал, что в читальном зале главный хранитель библиотеки доктор Гекман со своей дочерью разбирает книги. Еремеев постучал в стеклянную дверь и попросил разрешения войти. Худой старик и женщина лет тридцати удивленно воззрились на вошедшего. И доктор Гекман, и его дочь давно уже привыкли, что военные входят без стука куда угодно и когда угодно. Еще больше поразила их просьба русского лейтенанта подыскать литературу по восточным религиям.

— Религиям какого Востока — Ближнего, среднего или Дальнего? — вежливо уточнил просьбу библиотекарь.

— Пожалуй, Индии.— Припомнил лотосы на пьедестале божка Орест.

— Лотта,— обратился старик к дочери.— Там, в двенадцатом шкафу... А впрочем, я сам.

Пока отец ходил за книгами, Лотта разобрала место на большом овальном столе и смахнула пыль.

— Вот это по религиям Индии.— Гекман веером разложил перед Орестом стопу книг.

Еремеев поблагодарил и раскрыл увесистый том. Монография по философии индуизма его не увлекла. Орест пролистал еще несколько книг, пока не добрался до «Путеводителя по бомбейскому этнографическому музею». Здесь, в фотоальбоме путеводителя, он нашел снимок группы индусов — белобородых старцев в белых одеяниях. На лбах у них — Еремеев глазам своим не поверил — чернела (а может быть, краснела, синела — фотография не передавала цвета) все та же буква U. Орест впился в текст под фотографией: «Группа бомбейских вишнуитов перед омовением в Ганге. Их отличают по U-образному знаку бога Вишну, который они носят на...» Читать дальше Еремеев не стал. Вишну! Кличка предводителя «вервольфов»! Вишну, Вишну, Вишну... Клавиша — ерунда! Метка на наволочке — тоже! А вот наколка на боку трупа — это уже кое-что! Может, это и был сам Вишну-главарь?!

От волнения Еремеев вылез из-за стола и стал прохаживаться по залу, огибая стопы книг. Доктор Гекман и Лотта с любопытством поглядывали на странного посетителя. Ходил, ходил и вдруг замер перед настенным барометром. Если он хочет узнать, какая будет погода, то это бессмысленно: в Альтхафене погода почти всегда одна и та же — дождь. Быть может, молодой человек ни-

когда не видел барометра? Но ведь в нем ничего удивительного. Изогнутая стеклянная трубка, прикрепленная к шкале...

Именно со стеклянной трубки и не сводил Еремеев глаз. «Вот еще одна буква U — стеклянная! — усмехнулся он, едва взгляд упал на прибор.— Скоро это U будет мерещиться на каждом шагу. Не свихнуться бы!»

Орест и сам не мог сказать, что заставляло его так внимательно рассматривать трубку. «Школу напоминает,— решил вдруг он,— Иван Поликарпович, физик, приносил на урок что-то похожее...» В ушах возник скрипучий голос физика: «Запишем тему сегодняшнего урока: «Со-об-ща-ющи-еся со-суды...»

Еремеев стряхнул ненужные воспоминания и вернулся к недавней догадке.

Итак, диверсант, утопивший себя в колодце, носил знак Вишну. Но этого слишком мало, чтобы считать его верховным богом «вервольфов». В конце концов, он мог сделать эту наколку из верноподданнических чувств к своему хозяину...

— Герр лейтенант, вам оставить эти книги?

— Да-да, оставьте! Я завтра приду! — рассеянно попрощался Еремеев.

Весь вечер и следующий день Орест провел в приподнятом настроении. То, что он вызнал,— пусть мелочь, пустяк, жалкий фактик, который всего лишь штрих добавляет к общей картине,— но все-таки это уже контрразведка, а не мелкий угрозыск! Это ведь даже не гильза, найденная в грязи!

Тарабаня на машинке, Еремеев напевал под нос так же воодушевленно и так же фальшиво, как сержант Лозоходов за починкой своего мотоцикла.

Жаль, Сулай исчез в командировке. А то можно было бы так, между прочим щегольнуть при случае: «Кстати, Павел Георгиевич, вы знаете, что означала та наколочка на трупе?» — «Что?» — «Это знак Вишну. Скорее всего «вервольф» входил в число особо приближенных к главарю лиц...»

Впрочем, выводы пусть делает сам. Еремеев подумал, а не сообщить ли об открытии самому Алехину? Но посчитал, что этого слишком мало для особого доклада. Если бы добавить еще что-то... Что? Хотя бы имя бывшего владельца индийской статуэтки.

Убедившись в невозможности вспомнить лицо торговца бронзой, Орест попробовал его «вычислить». Судя по тому, что вещиц у него было много, человек этот владел статуэткой Вишну не случайно. Он мог быть либо коллекционером, либо антикваром, либо перекупщиком. Однако даже в этом последнем, самом нежелательном случае старик должен знать того, у кого он приобрел танцующего божка.

Можно было бы сходить на толкучку и поискать торговца там, но после обстрела «черного рынка» площадь у ворот кладбища пустовала.

Вот если бы расспросить доктора Гекмана, кто в Альтхафене

мог собирать восточную бронзу? Увлечение это редкое, и старожилам города наверняка известны такие люди. Во всяком случае, Гекман мог назвать адреса бывших антикварных лавок... Да и про бога Вишну надо было узнать подробнее.

Прежде чем ехать в университетскую библиотеку, Орест заскочил домой и завернул в упаковочную бумагу от костюма статуэтки Вишну и сеттера.

О, он знал, что делал! Если искусство требует жертв, то искусство контрразведки — тем более. И мельхиоровая собачонка вовсе не самая тяжкая из них.

Старый Гекман и Лотта сидели в круглом зале, словно бы никуда не уходили. Только стопы книг вокруг них несколько выросли.

Еремеев опять-таки предстал перед ними самым церемонным образом: постучался, извинился, раскланялся и даже хотел было галантно поцеловать руку фрейлейн, но не знал, как это делается, да и не стоило переигрывать. Он поблагодарил главного хранителя за книги, которые помогли ему сделать небольшое научное открытие, и преподнес скромный презент — мельхиорового сеттера, удачно сопроводив подарок шуткой, что-де отныне этот пес будет помогать в охране книжных сокровищ библиотеки. Доктор растрогался, а Лотта, как и все женщины, обожала собак и тут же поцеловала мельхиорового пса в нос.

Разговор сам собой зашел о подобных безделушках, о страстях и увлечениях, и, конечно же, чудаковатый лейтенант не удержался, чтобы не похвастаться новым приобретением для своей московской коллекции. Он извлек из бумаги бронзового Вишну.

— О! — в один голос воскликнули отец с дочерью.

— Это гордость моего собрания. Я чувствую, что здесь, в Альтхафене, я смогу его основательно пополнить...

Гекман никак не отреагировал на эту последнюю фразу, не расслышал или сделал вид, что не расслышал, отдавшись любованию изящной статуэткой.

— Скажите, господин доктор, не знаете ли вы, кто смог бы продать мне что-нибудь в этом роде?

Гекман задумался.

— Востоковедением в нашем университете занимался профессор Брауде... Но он собирал китайский фарфор. К тому же он еще в сорок четвертом уехал за Эльбу. Кажется, в Дортмунд.

— Может быть, стоит обратиться к антиквару?

— О, господин Ризенбах смог бы вам помочь!.. Увы, в том же сорок пятом бомба угодила прямо в его магазин. А больше в городе антиквариатом никто не занимается. Сейчас людям не до старины, господин лейтенант. Такие времена...

— Я понимаю... Очень жаль.

— Жаль, жаль...

Еремеев с самым искренним огорчением засел за вчерашние книги. Кое-что о Вишну он выписал себе в блокнот: «Вишну — др.-

инд. бог-хранитель. Изображался в образе четырехрукого царевича. Превращался в рыбу...»

Перечитав свои записки, Орест понял, что идти с такой информацией к майору Алехину пока не стоит.

Целых три дня кабинет майора Алехина походил не то на конструкторское бюро, не то на чертежную мастерскую...

К исходу третьего дня перед Алехиным лежала приблизительная схема подземного участка в районе злополучной штольни. Штольня соединяла бункерную с подземной магистралью, кольцо которой проходило через основные цехи завода, в том числе и самый ближний к устью штольни — инструментальный. По магистральному кольцу были проложены вагонеточные пути. Но самое главное — перед каждым цехом кольцо перекрывалось газоводонепроницаемыми воротами.

Бетонная коробка цеха экспериментальных моторов находилась ниже кольца.

Перед тем как оставить Альтхафен, гитлеровцы затопили завод водой из моря. Но, судя по всему, сделали это впопыхах, не разгерметизировав все водонепроницаемые ворота, двери, перемычки. Была реальная возможность осушить штольню вплоть до впадения ее в кольцо, а заодно и тот участок кольца, который оказался так счастливо перекрыт со стороны инструментального цеха и со стороны водоотсечных ворот. Тогда, уплотнив перемычки, можно было бы без особого труда проникнуть и в экспериментальный цех.

Водолазы «вервольфов» — «люди-лягушки» — попадали в штольню, а оттуда в «бункерную», где подрывали насосы, по всей вероятности, через инструментальный цех. Инструменталка, по рассказам бывших заключенных, работавших в альтхафенских подземельях, была самым бойким местом и сообщалась разветвленными ходами сразу с несколькими цехами. Скорее всего именно она имела связь с городскими коммуникациями, как новыми — кабельными коллекторами, так и с водосточной сетью средневекового Альтхафена.

Все черновые наброски схемы Алехин сжег, а самый подробный и самый, по мнению инженеров-консультантов, вероятный пометил грифом «Совершенно секретно. Вычерчено в одном экземпляре» и спрятал в сейф.

МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЕТТЕР БЕРЕТ СЛЕД

Жизнь есть жизнь: не прошло и недели после обстрела «шварцмаркета», как возле массивных ворот старобюргерского кладбища снова зашумела неистребимая «барахолка». Еремеев наведывался сюда несколько раз, надеясь отыскать торговца бронзой, но старик исчез, будто сквозь землю провалился.

Орест шагал домой, покручивая на пальце крохотный сверточек с парой новеньких французских галстуков. У поворота на Фридрихштрассе его окликнул приятный женский голос.

— Герр лейтенант!

Лотта со связкой книг догоняла его легкими шажками. Она улыбалась приветливо и чуть загадочно.

— Господин лейтенант! Кажется, я смогу вам помочь пополнить вашу коллекцию!

Еремеев перехватил у нее увесистую связку.

— Каким образом, фрейлейн Гекман?

Из короткого и сбивчивого рассказа выяснилось, что неподалеку, через два квартала, стоит у самой кирки дом покойного пастора, того самого пастора, который долгое время служил духовником при германском консульстве в Индии — то ли в Калькутте, то ли в Бомбее. На родину в Альтхафен он привез множество экзотических вещей; возможно, среди них найдутся и бронзовые статуэтки. Пастор умер в сорок четвертом году, с тех пор за домом следит его экономка фрау Хайнрот вместе с племянницей Дитой. Дита давняя подруга Лотты, так что, если лейтенант пожелает взглянуть на индийские сувениры покойного пастора, такую возможность ему предоставят с большой охотой и, все, что он пожелает приобрести, продадут; в такие трудные времена даже предметы настоящего искусства стали, увы, меновым товаром.

Еремеев приглашение принял, и минут через пять они уже входили с Лоттой в боковые стреловерхие воротца церковного двора. Дом пастора прилепился к южной стене кирки почти у самой алтарной части. Его можно было бы назвать двухэтажным особнячком, если посчитать за второй этаж два мансардных окна, выступающих из крутого ската крыши.

С чистенькими занавесками оба эти окна в аккуратных черепичных чепцах походили на благообразных прихожанок. Верхний этаж соединялся с храмом короткой галереей, сделанной в виде ложного аркбутана *. Святой отец, должно быть, любил появляться перед паствой незаметно и неожиданно.

Несмотря на то что кирха еще зияла следами недавних боев, дом и дворик пастора были ухожены: стены увиты плющом, дорожки посыпаны желтой торфяной золой, ступеньки крыльца уставлены розами в горшках. Все здесь сияло и блестело — медная ручка, и бронзовая шишечка звонка, и латунная табличка на двери.

Еремеев с трудом удержался, чтобы не протереть глаза. Совсем недавно он видел эту фамилию под отчетом командира штурмовой группы: Ульрих Цафф. Совпадение? Скорее всего. Хотя, с другой стороны, фамилия Цафф — это не распространенные Мюллер или Рихтер...

---

* Аркбутан (*арх.*) — декоративный арочный мостик.

На звонок Лотты за дверью бегло простучали каблучки — кто-то резво спускался по лестнице, затем возникло краткое затишье — ровно настолько, чтобы заглянуть в дверной глазок, и наконец лязгнули засовы. Молодая женщина, не пряча удивленной улыбки, встретила их на пороге. Была она вся черно-белая, как валлийская коза,— в черном свитерке и белой юбке; в лице, в фигуре тоже проскальзывало что-то козье — тонкое, грациозное и глуповато-смешное. Тонкие ноги, изящные плечи и удлиненные, по-козьи расставленные глаза. Можно было об заклад биться, что в школе ее звали Козой.

Все, что говорила Лотта, Орест пропустил мимо ушей, изучая фрейлейн Хайнрот. Уловил лишь последнюю фразу:

— Господин лейтенант хотел бы купить что-нибудь из индийских вещей пастора Цаффа...

— Пожалуйста! — распахнула дверь Дита.

Все втроем они поднялись по скрипучей деревянной лестнице.

Кабинет пастора мало чем выдавал род занятий своего хозяина. Разве что черная мебель была подобрана в цвет пасторского сюртука и вселенской скорби. В глаза бросались диковинные узкогорлые вазы и светильники, выставленные на полках и подоконнике. Орест кинулся к ним со страстью завзятого коллекционера: не было сомнений — точно такие же вазы с глубокой затейливой гравировкой видел он у того, кто продал ему Вишну!

— Я видел такую вазу на «шварцмаркете»! — удачно пояснил свое волнение Орест.— И не успел ее купить.

— О, вы наверняка видели ее у дяди Матиаса! — засмеялась Дита.— Мы иногда просим его продать кое-что из наших вещей.

Еремеева подмывало спросить, не принадлежала ли им статуэтка танцующего бога, но он удержался от неосторожного вопроса.

— Так я могу купить эту вазу?

— Да, да! Сейчас я спрошу у тети Хильды.

Дита сбежала вниз и вскоре поднялась вместе с фрау Хайнрот — сухопарой особой лет пятидесяти в глухом коричневом платье. О цене сговорились сразу, и хотя у Еремеева карман топырился от купюр (утром получил жалованье), расчет заглянуть сюда еще раз заставил его обескураженно похлопать по карманам и объяснить, что сегодня он никак не рассчитывал на столь дорогую покупку: Лотту встретил случайно, и потому деньги, если фрау Хайнрот не возражает, он принесет завтра в это же время. Фрау Хайнрот не имела ничего против, а Дита и вовсе дала понять, что она будет очень рада визиту господина лейтенанта.

Дома, стянув сапоги и бросив на спинку стула портупею, Еремеев улегся поверх солдатского одеяла, покрывавшего постель, заложил руки под голову и попробовал подвести первые итоги следствия, которое про себя он называл «следствие по делу об убийстве майора Еремеева». Он не сомневался, что отец был

сожжен в доте «Истра» огнеметчиками Ульриха Цаффа тем же способом, какой описывался в трофейных документах. Наволочки с буквами UZ могли быть вынесены на продажу из того же дома пастора, той же фрау Хайнрот. Кстати, нужно еще раз попросить хозяйку описать женщину, у которой она купила белье. Не мешало бы узнать и имя пастора. А что, если Ульрих?! Эту соблазнительную версию Орест отбросил сразу: слишком все просто и слишком все удачно. Так не бывает. Надо исходить из самого худшего: пастор Цафф однофамилец Ульриха Цаффа. Но тогда и исходить не из чего. Однофамилец, он и есть однофамилец. О каком следствии вести речь? А если родственник? Вполне допустимо... По крайней мере, есть хоть зацепка для дальнейшего поиска. Возьмем это, как говорит Сулай, за «рабочую гипотезу».

Ай да сеттер, куда привел! Не подари Орест библиотекарше мельхиоровую безделушку, вряд ли бы она проявила такую заботу о коллекции русского офицера...

Стоп!

Но ведь статуэтка Вишну из этого же дома. Пути богов — индуистских ли, лютеранских — неисповедимы...

И вдруг осенило! Тот «вервольф», который покончил с собой в колодце, и есть Ульрих Цафф! И U, наколотое на боку, это начальная буква его имени — Ulrich!

Орест вскочил и заходил по комнате как был — в носках. Он пробовал звенья новой логической цепи на разрыв... Разве не логично, что именно Ульрих Цафф, сапер-штурмовик с огромным фронтовым опытом подрывной работы, вошел в диверсионную группу «Вишну». Если он родственник пастора, значит, Альтхафен ему хорошо знаком, и вероятность включения такого человека в диверсионное подполье возрастает. Он захвачен живым и убивает себя не только из фанатизма. В Альтхафене у него родственники. Не выдать бы их...

Эх, посоветоваться бы с Сулаем!

МОСТ ТРЕХ РУСАЛОК

В это утро Оресту очень не хотелось просыпаться. Не потому, что одолевал сон, а потому, что, проснувшись, надо было думать. Снова думать, каким образом Вишну, главарь «вервольфов», связан с пастором или пастор был связан с «вишнуитами». Да и связаны ли они вовсе? Пока что единственным общим звеном, которое сцепляло еремеевские догадки, была вездесущая буква U.

После вчерашних ночных размышлений мозговые полушария — Орест это явственно чувствовал — превратились в половинки чугунных ядер. Потянуло вдруг к черному «адлеру», к простой и понятной работе, не требующей особых умственных напряжений. Но печатать на машинке Еремееву не пришлось.

Майор Алехин подыскал ему другую работу.

В подвале ратуши, только что осушенном командой Цыбульки-

на, стоял сырой запах бумажной прели — размокшего архива альтхафенского магистрата. Именно здесь Алехин надеялся найти планы городских подземных коммуникаций: водосточной сети, канализации и кабельных трасс.

— Найдешь схемы — представлю к правительственной награде! — напутствовал Еремеева майор. В помощь лейтенанту отрядили молодого бойца из комендантской роты — длинного и тощего рядового Куманькова, который еще не успел забыть школьный курс немецкого, а для охраны — сержанта Лозоходова, вооруженного автоматом и гранатной сумкой.

Разбухшие листы расползались в пальцах, и приходилось очень осторожно отделять один документ от другого. Куманьков читал вслух заголовки папок и те, что могли представлять хоть какой-то интерес, передавал Еремееву для более детального изучения. Лозоходов поглядывал на них с верхних ступенек лестницы, курил румынские сигареты, не забывая, впрочем, посматривать в коридор сквозь полукруглый проем распахнутой двери.

Они проработали до самого вечера. Однако ничего существенного найти так и не удалось. Попадались пухлые дела с нудными отчетами по озеленению города, сметы на благоустройство старобюргерского кладбища и реконструкцию яхт-клуба, сводки, кадастры и прочая бумажная канитель. В записях о рождениях и смертях Орест обнаружил подписи пастора Цаффа. Оторвав кусочек листа с пасторским автографом, Еремеев в тот же вечер сличил его с подписью на отчете командира штурмовой группы. Не надо было быть графологом, чтобы убедиться, как разнятся оба почерка. Да и с самого начала нелепо было рядить духовника бомбейского консульства в мундир сапера-подрывника, специалиста по уничтожению дотов. Значит, оставалось искать Ульриха Цаффа в числе ближайших родственников пастора. Проще всего это было сделать сегодня, то есть расспросить при покупке вазы Диту, разумеется под благовидным предлогом, о семействе пастора и о нем самом. Но по дороге к кирке у Еремеева созрел на этот счет план столь же заманчивый, сколь и рискованный.

Дита встретила его все в том же бело-черном наряде, тщательно прибранная, слегка подкрашенная.

Она была оживленна и игрива. Так, поднимаясь по узкой лестнице, Дита попросила руку и крепко сжала пальцы «господина лейтенанта». Но и «господин лейтенант», парень не промах, не выпустил кисть спутницы ни когда лестница кончилась, ни когда они вошли в кабинет пастора. Более того, выложив приготовленные деньги на бюро, он взял и вторую руку девушки. Дита скромно потупила глаза.

— Фрейлейн Хайнрот,— голос Ореста звучал томно и проникновенно.— Я бы очень хотел снять комнату в вашем доме, чтобы видеть вас каждый день.

Фраза, приготовленная заранее и отрепетированная по дороге, произвела должный эффект.

— Боюсь, что это будет сложно, господин лейтенант... Фрау Хайнрот не согласится... А впрочем,— с прежним озорством улыбнулась Дита,— я поговорю с ней сама!

Фрау Хайнрот наливала кофе миловидной девушке с нежно-рыжими локонами. Таких девушек Еремеев видел на пасхальных немецких открытках.

— Сабина,— представила Дита девушку.— Дочь дяди Матиаса, с которым вы уже знакомы по «шварцмаркету». Присаживайтесь, господин лейтенант! Сегодня по случаю успешной продажи вазы кофе у нас натуральный...

Натуральным оказался и шоколад «Кола», хорошо знакомый Оресту по трофейным бортпайкам немецких летчиков. Он обжигал небо горячим кофе и слушал застольную болтовню Диты:

— Дядя Матиас заболел, и Сабина доставила нам огромную радость, что заглянула в наш женский монастырь. Жаль, не смог прийти сам дядя Матиас. Он очень интересный человек, и вам было бы с ним совсем не скучно. Дядя Матиас — главный смотритель альтхафенских мостов. Он так о них рассказывает! До войны даже написал путеводитель по мостам города. У нас их очень много — и больших и маленьких. А есть такие красивые, что позавидуют и в Берлине.

Дита покопалась на этажерке с книгами и вытащила тоненький цветной буклет «Мосты Альтхафена». Прекрасные фотографии были наложены на схему речной дельты города. Эта схема сразу же напомнила о задании майора Алехина. Конечно же, под стеклом алехинского стола лежала карта города куда более подробная, чем туристская схема. Но, может быть, у главного смотрителя сохранилось что-нибудь посущественней? Орест взглянул на Сабину с нескрываемым интересом:

— Неужели эту чудесную книжку написал ваш отец?

— Да,— холодно проронила девушка. Дита поспешила развеять неловкую паузу, возникшую после не слишком учтивого ответа кузины. Она открыла пианино и зажгла фортепианные электросвечи под розовыми абажурчиками.

— Сабина, будь добра! Мы с тетей Хильдой так давно тебя не слушали...

— Нет-нет, я сто лет не садилась за инструмент! Как-нибудь в другой раз... И вообще, мне пора. Скоро комендантский час.

Еремеев тоже поднялся из-за стола, одернул китель.

— Спасибо за прекрасный кофе!

— Ах, посидите еще! — Дита сделала обиженное лицо.— Надеюсь, вас комендантский час не пугает?!

— Не пугает, но, увы, служба! Заступаю в ночное дежурство.

Сабина попрощалась и, захватив аккуратно перевязанный сверток, прикрыла за собой дверь. Орест сразу почувствовал себя свободней и уверенней.

— Фрау Хайнрот! — обратился он к хозяйке дома.— Я бы хотел снять у вас комнату. Дело в том, что дом, в котором я живу,

сильно пострадал во время войны, и теперь сквозь трещины в потолке каплет дождь.

Это была полуправда. От близкого взрыва авиабомбы по потолкам дома фрау Ройфель действительно пошли трещины, но никакой дождь из них не капал.

Лицо экономки вытянулось:

— Господин лейтенант, это невозможно! Пастор Цафф был очень уважаемым человеком в городе. Магистрат даже не стал к нам никого подселять, хотя вы знаете, какое положение теперь с жильем...

— Да, с жильем в Альтхафене и вправду трудно... Должен огорчить вас, фрау Хайнрот, в ближайшее время квартирный вопрос станет еще острее. Через несколько дней в город прибудет большая воинская часть, и, боюсь, вас все-таки потеснят.— Орест многозначительно помолчал, потом бросил главный свой козырь:

— Мое присутствие в вашем доме могло бы оградить вас от лишних хлопот. Я обещаю вам это как офицер городской комендатуры.

Экономка напряженно обдумывала свалившиеся на нее новости.

На помощь пришла Дита.

— Тетушка, я думаю, мы не должны отказать господину лейтенанту. Он так любезен!

Фрау Хайнрот наконец взвесила все «за» и «против».

— Ну что ж, господин офицер, если наш дом вам по душе... Надеюсь, у вас не найдется причин сожалеть о вашем выборе. Когда вы хотите переехать?

— Завтра же. Где-нибудь к обеду. Спокойной ночи, фрау Хайнрот. Очень признателен вам за гостеприимство!

В прихожей его окликнула Дита.

— Гос-по-ди-ин лейтенант,— протянула она, посмеиваясь,— вы забыли свою вазу!

— Поставьте ее в мою комнату.

Плащ Сабины мелькнул и скрылся за поворотом на набережную Шведского канала. Еремеев прибавил шагу и очень скоро догнал девушку.

— Все-таки я вас провожу! Темнеет. В городе неспокойно.

Сабина не удостоила его ответом, шла, глядя перед собой.

— Ну и погодка у вас... Опять дождь собирается.

— А какая погода у вас?.. В России?

Сабина вступила в разговор отнюдь не ради любезности. Голос ее не обещал ничего хорошего.

— О, в Москве сейчас золотая осень!

— Вот и сидели бы в своей Москве, раз вам не подходит наш климат!

Какое-то время они шли молча. Еремеев справился с собой и постарался снова стать учтивым кавалером:

— Давайте-ка мне ваш сверток! Он оттянул вам руку.

— Вы очень любезны, но я уже дома.

Еремеев оглянулся — они стояли у моста Трех Русалок; никакого дома поблизости не было, жилые кварталы отступали от парапета набережной на добрую сотню метров.

— Где же вы живете?

Сабина усмехнулась, кажется, впервые за весь вечер.

— Я живу в мосту.

Только тут Орест заметил в массивной опоре моста круглое окошко и маленький балкончик, нависавший над водой. Должно быть, раньше там обитал техник, ведавший разводным механизмом моста. Но раздвижной пролет был взорван в дни штурма, и с тех пор мост Трех Русалок, последний на речном пути к морю, бездействовал. Сабина, перехватив еремеевский взгляд, поправила берет.

— Прощайте, господин лейтенант. Мне пора!

— Приятных снов!

Еремеев еще постоял, посмотрел, как девушка шла по мосту, как исчезла в башне, сложенной из больших гранитных квадратов, как зажглось над водой круглое оконце, и, сбив фуражку на затылок, зашагал домой.

КОРВЕТЕНКАПИТАН ФОН ГЕРН

Сабина закрыла за собой обитую железом дверь и повернула ключ в замке на два оборота. Она подергала овальную дверцу, ведущую в камеру разводных лебедок, и, убедившись, что она заперта, зажгла свет, задернула маскировочную шторку и только тогда почувствовала себя в безопасности, сняла плащ и берет.

Вот уже второй год Сабина проделывала все это почти в ритуальной последовательности. Когда отец перебрался к брату своей новой жены, Сабина не захотела ехать и в без того уже перенаселенную квартиру. Она осталась одна.

Если бы кто-нибудь стал ломиться к ней в дверь, Сабина знала, что ей делать. Отец показал ей крышку люка в углу комнаты с табличкой «мостовое имущество». Вертикальный скоб-трап вел в полое основание мостового быка, где прежний хозяин хранил багры, спасательные круги, веревки, но самое главное — держал моторную лодку.

Через портик в тыльной части быка лодка легко — по роликам — выкатывалась на воду. Рывок пускового шнура, и прощайте незваные гости! Правда, теперь вместо лодки там стоял миниатюрный катер отца. Этот катер ему подарил жених Сабины, блестящий морской офицер — корветенкапитан фон Герн.

Прошлой весной, перед самым приходом русских, главный смотритель перегнал катер под мост Трех Русалок и спрятал его

в камере опоры. Сделал он это глухой ночью, так что о перегоне не знали ни жена, ни дочь. Но, оставляя Сабину одну, в день переезда он спустился с ней в шкиперскую, показал катер, объяснил, как запускать мотор, и разрешил в случае явной опасности покинуть на нем мост.

Каморка в гранитной башне быка с железной дверью и запасным входом казалась Сабине вполне надежным убежищем до тех пор, пока однажды ночью — вскоре после рождества — в крышку люка, прикрытую циновкой, негромко постучали, и через несколько секунд, полных ледяного ужаса, знакомый голос — голос фон Герна! — попросил открыть люк. Честно говоря, она уже перестала его ждать — о нем не было вестей больше года,— хотя, как и все альтхафенские девушки, Сабина знала легенду о верной Гретхен, которая прождала мужа-крестоносца целых десять лет, не отходя от прялки.

Некогда элегантного корветенкапитана трудно было узнать в исхудавшем бородаче, облаченном в грязный брезентовый комбинезон, изодранный капковый бушлат и цигейковый русский треух. Пока Сабина заваривала черемуховый кофе и грела воду в бельевом баке, фон Герн рассказывал про ужасы русского плена.

— Как ты меня нашел? — удивлялась Сабина.

— Встретил в городе твоего отца.

— Но ведь у нас полно русских!

— Вот потому-то я, как Вельзевул, пришел к тебе из-под земли.

— Но как ты сюда проник? У меня все заперто!

Оказалось, в цементном полу шкиперской кладовой существует смотровой колодец, ведущий в дюкер * кабельного коридора, проложенного под руслом реки. Крышка колодца, на счастье фон Герна, не имела запора.

Утром «беглец из русского плена» исчез в зеве смотрового колодца. Он пропал надолго, почти на месяц. И Сабина, словно верная Гретхен, ждала его, считала часы, дни, недели... Он появлялся редко. Но Сабина научилась предчувствовать его визиты.

В этот вечер она сменила наволочки и опустила в бак электрокипятильник.

В ДОМЕ ПОВЕШЕННОГО НЕ ГОВОРЯТ О ВЕРЕВКЕ

Утром, разглядывая трещины на потолке, Орест подыскивал причину для переезда более убедительную, чем несуществующая течь. Впрочем, никакой, даже самый веский, предлог не смог бы избавить фрау Ройфель от огорчений: плата квартиранта-офицера была едва ли не единственным для нее источником средств существования. Напрасно Еремеев призывал себя быть равнодушным к вдовам солдат вермахта; ему было жаль эту женщину, тихую, сухую и черную, как летучая мышь.

* Труба, изолирующая какие-либо коммуникации, проложенные под водой.

Фрау Ройфель вешала на кухне бельевую веревку, но никак не могла дотянуться до крюка, вбитого довольно высоко.

— Разрешите!

Орест взял у хозяйки веревку и сам влез на табуретку. Веревка была новенькая, беленькая, шелковистая... И тут Еремеев чуть не сверзился с табурета: веревка! Проклятая память сыграла одну из злых своих шуток. Орест вдруг вспомнил, как он отвязывал «вервольфа» от скобы мотоциклетной коляски. Тот прыгнул в колодец, обмотанный вокруг пояса прочнейшим шелковым линем. Когда достали его труп — веревки не было! Еремеев сейчас ясно вспомнил — не было! Да-да, не было! Но где же она? Сулай обвязал диверсанта куда как крепко, сползти веревка не могла.

Еремеев нахлобучил фуражку и выскочил из дома. По брусчатке хлестал дождь, но возвращаться за плащ-накидкой Орест не стал — опрометью бросился в комендатуру. Вбежав во флигель, он первым делом заглянул к себе, достал из папки фотографии трупа, сделанные у колодца. Веревки действительно не было!

«Раззява! Шляпа с капюшоном! Проморгать такую деталь! — Еремеев чуть не плакал от досады.— Хорош контрразведчик!..»

В расстроенных чувствах Орест заглянул в гараж, взял у Лозоходова «кошку» и тщательно протралил колодец. Веревки не было.

— Чего ищем, лейтенант? — любопытствовал шофер.

— Веревку, случайно, ведром никто не зацеплял?

Сержант такого не припомнил и пообещал Еремееву принести целую кучу всяких бечевок, дабы не выуживать их из колодцев, да еще в проливной дождь. Орест пропустил лозоходовское ехидство мимо ушей и с тяжелым сердцем отправился в кабинет начальника.

Майор Алехин выслушал его, задумчиво покусывая дужку очков, а в конце поинтересовался, известна ли Оресту Николаевичу пословица «хороша ложка к обеду»?

— Товарищ майор, разрешите мне в колодец спуститься! Не водолазу, а мне. Я его весь простучу, просмотрю...

— Оч-чень мудрое решение.— Алехин снял очки таким жестом, каким при покойниках снимают шляпу.

Еремееву вдруг очень захотелось поменяться судьбами с каким-нибудь обычным человеком, занимающимся простым и понятным делом. С сержантом Лозоходовым, например. Чистить карбюратор, менять фильтры, набивать смазку, а по вечерам крутить роман со знакомой регулировщицей, ничуть не заботясь, что подумают о тебе старшие начальники.

— А как у вас дела с архивом?

— Половину разобрали, товарищ майор. Ничего интересного.

— Ищите. Ищите внимательно,— сказал Алехин с тяжелым вздохом, и Еремеев понял, что ему дается последний шанс.

До обеда все той же троицей они сидели в подвале. Перекусив, Лозоходов и Куманьков помогли Еремееву перетащить нехитрые

пожитки в дом пастора. Фрау Ройфель, к счастью, отсутствовала, так что объясняться с ней не пришлось. Орест с легким сердцем оставил записку, завернув в нее деньги за месяц вперед и ключ от комнаты.

— Я приготовила вам апартаменты наверху, рядом с кабинетом господина пастора,— встретила фрау Хайнрот квартиранта. Она проводила его по лестнице и вручила ключ. Комната Оресту понравилась, хотя и была раза в два меньше прежней. Единственное ее окно выходило в церковный дворик. Черный кожаный диван с откидными валиками и высокой спинкой призван был служить ложем. Над диваном висел резной домик часов, из окошечка которого выскакивала не кукушка, а трубочист. Индийская ваза поблескивала на застекленном книжном шкафчике. Орест поставил рядом с ней статуэтку танцующего бога.

Покончив с переездом, Еремеев увел свою команду в подвал ратуши. Если раньше бумаги расползались от сырости, то теперь они подсохли и слиплись так, что разделять их приходилось очень осторожно. Работа двигалась медленно. Еремеев сидел на корточках, спина затекла, но никаких планов, схем или описаний подземных коммуникаций Альтхафена не попадалось. Куманькову тоже изрядно надоело копание в бумагах, он вяло перекладывал папки из одной стопы в другую. Пуще всех, пожалуй, скучал Лозоходов. Сначала он прохаживался по коридору и распевал:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И девки пляшут по четыре в ряд...

Потом спустился вниз и тоже стал рыться в бумагах, но, не найдя в них ничего для себя интересного, начал приставать с разговорами и вопросами:

— А как по-немецки: «я вас люблю»? — экзаменовал он Куманькова.— А переведи на русский «едрихен-штрихен». Не можешь? Хочешь, я переведу?

Он мешал работать, и Еремееву пришлось прикрикнуть. Сержант слегка расстроился:

— Эх, жизнь...

Лозоходов присел на ступеньки, чтобы закурить, но тут же вскочил: из-за груды архивных папок с шумом и свистом ударила вода. Один из карбидных фонарей опрокинулся, потух и зашипел, распространяя резкий запах. Другой Куманьков успел подхватить.

Сначала все бросились на бумажные кипы смотреть, откуда топит и нельзя ли перекрыть воду. Пока карабкались и раскидывали тяжелые связки, вода поднялась вровень с краями голенищ.

— Саперы, боговы помощники — осушили, называется! — клял Лозоходов цыбулькинскую гвардию.— Заделать до конца не могли!

Он первым перепрыгнул на бетонные ступеньки, изрядно черпанув сапогом.

— От, черт! Дверь закрылась...

Сержант бил в нее сапогами, потом прикладом автомата: толстый щит из мореного дуба глухо отзывался на все удары.

— Товарищ лейтенант! — закричал Лозоходов сверху.— Дверь сзади подперли!

Сержант отступил чуть вниз и почти в упор всадил в дверь короткую очередь — одну, другую, третью... Пули вязли в сырой древесине.

— Стой, Лозоходыч! Побереги патроны. Может, пригодятся в коридоре... Гранаты есть?

— Да не взял я сегодня сумку, тяжесть эту таскать... Орясина! — обругал себя сержант.

Еремеев обескураженно присвистнул:

— Веселые дела!

Вода поднялась до середины лестницы. Оресту стало не по себе. Такого глупого конца он и представить себе не мог.

— У меня есть граната! — заявил вдруг Куманьков.

— Что ж ты молчал, тютя?! — накинулся на него Лозоходов, но, заполучив в руку тяжелый рубчатый «лимон», мгновенно сменил гнев на милость.

Они вошли в воду по грудь. Замирая от холода, прижались к стене. Лозоходов вырвал чеку, положил под дверь и прыгнул с лестницы.

Рвануло!

Шарахнуло фонарь о стенку. Секанули по воде и сводам осколки. Еремееву показалось, что он ослеп и оглох, когда вынырнул в кромешную темень и тишь подвала. Едкая вонь ацетилена и сгоревшей взрывчатки забивала ноздри. Рядом плескались Лозоходов и Куманьков.

— Живы?

— Да пока не зарыли! — весело откликнулся сержант. Вылезли на лестницу, ощупали дверь — нижнюю половину вышибли, а верхняя крепко держалась в проеме.

— Ригель задвинули, сволочи!

Лозоходов отодвинул засов и распахнул огрызок двери. Полоснув из автомата в темноту коридора, сержант, словно в уличном бою, бросился вперед, пригибаясь и прижимаясь к стенкам. Еремеев с Куманьковым последовали за ним. Наверх выбрались благополучно, и серая сеть дождя показалась им самым прекрасным видением в жизни...

ЛУННЫЙ ДОЖДЬ

Доложив дежурному по отделу подробно, под запись, о происшествии в подвале и сообщив заодно свой новый адрес, Еремеев, дрожа от холода, в отжатом, но все еще сыром обмундировании побежал домой, не прячась от дождя. Свет в верхних окнах не горел. Дверь, как и днем, открыла фрау Хайнрот. Орест попросил ее вскипятить чайник, взлетел к себе в комнату, разделся и крепко

растерся старым шерстяным свитером. Натянул сухое белье, с великим удовольствием облачился в серый клетчатый костюм.

В дверь постучали.

— К вам можно, господин лейтенант?

Дита принесла поднос с кофейником, тремя кусочками сахара, ломтиком серого хлеба и розеткой, наполненной джемом из ревеня. Еремеев поблагодарил. Девушка сделала книксен.

— О, вас трудно узнать в этом прекрасном костюме! Носите его всегда! Господину лейтенанту ничего больше не нужно?

— Спасибо, Дита. Кстати, зовите меня по имени. Это проще. Меня зовут Орест.

— О-рэст?

— Чуть мягче — Орест. Греческое имя, у него смешной перевод — «дикий».

— Фуй! — наморщила Дита носик.— Вы совсем непохожи на дикого зверя!

— Очень приятно... Сколько я помню, фрау Хайнрот зовут Хильда?

— Да. Вы можете звать ее тетушка Хильда, ей будет приятно.

— Дита, а как звали господина пастора?

— Удо Мария Вольфганг.

— Удо?

— Да, Удо.

— Неудобно как-то жить в доме человека и не знать его имени. Пусть даже его нет...

— Да, господин Цафф был очень хороший человек.

— Лотта говорила, он жил в Индии...

— Да, много лет.

— А вот интересно, лютеранским священникам разрешается жениться?

— Разрешается. Но господин Цафф всю жизнь был холост.

— Как и я. Я тоже холост всю жизнь.

— О, господин лейтенант! — рассмеялась Дита.— У вас все впереди!.. Мне пора. Меня ждет тетушка. А то она подумает что-нибудь нехорошее... Если я вам зачем-то понадоблюсь — моя дверь напротив вашей. До свидания!

Орест погрел руки о кофейник, затем выпил подряд несколько чашек горячего желудево-черемухового варева.

Дурацкий день! Сплошные неудачи и разочарования. Сначала эта проклятая веревка, потом купание в подвале, теперь вот разлетелась в пух и прах вся его идиотская версия, построенная всего лишь на совпадении фамилий бравого подрывника и благообразного пастора. Да, и Вишну-бог и Вишну-оборотень не что иное, как то же самое примитивное совпадение. Нельзя же так дешево покупаться!

Еремеев вдруг с ужасающей ясностью понял: все, что он до сих пор предпринимал по «делу Ульриха Цаффа»,— все отдавало махровым дилетантизмом, все было удручающе непро-

фессионально. Нет у него никакой интуиции и никакого чутья. Да что там чутья! Нет элементарных офицерских навыков: вместо того чтобы заставить Лозоходова нести свою сторожевую службу, позволил ему шататься без дела и трепать языком. В глазах майора Алехина это будет выглядеть именно так: «Лейтенант Еремеев не смог организовать охрану места работ, в результате чего...»

Хорошо еще, что без потерь обошлось. А то точно — на контрразведчике Еремееве поставили бы большой крест.

Орест вспомнил, как гоголем ходил, когда ему вручили красное «смершевское» удостоверение. И с чего это он возомнил себя контрразведчиком?! Память дырявая, собранности никакой, выдержка плохая, интуицию заменяет воображение.

Он легко верит, во что хочется верить. В последнее время развилась болезненная мнительность: готов подозревать в связях с «вервольфами» кого угодно — доктора Гекмана, Лотту, фрау Хайнрот, Сабину и даже эту козьеглазую немочку, которая так отчаянно с ним флиртует. Ну, конечно же, ради того, чтобы соблазнить советского офицера, сделать его своим агентом и выуживать военные секреты. Есть тому и неоспоримые доказательства: шоколад летчиков люфтваффе с тонизирующим орехом кола. Откуда он у бедной девушки, племянницы пасторской экономки? Ну-ну, поехали... Кстати, шоколад могла принести и Сабина. А что она уносила в свертке? Вещи, дорогой мой, вещи для продажи на «шварцмаркете». Папенька их, дядя Матиас, заболели и не смогли прийти сами... Не мешало бы прокачать и папеньку...

Тьфу, черт! Так и свихнуться недолго.

— Господин лейтенант, вы не спите? — в дверь заглядывала легкая на помине Дита.— У меня маленькое несчастье. Никак не могу расстегнуть сережку.

Дита подставила маленькое розовое ушко. Серебряная застежка оказалась совершенно исправной, и Орест легко ее расстегнул.

— Пожалуйста.

Он был слишком подавлен, чтобы поддаваться чарам фрейлейн Хайнрот.

Дита ледяным голосом пожелала ему спокойной ночи.

В довершение ко всем проколам не хватало еще завести интрижку в пасторском доме!

Нет, надо было решительно определяться, как быть дальше и кем быть — расписаться в собственной беспомощности или еще раз попытаться удержать шальную жар-птицу, утвердиться в настоящем мужском деле?

Наверное, не все так безнадежно. Ведь если взяться за себя как следует — делать каждое утро гимнастику, стать, хотя бы на месяц, беспощадно к себе строгим, закалять волю, вырабатывать терпение, тренировать память — неотступно, ежечасно, ловя любой подходящий момент, ведь если по-настоящему захотеть, неужели не получится?

Как всегда, когда Еремеев начинал «новую жизнь», действовать захотелось немедленно, сразу, ничего не откладывая на завтра. Для начала надо было подыскать место для утренней зарядки. В комнате тесно — негде рукой взмахнуть. Во дворе — Орест выглянул в окно — не хочется гимнастировать на глазах прохожих.

Он вышел в коридорчик. Дверь в галерею была полуоткрыта. Пригибаясь, прошел под низким сводом и очутился в поворотной камере с овальным зевом узкого лестничного спуска. Живо припомнилась ловушка в подвале. Еремеев метнулся в галерею и в одну секунду оказался в уютном коридорчике мансарды. Но, уличив себя в трусости, взял пистолет, карманный фонарик, снова вернулся в поворотную камеру, осторожно спустился по крутым и высоким ступенькам.

Внутристенная лестница вывела его в алтарную часть кирки. Орест облегченно вздохнул и выключил фонарик. Лунный свет падал на плиты молитвенного зала. Под хорами громоздился штабель, составленный из скамей прихожан. В углу близ алтаря отливали холодным мрамором надгробные плиты отцов церкви и города.

Орест прошелся по пустынному храму: ну чем не спортзал? Вот здесь можно подтягиваться, там — отжиматься. Да тут и пробежки есть где устраивать!

Сквозь проломы в крыше сеял мелкий дождь. Еремеев задрал голову и удивился: дождь при луне! Чудной все-таки этот город — Альтхафен...

НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ

Встал Еремеев раньше всех в доме — в шесть утра, спустился в «спортзал» и отработал до хруста в костях весь комплекс армейской гимнастики. Взбодрив тело, Орест приступил к тренировке памяти. Начинать надо было с простого — с заучивания стихов. Еремеев открыл стеклянный шкафчик и вытащил наугад несколько томиков. Все книги оказались духовного содержания. Хорошо бы найти Гёте. Недурственно цитировать «Фауста» в подлиннике.

И тут фортуна, словно в награду за начало праведного образа жизни, преподнесла приятный сюрприз. Из потрепанного «Катехизиса», который Орест снял, чтобы добраться до второго ряда, выпала фотокарточка. Простоволосый фенрих * радостно улыбался в объектив аппарата. Лицо довольно приятное, высокий лоб, тонкий нос, твердо очерченный подбородок. Лишь глубоко посаженные глаза придавали юноше вид слегка угрюмоватый и настороженный.

В петлицах фенриха Орест разглядел эмблемы инженерных войск, на обороте карточки прочел карандашную пометку: «Карл-

---

* Первичное офицерское звание в вооруженных силах Германии.

хорст. 1937». Полустертую надпись можно было прочитать и как Карл Хорст, то есть как имя фенриха. Кто он, этот веселый Хорст, и как он попал в книгу пастора? Поклонник Диты? Сколько ей было в 37-м? Лет шестнадцать-семнадцать. Ну что ж, вполне возможно...

Спрятав карточку в «Катехизис», Еремеев постучал в дверь соседки.

— Вы уже встали, фрейлейн Хайнрот?

— Да, войдите.

Дита расчесывала перед зеркалом волосы.

— Я нашел фотографию вашего возлюбленного,— начал Орест как можно вальяжнее.— Что мне за это причитается?

— Возлюбленного?

— Ну конечно! Разве можно не полюбить такого парня? — Еремеев раскрыл книгу с карточкой фенриха. По лицу девушки пробежала тень. Она схватила фото и спрятала в сумочку.

— Он обещал жениться? — продолжал Орест шутливый допрос.— Куда же он делся, этот коварный Карл?

— Карл? — растерянно переспросила Дита.— Он погиб. В Польше...— И поспешно добавила: — Еще до войны с вами. В тридцать девятом.

— Он был летчиком? — ревниво уточнил Орест.

— Нет, кажется танкистом. Да, танкистом...

«С каких это пор танкистов готовят в инженерных училищах?» — вертелось у Еремеева на языке, но расспросы и без того затянулись.

— Так что мне причитается за находку? Я жду награды.

— Вы ее не получите! Вчера вы меня совершенно не замечали!

— Простите, Дита! Вчера у меня были большие неприятности... Нет ли у вас стихов Гёте?

— У меня есть Шиллер.

Второй сюрприз поджидал Еремеева на углу Кирхплатца и Флейшгассе. Едва он пересек церковную площадь, навстречу ему вышла взволнованная Лотта Гекман.

— Господин лейтенант, я прошу вас зайти в нашу библиотеку!

— Что случилось, Лотта?

— Я не могу сказать вам это здесь, на улице... Вы должны к нам зайти! Это не отнимет у вас много времени!

— Хорошо. Идемте.

— Только идите позади меня... Пожалуйста. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Поймите меня правильно. У нас в городе на женщин, которые ходят с русскими офицерами, смотрят... Вы понимаете?

— Хорошо,— согласился Еремеев, пытаясь угадать, что за подвох может крыться в таком приглашении.— Я приду минут через пять после вас.

Они встретились у дверей читального зала. Лотта возилась с ключом, никак не могла открыть замок. Орест помог. В зале ничего не изменилось, только заметно подросли стопы разобранных книг. На глаза опять попался этот странный прибор с U-образной трубкой на палисандровой дощечке.

— Как называется по-немецки этот прибор?

— Сифонный барометр,— ответила Лотта, роясь в книжном шкафу.

— Да-да! Сифонный барометр... Именно сифонный.

— Это очень старый прибор... Когда-то он принадлежал основателю нашего университета доктору Артензиусу...

Фрейлейн Гекман нервно теребила в руках толстую книгу в переплете с кожаными уголками.

— Господин лейтенант, вы единственный русский офицер, которого я знаю. Поэтому я обращаюсь именно к вам... В городе много говорят о «вервольфах». Они прячутся там, под землей...— Лотта понизила голос.— Я нашла в наших фондах вот эту книгу. Она о старинных подземельях Альтхафена. Тут есть чертежи уличных водостоков, фонтанов, каналов. Если вы передадите книгу тем, кто ищет «вервольфов», она может быть им полезна.

Еремеев перелистал книгу. Замелькали фотографии и рисунки фонтанов, мостов, обводных каналов, сводов монастырских подвалов, подземных галерей замков, тоннелей средневековых водостоков... Орест разыскал рисунок фигурного колодца во дворе комендантского особняка. Оказалось, он действительно был фонтаном — фонтаном святого Себастьяна. К рисунку прилагался и чертеж водонапорного устройства, но Еремеев не усмотрел в нем ничего особенного, никаких камер-секреток, никаких средневековых фокусов. Зато в конце книги Орест нашел бумажную «гармошку» с планом подземных сооружений центральной части города. Это была находка, с которой не стыдно появиться перед майором Алехиным!

— Я могу взять эту книгу с собой?

— Да. Только одна просьба. Пусть мое имя останется в тайне. Вы сами наткнулись на эту книгу здесь. Пусть этих негодяев, которые стреляют в неповинных людей, найдут как можно быстрее...

Еремеев хотел было сказать о том, что Лотта — настоящая патриотка обновленной Германии, и что-то еще не менее возвышенное, но из груди вырвалась лишь фраза:

— Лотта! Вы очень... хороший человек!

Майор Алехин долго листал книгу. Две главы он пометил крестиками:

— Сделайте мне подробный перевод.

План с раскладной «гармошки» майор перенес на карту города сам.

Еремеев рассказал все, что знал о главном смотрителе мос-

тов — Матиасе Вурциане. И снова вызвал одобрительный кивок Алехина:

— Этот человек мог бы нам пригодиться...

— Я знаю, где живет его дочь.

— Вот и хорошо. Разыщите...

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КОРВЕТЕНКАПИТАНА

Вечером, после всех хозяйственных дел, Сабина достала папильотки и села перед маленьким зеркалом, оставшимся еще от мачехи. Она накрутила первый локон, как вдруг почувствовала, не услышала, а почувствовала, что внизу, в шкиперской, кто-то есть. Это он! Но почему же медлит, не поднимается? Сабина отбросила камышовую циновку, распахнула люк: в шахте брезжил желтый электросвет.

— Ульрих, это ты?!

В шкиперской что-то звякнуло, упало, и простуженный до неузнаваемости мужской голос торопливо откликнулся:

— Да, да, это я! Сейчас поднимусь...

Сабина не стала ждать и быстро спустилась по скобам. Фон Герн вылезал из носовой части катера.

— Проверил нашу лошадку, как она себя чувствует. Похоже, нам предстоит небольшое свадебное путешествие.

Он вылез из катера и нежно обнял Сабину.

— Пойдем наверх! Ты совсем простужен.

— Погоди. Вот сюда я положил шесть банок сгущенного кофе и шоколад. Это неприкосновенный запас. В этот рундучок можешь положить свои вещи — сколько войдет, не больше.

— Послушай, неужели мы и вправду наконец...— Сабина в изнеможении присела на краешек борта.

— Да, да! — не то от озноба, не то от возбуждения потирал руки фон Герн.— Небольшое свадебное путешествие... Четыре часа, и мы в гостях у датского принца.

— Когда же?

— Думаю, на той неделе... Если позволит погода и еще кое-какие обстоятельства... Вот эту канистру держи у себя наверху. В ней всегда должна быть питьевая вода... Поставь ее поближе к люку... И еще. Постарайся в эти вечера никуда не отлучаться. Мы можем сняться в любой день, в любой час.

— Хорошо. Я все поняла. Идем же наверх. Ты едва стоишь...

Корветенкапитан чихнул в рукав.

— Чертова сырость... И этот проклятый дождь. Впрочем, для нас с тобой дождь — благословение господне.

Они поднялись наверх.

Фон Герн держал ноги в тазу с горячей водой и ел яблоки, оставляя на огрызках кровяные следы десен. Потом Сабина натянула на его распаренные ступни шерстяные носки с горчичным порошком и помогла перебраться в постель.

В тот день Еремеев встал как всегда — с началом «новой жизни» — в шесть утра. Проснулся он еще раньше, но мелкий дождь так неуютно барабанил по жестяному карнизу, а старый продавленный диван так удобно подставлял свои вмятины под выпуклости тела — Орест лежал в них точно в выемках мягкого футляра,— что он позволил себе расслабиться и подремать до урочного часа.

Но уже в шесть, не давая себе никаких поблажек, побежал в «спортзал». Дверь в галерею оказалась запертой, и лейтенант тихо чертыхнулся. Неужели экономка засекла его занятия и стала закрывать храм? Ну что ему сделается?! Все равно стоит с проломленной крышей, пустует, только помещение пропадает зря...

Орест присел, осмотрел замок и радостно присвистнул, благо никого не рисковал разбудить: комната Диты пустовала с прошлого вечера. Она уехала в деревню за картофелем. В дверь галереи был врезан стандартный железнодорожный запор с трехгранным штырьком. Еремеев знал старую офицерскую хитрость: двери вагонных тамбуров легко открываются стволом пистолета ТТ. Хитрость помогла, и дверь распахнулась.

В храме стоял пасмурный утренний полумрак. Еремеев стянул майку и положил на нее пистолет. Сделал семь упражнений на «разрыв груди», десять отмашек, присел для отжимания и тут услышал скрежет ключа в высоких входных вратах кирхи. Подобрав майку и пистолет, Орест юркнул за баррикаду скамеек. Дверь приоткрылась, и в храм вошли двое: мужчина в сером дождевике и девушка в голубом плаще. Дита!

Заперев дверь на крюк, они поспешно прошли к алтарю, туда, где выступали из пола надгробные плиты знатных прихожан. Мужчина стал быстро раздеваться. Он аккуратно упаковывал одежду в резиновый мешочек. Тем временем Дита отодвинула среднюю плиту, открыв прямоугольный провал склепа. Мужчина коротко ее поблагодарил и, придерживая мешочек, осторожно слез в склеп, причем послышался плеск воды.

Девушка плавно задвинула плиту на место, подошла к алтарю и молитвенно сложила руки. Простояв минуту с опущенной головой, она быстро поднялась на алтарное возвышение и исчезла в проеме внутренней лестницы.

Еремеев вытер майкой взмокший лоб. Снял пистолет с предохранителя и бесшумно подошел к плите. Ломаные готические буквы выступали из мрамора: «Под сим камнем покоится прах благочестивого доктора Людвига Бонифация фон Артензиуса».

Имя доктора показалось знакомым, но копаться в памяти было некогда. Орест нажал на головки больших медных винтов, крепивших плиту к полу, и головки утопились. Потянув плиту на себя, Еремеев убедился, что даже девичьи руки без особого усилия могли сдвинуть ее с места.

В черной щели блеснула близкая вода. Она стояла тихо, как в колодце. Орест поставил плиту на место.

Подниматься по алтарной лестнице Еремеев не рискнул, беззвучно приподнял крюк на входной двери и выскользнул на паперть. Над брусчаткой безлюдной улицы висела ненавистная дымка. Орест пробрался в церковный двор и, прорысив вокруг клумб пару «восьмерок», позвонил в дверь. Открыла фрау Хайнрот, несколько обескураженная полуголым видом квартиранта.

— Доброе утро, фрау Хайнрот! В здоровом теле — здоровый дух, не так ли?!

И Еремеев растер грудь комком майки. Экономка, буркнув что-то под нос, закрыла за ним дверь.

Орест поднялся в комнату. Он не спеша громыхал вещами, убирал диван, брился, в общем, вел себя как всегда, хотя испытывал страшное желание скатиться по лестнице и броситься со всех ног в комендатуру, к Алехину. Надо было терпеть еще по меньшей мере четверть часа, чтобы выйти из дома, не возбуждая ничьих подозрений. Еремеев заставил себя присесть на диван, попытался сосредоточиться.

Итак, обнаружен подводный вход в убежище «вервольфов». Лучшую маскировку придумать трудно... Так, значит, и тот пленный диверсант бросался в колодец вовсе не затем, чтобы покончить с собой: надеялся уйти через подводный лаз. Недаром же фонтан святого Себастьяна переделан в колодец! Но как?! Каким образом можно проникнуть под воду без специального снаряжения, что там делать, куда-то пробираться?

Орест припомнил колодец во дворе комендатуры; затем перед глазами возникла плита доктора... Как его? Артензиуса... Это звучное имя сработало как ключ, вызвав в памяти цепную реакцию: Артензиус — основатель университета, о нем говорила Лотта... библиотека... прибор на стене... из кабинета Артензиуса... сифонный барометр... Сифон! Сообщающиеся сосуды! Колодец с сифонным входом!

Еще не веря ошеломительной простоте открытия, Еремеев схватил карандаш и набросал прямо на подоконнике небольшой чертеж: два параллельных колодца соединены под водой перемычкой-лазом. Вход в один колодец — на поверхности земли, выход из второго — в неком подземном помещении. Пронырнуть короткий лаз-перемычку для опытного пловца пустячное дело.

Орест стер чертежик. А ларчик просто открывался!

Версию сифонного колодца Еремеев «прокачивал» по дороге в комендатуру.

Почему же «вервольф» не смог преодолеть этот лаз? Не хватило воздуха? Застрял? Зацепился свободным концом веревки за отросток фонтанной трубы? А что? Логично. Очень может быть! Пытался снять веревку. Пока развязывал — задохнулся. Через пару часов его вынесло из лаза во входной колодец. Потому-то раньше и не могли зацепить баграми! Всплыл. Веревка осталась

в перемычке. Но почему же водолаз не смог обнаружить вход? Уж наверняка он не меньше полуметра... Предположим, вход прикрыли маскировочной заслонкой. Пусть так. Но если труп «вервольфа» всплыл сам по себе, то кто закрыл эту маскировочную заслонку? Ведь водолаз спускался в колодец после того, как тело было поднято... И ничего не обнаружил, хотя светил себе фонарем. Может, заслонка закрылась сама? Тут что-то не так... Очень горячо, но еще не достоверно.

Эх, самому бы спуститься!.. Предлагал же!

— Как жизнь, товарищ лейтенант?

Сержант Лозоходов возился во дворе со своим трехколесным «одром».

— Ничего!

— «Ничего» у меня дома в трех чемоданах! — весело осклабился шофер. После случая в ратушном подвале он поглядывал на Еремеева с искренним дружелюбием.

Орест взбежал по винтовой лестнице. Кроме дежурного, в отделе никого не было.

— Майор Алехин еще не приходил?

— Майор Алехин на объекте,— зевнул дежурный.— Будет не раньше чем к обеду. Нужен?

— Да. Очень!

— Вон бери Лозоходова и гони! Через двадцать минут на месте будешь.

— К штольне?

— К ней самой!

Мотоцикл завели с пробежкой до самых ворот. Еремеев предвкушал выражение лица майора Алехина после доклада. Что он предпримет? Оцепит собор? Арестует фрейлейн Хайнрот? Установит за ней наблюдение? Честно говоря, ему было жаль Диту, жаль, что она впуталась в неженское дело, оказалась врагом, и к тому же тайным. А может, ее втянули, запугали, заставили?..

При въезде на Кирхенплатц, откуда начиналась прямая магистраль к подземному заводу, мотор снова заглох. Лозоходов яростно колотил заводной рычаг стоптанным каблуком. Орест обвел взглядом высокие кровли собора.

— Постой, Лозоходыч! Не заводи... Давай тихонько вкатим во двор... Вон туда — за крыльцо... Дело одно есть.

«Я хочу доложить Алехину с полным знанием дела,— убеждал Орест себя,— в конце концов, я обязан все перепроверить».

Они вкатили мотоцикл в церковный двор с той стороны, что не просматривалась из дома пастора, осторожно проникли в храм через высокую дубовую дверь, отомкнутую Еремеевым еще утром. Лозоходов подобрался, шагал легко и бесшумно, поглядывая вокруг цепким птичьим взглядом. Орест не спешил с пояснениями, а сержант — тут он был сама деликатность — не лез с расспросами, только тихо присвистнул, когда Еремеев отодвинул плиту и в каменной раме тускло блеснула вода.

— Значит, так,— шепотом проинструктировал Орест.— Я тут должен проверить под водой одну штуку. Так что подстрахуй меня здесь... Держи пистолет.

Лозоходов сунул пальцы в воду.

— А водичка-то того... Не застудились бы, товарищ лейтенант... У меня, правда, во фляжке кой-чего плещется...

— Р-разговорчики! — сердито прошипел лейтенант. Он торопливо расстегнул китель, стянул сапоги...

Темная грунтовая вода, казалось, вобрала в себя не только холод подземных глин, но и стылого каменного пола, всех мраморных плит кирхи. Еремеев тихо ойкнул, влезши по грудь, поболтал слегка ногами, держась за край прямоугольного люка. Дно прощупывалось. Тогда, вдохнув побольше воздуха, он нырнул, резко перегнувшись в поясе.

Он пошел вниз быстро, зная, что под ним не бездонный колодец, а всего лишь каменная ванна. Не израсходовав и половины запасенного в груди воздуха, нашел у самого пола то, что искал,— квадратную дыру.

Орест поплыл на ту сторону — в смежное колено, довольно тесное после просторной ванны и круглое, как труба. Через пару секунд он выскочил на поверхность и ослеп от кромешной тьмы. В ноздри ударил сырой, затхлый воздух. Еремеев нащупал железные скобы — ржавчина отваливалась с них хлопьями — и вылез по пояс. Второе — скрытое — колено действительно оказалось широкой трубой, которая выводила тех, кто знал сифонный вход, в подвалы кирхи. От черной тишины или тихой темени Оресту захотелось немедленно пронырнуть обратно, но Еремеев нарочно вылез повыше и стал отсчитывать минуту: «И-раз, и-два, и-три... Трус несчастный... И-пять, и-шесть, и-семь...» Потом пришла забавная мысль: то-то запереживает сейчас Лозоходов — был лейтенант и нет, утоп! Шутка ли, третью минуту под водой. Орест даже подмигнул себе, знай наших, уметь надо дыхание задерживать. Страх прошел. Не такие уж они дураки, «вервольфы», чтобы сидеть тут поблизости. Подхрамовые склепы наверняка лишь что-то вроде тамбура перед основными ходами.

«...И-пятьдесят девять, и-шестьдесят!» Еремеев спустился по скобам, беззвучно погрузился, разыскал подводный лаз, благополучно пронырнул и круто пошел вверх. Выставленные над головой руки больно ударились о плоский гладкий камень. Плита! Холодея от ужаса, Орест провел по всей плоскости и понял: плита встала на место. Он попробовал приподнять ее и сдвинуть, но с таким же успехом можно было упереться плечом в любую из стен каменной западни.

ЧЕЛОВЕК С ЗАЯЧЬЕЙ ГУБОЙ

Дита проглотила таблетку люминала, но уснуть так и не смогла, несмотря на бессонную ночь и пережитые треволнения. Соб-

ственно, все прошло благополучно, и первое задание господина Вишну она выполнила как нельзя лучше: уехала вчера из Альтхафена в приморскую деревушку, открыла заброшенный дом фрау Хайнрот, куда время от времени наведывались за старомодными, но добротными вещами (тетушка перешивала их для Диты и для продажи), а также за кое-какими запасами квашеной капусты, сухой кровяной колбасы, эрзац-меда и копченой рыбы. Вечером зажгла в старой сетевязальной мастерской, примыкавшей к дому, ацетиленовый фонарь и перевесила его поближе к окну с видом на море. Ее предупредили, что человек с заячьей губой придет продрогший и промокший, поэтому надо будет накормить его и напоить горячим кофе. Ужин поджидал ночного гостя тут же, в мастерской: круг кровяной колбасы, тарелка кислой капусты, сдобренной тминным маслом, блюдце бледно-желтого искусственного меда, плитка шоколада «Кола» и термос с кофе.

Человек с заячьей губой пришел в час ночи, когда Дита, устав ждать, прилегла на ворох старых сетей. Первым делом он погасил фонарь и, не снимая рыбацкого плаща, подсел к столику с едой.

Кофе не остыл, и человек был очень тому рад.

В пять утра они сели на велосипеды с плетеными корзинками на багажниках, в каких крестьяне возят продукты, и двинулись в сторону Альтхафена. Безо всяких происшествий докатили до пустынной Кирхенплатц, спрятали велосипеды в торфяном сарайчике фрау Хайнрот — покойный пастор прозвал его «торфотека» за то, что все брикеты были уложены ровными стопками, словно книги на библиотечных полках.

Дита отперла боковую дверь кирхи, и там, в храме, ее охватило неприятное ощущение чужого скрытого взгляда.

Проводив спутника в подземелье, она трясущимися руками задвинула плиту на место, поблагодарила бога за благополучный исход дела и поднялась к себе. Не раздеваясь, рухнула на кровать и так пролежала в полузабытьи, пока на тихой площади не взрокотал тяжелый мотоцикл.

Дита очнулась, разобрала постель, стянула было кофточку, но вовремя вспомнила, что боковая дверь храма осталась закрытой только на крюк. Она взяла сумочку и, как была в домашних тапочках, спустилась по внутристенной лестнице в алтарь. У нее подкосились ноги: возле сдвинутой плиты сидел на корточках русский солдат.

Выследил!

Никого вокруг не было. Дверь закрыта. Солдат сидел шагах в десяти и внимательно вглядывался в воду. Он был так увлечен своим занятием, что не обернулся на легкий шорох в алтаре.

Ледяными пальцами Дита нащупала в сумочке пистолет, и холодная сталь браунинга показалась ей горячей. Четыре выстрела гулко отдались под высокими нефами храма. Солдат неловко завалился на бок, и рука его свесилась в воду.

Фрейлейн Хайнрот с ужасом смотрела на безжизненное тело.

По ступеням алтаря еще катилась, звеня и подпрыгивая, гильза последнего выстрела. Дита бросилась за ней, словно за оброненной монеткой, и это невольное движение вывело ее из столбняка. Все, что делала она потом, происходило само собой — быстро, бездумно, автоматически, будто она повторяла это сотни раз и именно здесь, в этих нелепых тапочках и с этой зажатой под мышкой сумочкой.

Дита вытащила руку убитого из проема и быстро задвинула плиту. Она оттащила труп за ноги к баррикаде скамеек, оставила его там, и, подобрав свалившуюся с головы солдата пилотку, принялась подтирать ею красные капли на каменном полу. Тут она вспомнила про незапертую дверь и метнулась в боковой придел. Прежде чем накинуть крюк, выглянула наружу. У крыльца стоял зеленый военный мотоцикл с коляской. На секунду она растерялась. Если труп можно было куда-то спрятать, то что делать с громоздкой машиной? В «торфотеку» ее не закатишь... Но мотоцикл мог еще подождать. Главное — убрать труп.

Диту осенило. Она отодвинула плиту и приволокла солдата к могиле Артензиуса. Спихнула убитого в воду, а заодно и сунула следом уложенную в стопку одежду. Она даже не задумалась, чья она... Поставила крышку на место.

Теперь оставался мотоцикл... В «Союзе девушек» фрейлейн Хайнрот училась стрелять, метать гранаты, водить армейский «цундап».

Она вышла из кирхи, оглядела машину. Сесть за руль и перегнать мотоцикл подальше от дома было столь же заманчиво, сколь и безрассудно. Но Дита уже ухватилась за эту мысль и все в том же лихорадочном запале, в каком только что замела следы убийства, включила зажигание и, как была в домашних тапочках, ударила по стартеру. Мотор завелся с полуоборота.

«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ! У МЕНЯ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!»

Воздух рвался из груди, плита не поддавалась, и Орест, почти теряя сознание, пронырнул сквозь лаз в выходное колено сифона. Дрожа от холода и пережитого потрясения, он выбрался по скобам в затхлую темноту, осторожно нащупал пол из рифленого железа.

Попытаться пронырнуть во второй раз Еремеев не решился — слишком свеж был ужас, пережитый в воде под плитой. Он прислушался. В стылой тишине звучно шлепались в колодец капли. Должно быть, срывались с потолка. Орест выпрямился и нашарил над головой низкий шершавый свод, ссыпав целый дождь холодных капель. Поежился, снял и отжал трусы, струйки воды пролились оглушающе громко. Не хватало только, чтобы услышали «вишнуиты».

Глупо. Все глупо. И то, что полез искать сифон, и то, что Ло-

зоходыч задвинул плиту, и то, что придут «вервольфы» и он предстанет перед врагами в столь беспомощном и непотребном виде. Уж лучше бы утонуть тогда в подвале под ратушей... Ни пистолета, ни документов, ни одежды.

Холод пробирал не на шутку. Пришлось сделать несколько приседаний, разогнать кровь. Орест представил себе, как нелепо все выглядит со стороны — голый контрразведчик в логове врага, в могильном склепе, приседает и встает, встает и приседает с усердием образцового физкультурника. Стало смешно, и страх слегка рассеялся. Он развел руки и попытался определить размеры своего пространства. Нащупал что-то вроде сужающегося коридора. Осторожно шагнул в темноту, затем еще и еще. Стенки округлились и превратились в жерло бетонной трубы, по которой можно было передвигаться лишь на четвереньках. В конце концов, если есть вход, должен быть и выход.

Может, удастся попасть в какой-нибудь разветвленный ход, а там выбраться через отдушину, смотровой колодец или подвал, соединенный с подземельем, как там, под руинами аптеки.

Метров через сто труба кончилась и начался узкий коридор. Тьма стояла кромешная. Орест вглядывался до рези в глазах, пытаясь различить хоть призрачное подобие пробивающегося света. Он шел, выставив вперед руки, как это делают внезапно ослепшие люди, и с замиранием сердца ждал, что в любую секунду могут ударить в глаза огни фонарей и раздастся короткий лающий окрик. Лишь бы не стреляли сразу... Еремеев лихорадочно продумывал «легенду» на случай допроса. Придумалось что-то не очень складное... Да и как объяснишь свое появление в городских катакомбах в одних трусах, к тому же сырых. Кто он? Откуда? Как попал и что ему здесь нужно на заповедных тропах «вервольфов»? Еще в бетонной трубе Орест приготовил защитную фразу: «Не стреляйте! У меня важное сообщение!»

«Сообщение» это тоже надо было сочинить поумнее. Главное, чтобы не изрешетили в первые секунды столкновения.

Коридор вскоре разветвился на три хода. Еремеев выбрал правый рукав, памятуя вычитанное где-то правило: в лабиринтах всегда надо держаться одной стороны.

Пол становился все сырее и сырее. Сгущался и запах плесени. Потом правая ступня поползла в ледяную воду. Орест тут же повернул назад, снова вышел к подземному перекрестку. Левый коридор вывел его в высокий, судя по замирающим отзвукам шагов, тоннель. Пол в тоннеле был захламлен мотками проволоки, обрезками труб, пустыми жестянками и прочей дрянью.

Орест старался ступать как можно аккуратнее, но, несмотря на осторожность, все-таки стукнулся лбом о железяку, свисающую откуда-то с потолка. Железяка покачнулась и, ржаво взвизгнув, уехала в темноту. Через пару шагов Орест снова на нее наткнулся, ощупал и понял, что перед ним скоба роликовой тележки, подвешенной к потолочному монорельсу. Собственно, самой тележки не

было, вместо нее свисала скоба, выгнутая наподобие крюка. Еремеев подтянулся на ней, резко оттолкнувшись от пола. Истошный визг роликов огласил тоннель; скоба проехала метра полтора и встала.

В сомкнувшейся тишине Оресту показалось, что ржавый звук пролетел по всему подземелью. Но никто и ничто ему не откликнулось. Орест уселся поудобнее на скобе, дотянулся до монорельса и с силой катнулся на роликах. Подвесная тележка пробежала еще несколько метров. Пожалуй, стоило избрать именно этот способ передвижения. По крайней мере, можно было не спотыкаться о железную рухлядь. К тому же монорельс, как и всякая дорога, должен был куда-то вывезти. Еремеев в кровь искорябал пальцы о рыхлое железо направляющей балки. Зато работа быстро вернула тепло окоченевшему телу.

На одном из участков монорельс пошел под уклон. Ролики покатились сами, набирая ход. Остановить их было невозможно. Еремеев хотел спрыгнуть, но побоялся расшибиться о брошенное железо. Он молил, чтобы рельс нигде не оказался прерванным. Выставил вперед ноги на случай удара и отдался этому бешеному лету.

БЕГСТВО

Если бы Дита была в здравом уме, она никогда бы не решилась на подобную авантюру. Но страх, липкий, дурманящий страх, который обволок разум, едва они вывели с Заячьей Губой свои велосипеды на дорогу, и который темной волной ударил после выстрелов в солдата, не давал ей ни минуты на раздумье, гнал прочь от страшного места, торопил во что бы то ни стало уничтожить последнюю улику — мотоцикл.

Впрочем, как ни была смятена фрейлейн Хайнрот, она понимала, что зарываться не стоит, один-два квартала, въезд в глухой дворик, и все. И пусть ищут свою колымагу! Она еще не знала, что будет делать потом — бежать ли из города или уходить в подземелье к господину Вишну.

Думать об этом было пока рано, ибо все остальное казалось простым и безопасным по сравнению с самым главным делом — избавиться от мотоцикла.

Дита пересекла Кирхенплатц по диагонали и благополучно въехала в безлюдный переулок Пивных Подвалов. Ставни в бюргерских домах были еще закрыты. Мокро блестели серые камни мостовой. Привычный запах торфяного дымка успокаивающе щекотал ноздри.

Навстречу вышли двое. Дита с ужасом разглядела приплюснутые фуражки, широкое золото русских погон... В узкой улочке не развернуться. Она крутанула рукоятку газа — вперед до упора! Но мотоцикл вместо того, чтобы резво рвануться, вдруг зачихал, застрелял и остановился вовсе. Нечего было и думать, чтобы по-

пытаться запустить мотор. Офицеры приближались и, как показалось девушке, ускорили шаг, завидев немку за рулем военной машины.

Дита спрыгнула с седла и бросилась в ближайший дворик. Конечно же, они побежали за ней. Она слышала, как застучали их сапоги по тротуарным плитам. Они выследили ее! Они знали, куда она поедет! Они шли ей навстречу! Им прекрасно известно, что она застрелила русского солдата и теперь перегоняет его мотоцикл подальше от кирхи, подальше от дома. Они догонят ее и убьют. Убьют тут же, по праву законной мести!

Смертный страх охватил беглянку, когда она увидела, что дворик замкнут — ни одного прохода. Она нашла в себе силы вбежать в подъезд и взлететь по черной лестнице на самый верх — на чердачную площадку.

Вжавшись спиной в стену, она слышала сквозь бурное свое дыхание, как ворвались в подъезд преследователи, как поднимаются они по лестнице, как скрежещут, перемалываясь в прах, песчинки под подковками их сапог... И тогда фрейлейн Хайнрот достала браунинг, ткнула ледяное дульце чуть выше уха, закрыла глаза, шепнула «господи!» и рванула собачку...

Пистолет упал к ногам того, что поднимался первым. Он подобрал оружие, понюхал зачем-то ствол, покачал головой:

— Ну и дела!..

Потом коротко распорядился:

— Живлынев, беги в комендатуру! Я тут посторожу. Это ж надо... Такая молодая...— вздохнул капитан Цыбулькин и снял замызганную фуражку.

ПОЛЬСКИЙ ФОЛЬКСДОЙЧЕ

Ролики визжали и грохотали. Еремеев, судорожно вцепившись в скобу, ждал самого худшего — удара в темноте о что-нибудь острое или срыва с монорельса на всем лету... Но уклон кончался, и Орест с облегчением почувствовал, как колесики над головой стали замедлять бег. А вскоре снова пришлось привстать и помочь тележке руками.

Он так и не понял, что случилось раньше: грянуло из темноты короткое: «стой!», а потом ударил в глаза яркий фонарь, или сначала его ослепили и уж затем приказали остановиться. Главное, что внутренне он был готов и к тому и к другому.

Ролики взвизгнули в последний раз, скоба остановилась.

— Не стреляйте! У меня для вас важные новости! — крикнул Еремеев.

В ответ коротко хохотнули. Наверное, это и в самом деле было смешно: ждать важных новостей от голого человека, висящего по-обезьяньи на какой-то ржавой закорюке. Хорош гонец. Однако смех убил страх, отвел угрозу скороспешной пальбы.

— Ты кто? — спросили из темноты.

— Я Хильмар Лозовски,— ответил Орест слепящему фонарю.— Фольксдойче из Варшавы... Меня провела сюда фрейлейн Хайнрот. Дита Хайнрот.

— Хорошо. Иди вперед.

Еремеев сделал несколько шагов. Возникло вдруг премерзкое ощущение, что сейчас ударят ножом. Орест втянул живот и свел плечи. Но его никто не ударил.

— Я ничего не вижу!

— Иди и молчи.

Владелец фонаря зашел Оресту за спину, кто-то шел впереди.

Как видно, его конвоиры хорошо знали дорогу и, щадя батарейки, включали фонарь только на развилках и поворотах. В эти мгновения перед глазами Ореста маячила широкая спина, обтянутая морской альпаковой курткой.

Минут через десять они наконец остановились. Послышался металлический скрежет запоров, легкие удары в полое железо, тягучий скрип массивной двери; все трое перелезли через высокий порог и очутились, должно быть, в тамбуре, потому что лязгнула еще одна дверь и из-за нее разлился по стенам блеклый искусственный свет. На некогда белой медицинской кушетке лежал под одеялом грузный человек с криво вздернутой верхней губой. Орест узнал в нем мужчину, которого Дита привела утром в кирку. Кривогубый изумленно вытаращился и опустил ноги с кушетки. Наверное, он был здесь самым главным — уж не Вишну ли? — потому что один из «вервольфов» довольно почтительно объяснил ему, где и как был задержан этот странный тип, называющий себя польским фольксдойче.

Орест плохо слушал; у подножия кушетки сияла раскаленная проволока, навитая на кусок керамической трубы. Он присел к рефлектору и на все вопросы отвечал, купаясь в блаженном тепле. Пусть убьют, но дадут согреться.

Еремеев, дрожа от озноба, рассказал им свою «историю», придуманную еще в бетонной трубе и дополненную по дороге многими подробностями.

Да, он, Хильмар Лозовски, действительно польский фольксдойче. Мать — немка, отец — поляк. До войны жил в Брест-Литовске. С приходом Советов семья перебралась в Варшаву. Служил полицаем в сельской управе. В Альтхафен прибыл в конце войны вместе с эшелоном других фольксдойче, спасавшихся от большевистских войск. Здесь надолго застрял. Промышляет перекупкой вещей и торговлей на «шварцмаркете». Скупал кое-что из дома пастора: подсвечники, восточные статуэтки...

Познакомился с фрейлейн Хайнрот. Стал ухаживать. Дита согласилась выйти за него замуж. Но тут на рынке его опознал кто-то из бывших партизан. Пришлось скрываться. Вчера целые сутки просидел в комнате невесты. Дита вернулась только под утро. В половине десятого во двор въехал военный мотоцикл, и в дверь застучали солдаты.

Они спустились в кирху, Дита открыла сифонный вход и велела передать господину Вишну, что храм находится под наблюдением и что пользоваться склепом доктора Артензиуса нельзя.

Орест замолчал. Он согрелся, но его сотрясала нервная дрожь, которая, по счастью, легко выдавалась за простудный озноб. Поверят или нет? Вроде бы все складно, хотя кое-что — отчаянный блеф. Хорошо, конечно, что его явный славянский выговор теперь как-то оправдан. А если кто-нибудь знает польский? А если начнут спрашивать фамилии должностных лиц, подробности полицейской службы, отношений с Дитой? Засыпаться можно было на любом пустяке из той же прифронтовой жизни Альтхафена... Сжавшись в комок, Еремеев ждал вопросов.

— Что скажешь, старина Вишну? — спросил тот, кого Орест принял за главаря «вервольфов». Вопрос был обращен к человеку в черной альпаковой куртке. Он как вошел, так и стоял в дверях за еремеевской спиной, и Орест поспешно обернулся. Затененный взгляд глубоко посаженных глаз, высокий лоб, темно-русый зачес показались знакомыми. Карл Хорст! Фото в томике! Юный фенрих с саперными эмблемами! Жених фрейлейн Хайнрот! Влип! Это конец! Да он теперь из одной только ревности придумает самые изощренные пытки. Дернуло же за язык... Пока не поздно, пока он не снял автомат, ударить головой в живот и выскочить в коридор. Орест напрягся для прыжка.

— Я вспомнил,— сказал Хорст — Вишну, растягивая слова.— Дита мне говорила про этого парня... Да-да. Хильмар Лозовски... На него вполне можно положиться.

Напружиненные мышцы враз обмякли, и Еремеев чуть не ткнулся голым локтем в рефлектор.

— Отто,— обратился Вишну к долговязому спутнику.— Найди Хильмару свитер и комбинезон. Кажется, там остались ботинки Клауса... Экипируй парня.

Долговязый усмехнулся, дернул щекой и отправился выполнять приказание.

ТО, ЧЕГО НЕ ЗНАЛ ЕРЕМЕЕВ

Еремеев не знал, что Вишну никогда не был Карлом Хорстом.

Карандашная надпись на обороте фотокарточки была сделана так небрежно, что название пригорода Берлина — Карлсхорст — вполне читалось раздельно: как имя и фамилия. Не знал Еремеев и того, что в Карлсхорсте размещалось военно-инженерное училище, знаменитое разве что тем, что 8 мая 1945 года в его столовой была подписана предварительная капитуляция нацистской Германии. Именно это училище и закончил в тридцать седьмом году приемный сын альтхафенского пастора Ульрих Цафф.

Ульрих любил при случае повторять, что кто-кто, а он родился на истинно арийской земле — в Индии. Отец его, чиновник германского консульства в Бомбее Себастьян фон Герн, погиб вместе с

матерью трехлетнего Ульриха в той прогремевшей на всю страну катастрофе, когда в Ганг обрушился железнодорожный мост, унося в мутные воды священной реки семь вагонов пассажирского поезда.

Пастор Цафф, священник консульства, взял мальчика на воспитание. Приемный отец очень хотел, чтобы Ульрих стал юристом, адвокатом. Но в Германии 33-го года отношение к профессии адвоката определялось словами фюрера: «Каждый юрист для меня дефективный, а если он еще не стал таким, то со временем обязательно станет». Семнадцатилетний юноша выбрал карьеру военного инженера. Он блестяще закончил училище и как отменный специалист-подрывник был оставлен на кафедре минного дела.

Когда Англия и Франция объявили войну Германии, молодой офицер посчитал своим долгом отправиться в действующую армию. Он вступил в авиадесантные войска командиром штурмового саперного взвода. За участие в захвате бельгийского форта Эбен-Эмаэль, считавшегося неприступным, обер-лейтенант Цафф получил первую свою награду — Немецкий золотой крест.

Ровно через год после Эбен-Эмаэля новоиспеченный гауптман получил назначение в диверсионный полк «Бранденбург», непосредственно подчинявшийся главе абвера адмиралу Канарису. Цафф с группой асов-подрывников выехал в бывший польский Тересполь и до самого 22 июня изучал расположение дотов Брестского укрепрайона. Именно он и возглавил с началом войны самую крупную эйнзатцкоманду, действовавшую севернее Бреста.

При штурме одного из последних русских дотов отрикошетившая пуля застряла у Цаффа между ребрами. Он пролежал в госпитале десять дней и за это время подытожил опыт штурмовых операций. Его труд отпечатали в виде брошюры и разослали во все саперные части вермахта.

Зимой сорок третьего майор Цафф получил печальное известие: в Альтхафене на семидесятом году жизни в бозе почил пастор Вольфганг Цафф. Ульрих давно помышлял восстановить свою прежнюю фамилию. Дворянская приставка «фон» грела его сердце так же, как и то обстоятельство, что родился он на исконной земле арийцев. Индия, страна детства, занимала его с годами все больше и больше.

В день производства в офицеры Ульрих получил от приемного отца роскошный подарок — золотой бенгальский перстень с вишнуистским знаком «U». «Это первая буква твоего имени,— сказал пастор.— Пусть всегда она прочит тебе удачу».

Как ни хотел молодой Цафф обзавестись дворянским титулом, он понимал, что смена фамилии смертельно обидит старика. Поэтому мирился до поры с плебейским именем. Но сразу же после похорон не замедлил выправить новые документы и стал Ульрихом фон Герном. К тому времени он служил инженером-конструктором в научно-техническом отделе штаба диверсионного полка «Бранденбург».

В свои тридцать три он сделал неплохую карьеру, однако путь в высшие сферы лежал через чертоги Гименея, как любил выражаться покойный пастор. Заповедные эти чертоги в виде готического особняка в Мюнхене принадлежали вдове полковника СС баронессе Урсуле фон Вальберг.

Аристократическая приставка перед именем героя Эбен-Эмаэля появилась весьма кстати. Но баронесса все же предпочла кавалера Немецкого золотого креста младшему брату покойного мужа Георгу фон Вальбергу. У Георга не было золотого креста, и лицо его портила косо вздернутая заячья губа, зато отныне круглые счета обоих братьев в цюрихском банке сливались воедино.

Вальберг-младший, подполковник абвера, служил в штабе того же полка, что и отвергнутый претендент на руку баронессы. Собственно, он и ввел его в дом блистательной вдовы. Отношения двух однополчан после помолвки Георга и Урсулы отнюдь не стали более приятельскими. Ульрих фон Герн проклял свой талисманный перстень, который, несмотря на полное совпадение начальных букв имен его и возлюбленной со знаком вишнуистской благодати, не принес предреченной удачи. Он хотел даже пустить его на золотые коронки, но очень скоро коварное U снова засияло на горизонте фон Герна. На сей раз оно перебралось на номерную доску океанской подводной лодки U-409. Эта субмарина, специально подготовленная для плавания в тропиках, должна была выйти из французского Бреста в Южную Атлантику, обогнуть Африку и высадить на побережье Индии вождя одного из сепаратистских племен, а также диверсионную группу из семи человек.

Вождь-индус, прошедший спецподготовку в школах абвера, предназначался для разжигания антибританских выступлений в западных штатах Индии.

Группа «Вишну» нацеливалась на уничтожение железнодорожных и шоссейных мостов, по которым англичане вывозили в порты стратегическое сырье.

Майору фон Герну, как асу-подрывнику и уроженцу Бомбея, знающему страну не понаслышке, предложили расстаться с уютной комнаткой конструкторского бюро и возглавить группу. Наверное, он никогда бы не согласился на эту авантюру, если бы сердечная рана, нанесенная очаровательной баронессой, не требовала лечения риском, азартом.

...Почти шесть недель скитались они по пустыням, вспоминая адские котлы отсеков U-409 как благодатнейшие оазисы.

Им удалось подорвать две насосные станции, нефтехранилище средней емкости, перерезать магистрали трех трубопроводов, питавшие «черной кровью войны» английские танкеры. Один из «вишнуитов» умер от теплового удара, другой погиб от обезвоживания организма, двое были убиты в перестрелке со стрелками, охранявшими нефтепромыслы. Ульрих вернулся в Германию через Турцию и Болгарию всего лишь с двумя соратниками — обер-лейтенантами Кесселем и Грюнбахом.

Рыцарский крест прикрепил к мундиру фон Герна сам адмирал Дениц. Но блеск наград уже не радовал майора. Отныне он был сыт подвигами по горло.

Властно тянуло к тихой, спокойной жизни, к семейному очагу... Доблестный крестоносец, «истинный ариец» мечтал о домике на взморье, провально-мягких перинах и ночном колпаке, связанном руками верной Гретхен. Сорок четвертый год отнюдь не сулил благоденствия.

От новых командировок за рубеж фон Герна спасали успехи на конструкторском поприще. Это он был одним из соавторов скоростных взрывающихся катеров «Линзе». Катера успешно испытали на озерном полигоне, но военно-морское ведомство быстро прибрало новое оружие к рукам. Майора фон Герна перевели из полка «Бранденбург» в соединение малых морских штурмовых средств, или попросту в отряд морских диверсантов *. Часть дивизиона катеров «Линзе» базировалась в Альтхафене. Так появился в городе бравый корветенкапитан с ленточками Немецкого золотого и Рыцарского крестов. Ульрих поселился в родном доме в комнатах пастора.

Он не отказывал себе в удовольствии потрепать по пухленькой щечке племянницу экономки, но пышнокудрая подружка Диты, дочь смотрителя мостов — Сабина, нравилась ему все больше и больше.

Помолвка была назначена в самый сочельник, но в брачные дела вмешалась английская авиабомба. Прекрасный дом Вурцианов рухнул вместе со всеми своими псевдорыцарскими башенками. Корветенкапитан прислал грузовик и трех матросов, чтобы помочь разобрать руины, перевезти спасенные вещи на мост Трех Русалок. Он не спешил приглашать семейство будущего тестя в свой дом, потому что знал уже, какая судьба уготована и пасторскому особняку, и старой кирке, да и всему городу...

В январе сорок пятого командир соединения К вице-адмирал Гейе предложил фон Герну подобрать надежных людей для диверсий в тылу русских войск, которые через неделю-другую — сомнений на этот счет адмирал не испытывал — вступали в Альтхафен.

В окрестностях города размещались три подземных завода — авиамоторный, искусственного каучука и торпедный. Намечалось затопить их водой из моря.

Помимо террористической деятельности, люди Герна должны были препятствовать осушительным работам русских. «Подземные стражи подземных кладов» — так назвал альтхафенских «вишнуитов» вице-адмирал Гейе.

Фон Герн выбрал себе в первую очередь обер-лейтенантов Кесселя и Грюнбаха. Оба в знак преданности шефу вытатуировали себе под левым предплечьем вишнуистский символ. Кроме них, корветенкапитан зачислил в группу четырех добровольцев —

* Так называемое соединение К, которым командовал вице-адмирал Гейе.

боевых пловцов из дивизиона «людей-лягушек». Ульрих и здесь постарался сохранить везучее число «семь».

Специальная инженерная рота целый месяц приспосабливала городские подземные коммуникации для действий будущих «вервольфов». Саперы соединяли цехи подземных заводов с системами средневековых альхафенских водостоков, тоннели водостоков — с коридорами кабельных трасс, коридоры — с дренажной и канализационной сетями, с подвалами отдельных зданий.

Старая поговорка «Альтхафен под Альтхафеном» приобрела почти буквальный смысл. «Вервольф» мог спуститься в дренажный колодец где-нибудь в порту и выйти на другом конце города из вентиляционной отдушины котельной вокзала или выбраться в центре города из бомбоубежища, появиться в любом ином месте, помеченном на подробнейшей и закодированной схеме. В переплетении подземных дорог бетонными перемычками была выгорожена так называемая «цитадель», в которой размещались два спальных бокса, радиобокс, основное хранилище боеприпасов, взрывчатки, продуктов и баллонов с кислородом для подводных дыхательных аппаратов. Попасть в «цитадель» с поверхности можно было только через три сифонных колодца, устроенных в бассейне бывшего фонтана, в лютеранской кирке и под аркой пешеходного мостика через обводной канал.

Секрет этих тайных лазов Ульрих ставил выше жизни любого из своих «вишнуитов». Не пощадил он и верного Кесселя, с которым вышел из пекла иракских песков. Когда Кессель выскользнул из рук советской контрразведки и ушел через сифонный колодец во дворе комендатуры, альхафенский Вишну недолго решал его судьбу.

Едва обер-лейтенант рассказал, как он спасся, фон Герн забеспокоился — надежно ли закрыт лаз в стволе колодца. Они пошли проверять вдвоем. Кессель, так ничего и не заподозрив, лег на живот и свесился в узкое колено сифона, чтобы нащупать задвижку на глубине полутора метров. Глубокий вдох сырого затхлого воздуха был последним вдохом в его жизни: фон Герн сел ему на ноги и бестрепетно выдержал пять минут конвульсивных рывков полупогруженного тела.

Труп натурального утопленника — без единого следа насильственной смерти — корветенкапитан вытолкнул в колодец и плотно прикрыл маскировочную задвижку. Единственное, что упустил из виду «вервольффюрер»,— веревку, которую бедняга Кессель снял с пояса и выбросил по дороге в «цитадель»...

Если о секрете сифонных входов знала добрая дюжина людей, включая и тех, кто их строил, то тайну «аварийного выхода» из альтхафенского подземелья, кроме фон Герна, знал только один человек — главный смотритель мостов и каналов Вурциан. Впрочем, будущий тесть ведал лишь малую часть этой тайны, знай он чуть больше, век его был бы много короче.

Старик Матиас знал толк в катерах. Но если бы его спросили,

для чего предназначена красная рукоять под приборной панелью «Линзе», он сказал бы, что это скорее всего ручной стартер, и ошибся.

Шнур, тянувшийся от красной рукояти, шел вовсе не к пусковой головке, а к взрывателю, упрятанному в носу сорокакилограммового заряда. Обычно катер «Линзе» нес в себе добрый центнер прессованного тротила. Но фон Герн посчитал, что в безвыходной ситуации ему хватит и сорока, чтобы без следа исчезнуть из этой бренной жизни. Однако расставаться с ней он пока не собирался.

«ПОМОГАЙ ВАМ БОГ!»

Еще ни одно дело не разворачивалось на глазах капитана Горнового так стремительно и не упиралось так неожиданно — на полпути — в глухую стену... Едва старшина Жевлынев доложил, что неизвестная немка угнала армейский мотоцикл и, спасаясь от преследования, покончила с собой, капитан тотчас же разыскал дом в переулке Пивных Подвалов. Машину он узнал с первого взгляда — лозоходовский драндулет. Мертвую девушку опознали жильцы, высыпавшие на лестничную площадку,— племянница пастора Цаффа — флейлейн Хайнрот.

На том же мотоцикле Горновой с двумя бойцами подкатил к кирке, осмотрел комнату покойной, а затем храм. Возле сдвинутых скамей Горновой нашел окровавленную пилотку. За отворотом капитан прочел надпись, сделанную химическим карандашом: «с-т Лозоходов. Мытищи — Альтхафен. 1945 г.»

Вызвали вожатого с розыскной овчаркой. Собака, обнюхав пилотку, тут же взяла след. Попетляв по молельному залу, овчарка подошла к плите доктора Артензиуса, заскулила и стала скрести лапами мрамор. Склеп вскрыли и обнаружили в воде труп Лозоходова. Затем извлекли и одежду Еремеева вместе с нетронутыми документами. Пистолет лейтенанта оказался почему-то в кармане лозоходовских шаровар. Нашли и четыре стреляные гильзы от дамского браунинга. Но где тело Еремеева? Горновой терялся в догадках. Увезли? Куда и зачем? Спрятали? Взяли лейтенанта живым? Но почему без одежды и документов?

На место происшествия прибыл майор Алехин. Приказал осушить склеп. Комендантский взвод выстроился в цепочку, и из рук в руки пошли ведра с темной затхлой водой...

...Орест был готов ко всему, только не к столь явной, обескураживающе скорой и полной удаче. Настораживало одно — зачем Вишну понадобилось подтверждать заведомую ложь? Ни о каком Хильмаре Лозовски Дита ему не рассказывала и рассказывать не могла. Впрочем, времени на догадки и размышления у Еремеева почти не было.

Вишну сказал: «Проверим тебя, парень, в деле» — и велел долговязому Грюнбаху не мешкая приступить к обучению Жени-

ха — кличку эту «вервольффюрер» придумал мгновенно — пользоваться подводным дыхательным прибором.

Грюнбах добросовестно отнесся к приказу шефа. Мало того что он заботливо подыскал новичку и новый свитер, и комбинезон по росту, даже подарил собственную тельняшку и шерстяные носки, до винтика разобрал аппарат и стал объяснять, что к чему, так, словно за урок ему платили.

В этом старании Орест чувствовал нечто большее, чем желание подготовить для себя надежного напарника. Но почему Грюнбах так любезен к нему, пришельцу более чем подозрительному, оставалось для Еремеева непонятным. Он охотно изучал аппарат, который оказался вовсе не таким сложным, каким казался на первый взгляд: два баллончика, дыхательный мешок, оксилитовый патрон — поглотитель углекислоты да шланг с загубником.

Облачившись в прорезиненный гидрокостюм, Орест под присмотром своего учителя погрузился в каком-то затопленном подвале. В кромешной тьме вдруг вспыхнул желтый шар подводного фонаря. Грюнбах приблизил свою маску почти вплотную к маске Жениха и, осветив лицо, внимательно следил за выражением глаз новичка. Он взял еремеевскую ладонь в свою и повел его в глубину... У Ореста закололо в ушах, но он уже знал, как надо продувать барабанные перепонки. Дыхательный прибор работал хорошо, костюм воду не пропускал, и Орест чувствовал себя под водой все увереннее и увереннее.

Вишну остался очень доволен первыми шагами нового «вервольфа». В штабном боксе он достал фляжку с коньяком, наполнил алюминиевые стаканчики.

— За отважного парня Хильмара Лозовски! За успех операции!

— Кажется, фрейлейн Хайнрот сделала неплохой выбор,— поддакнул шефу Грюнбах.

Только человек с заячьей губой смотрел на «польского фольксдойче» исподлобья.

— Не слишком ли торопишься, Ульрих? — хмуро заметил он.— Дай парню освоиться, подучиться...

Корветенкапитан усмехнулся:

— Вспомни, как учили меня, Георг... Бросили, как щенка, в воду — выплывай сам... Уверяю тебя — это лучший метод... И потом ждать нельзя. Уровень воды в штольне понижается с каждым часом.

Тот, кого назвали Георгом, вперил свой взгляд в Грюнбаха.

— Что скажешь ты? Тебе с ним идти...

Грюнбах, как показалось Оресту, пожал плечами довольно беспечно:

— Это не самое трудное, что мне приходилось делать... Хильмар неплохо держится под водой... К тому же у него довольно простая задача — страховка. Думаю, надо спешить. Потом, когда русские спустятся в штольню, пройти к двери будет невозможно...

Высосав по банке сгущенного молока и закусив тонизирующим шоколадом «Кола», Грюнбах и Лозовски натянули гидрокомбинезоны. Фон Герн внимательно осмотрел дыхательные аппараты, помог прикрепить к грузовому поясу Грюнбаха мину в черной оболочке. Он шагал впереди с фонарем и автоматом. За ним ступали гуськом оба диверсанта. Орест нес две пары ласт, чтобы надеть их перед самым погружением. Маленькую колонну замыкал по-прежнему всем недовольный человек с заячьей губой.

Шли быстро, фон Герн уверенно вел по знакомому, как видно, маршруту. Орест пытался сначала запоминать дорогу, но вскоре понял всю безнадежность этого занятия.

Под ногами захлюпала вода. Остановились. Надели ласты. Еремеев огляделся, сколько позволял тускловатый свет аккумуляторного фонаря. Они находились в залитой по щиколотки бетонной коробке. Сделав шаг, Орест оступился и почувствовал под ластами ступеньки, круто уходящие вниз. В эту минуту он забыл обо всем — кто он и откуда. Все прошлые невзгоды, опасности и страхи показались сущими пустяками.

— Помогай вам бог! — шлепнул сразу обоих по резиновым плечам корветенкапитан. Грюнбах включил «люксвассер» * и осторожно пошел по ступенькам, погружаясь по колени, по пояс, по грудь, по плечи... Орест ступал за ним, с трудом нащупывая ластами узенькие ступеньки. У самой стены голова ведущего скрылась в воде, и зыбкое пятно фонарного света пошло вниз, вниз, вниз... Еремеев нырнул, не видя ничего, кроме манящего сгустка света, выставил руки, заработал ластами. Грюнбах держал фонарь так, чтобы ведомый мог различить в полу квадратный лаз, обрамленный уголковым железом. Убедившись, что напарник понял, куда идти дальше, он проскользнул в проем, взметнув ластами муть стоячей воды. Орест последовал за ним.

...Грюнбах вплыл наконец в тоннель узкоколейки и осветил завалившийся на бок пневмовоз, чтобы ведомый не врезался ненароком в груду металла. Между баллонами локомотива и тюбингами путевой стенки оставался просвет, через который можно было довольно свободно обойти препятствие. Вода здесь отстоялась так, что свет фонаря лучился далеко вперед, выхватывая из мрака конус подводного пространства. Пробираясь, заметил на рифленой подножке увесистый болт. Он подобрал его, зажал в кулаке и ринулся вдогонку за Грюнбахом...

МЕРТВЫЙ ЭНДШПИЛЬ

Ульрих фон Герн был умен, знал это, но никогда не доверялся своему уму всецело и потому был опасен для противников вдвое. Он хорошо играл в шахматы, однако не соглашался с теми, кто уподоблял жизнь шахматной игре. Хороши шахматы, если черный

* Тип подводного фонаря.

слон в один неожиданный момент может превратиться в белого коня, ферзь — в пешку, а белое поле под твоим королем вдруг предательски почернеет. Если борьба в альтхафенском подполье и напоминала шахматную партию, то только тем, что люди Вишну выбывали один за другим, словно разменные фигуры.

С этим странным типом, полунемцем-полуполяком, их было столько, сколько пешек в шахматной шеренге,— восемь. Георг Вальберг, несомненно, считает себя королем, который соизволил появиться на доске лишь к концу игры. Ну что ж, господин король, позвольте поздравить вас с неотвратимым матом! Ваши пешки сражались честно. Первым вышел из игры фенрих Таубеншлаг. Его застрелил русский часовой при попытке подплыть к опоре железнодорожного моста. Река сама позаботилась о трупе смельчака. Итальянец Монтинелли задохнулся в неисправном аппарате. Лейтенант Вейзель умер от раны в живот, полученной при прорыве засады, которую русские устроили в дренажном коллекторе порта. Тогда же, можно считать, погиб и бедняга Кессель, едва не раскрывший тайну сифонного входа. После того как фенрих Хаске подорвался, минируя насосную установку, фон Герн понял, что развязка приблизилась вплотную.

Фон Герн был отчасти рад, что его силы таяли так стремительно. Он готов был и сам поторопить события. Ему давно уже хотелось вывести быстроходный катер из гранитного убежища... Но тут нагрянул этот наглый и самодовольный бурш — Вальберг. Он привез категоричный приказ взорвать водонепроницаемую дверь № 27 в штреке «Магистральный» и готовиться к приему пополнения — новой группы «вервольфов», которую должны были высадить на альтхафенское побережье с подводной лодки новые хозяева.

Корветенкапитан решил выполнить приказ наполовину: дверь взорвать, а затем имитировать полный разгром группы «Вишну». Сделать это было нетрудно. Ульрих знал, что последняя пара — Грюнбах и этот странный поляк — с задания не вернется. Он сам отрегулировал мину так, что любой поворот указателя часового механизма вызывал немедленный взрыв. Этот поляк подвернулся весьма кстати. Иначе в паре с Грюнбахом пришлось бы идти самому... Сложнее было отделаться от Вальберга. Старый «бранденбуржец» чуял опасность за добрую милю... Вот и сейчас он тревожно поглядывал то на фонарь в руках фон Герна, то на русский автомат, висевший на груди однополчанина.

— Ну что, Георг,— сказал Ульрих как можно спокойнее.— Пока они работают, не подышать ли нам свежим воздухом? Тут неподалеку есть вентиляционный выход. Я иногда принимаю там воздушные ванны. Поверь, это совершенно безопасно. Выход так зарос кустарником, что ни одна собака туда не продерется... Я называю это местечко «Тиргартен-парк».

Фон Герн поймал себя на том, что слишком долго уговаривает: Вальберг наверняка уже насторожился.

— Хорошо,— согласился Георг после некоторого раздумья.— Иди первым — у тебя фонарь.

Теперь и Ульрих заподозрил недоброе. Что у него на уме, у этого фальшбарона? Держать его за спиной чертовски неуютно... Может быть, там, за Эльбой, рассудили: «Мавр сделал свое дело, мавр может умереть»? Ну да отсюда без проводника не так-то просто выбраться... Тем более Вальбергу, который не раз бравировал своим «топографическим кретинизмом». Фон Герн успокоился лишь тогда, когда они вылезли на поверхность в зарослях терновника.

— Как говорил бедняга Кессель, «подышим свежим воздухом через сигарету»,— усмехнулся Ульрих, протягивая пачку Заячьей Губе. Вальберг занялся добыванием огня из отсыревшей зажигалки. Он сидел боком к фон Герну, и корветенкапитан, не снимая автомата, всадил эмиссару под ребра четыре русские пули. Георг ткнулся лицом в подстилку из можжевеловых игл. В стиснутых пальцах, словно погребальная свеча, поигрывала желтым язычком сработавшая таки зажигалка...

Путь к мосту Трех Русалок был открыт!

В СВЕТЕ ЛИНЗОВЫХ ПРОЖЕКТОРОВ

Соскочив с коробка, спичка долго шипела и наконец взорвалась желтым пламенем. Сулай никогда не курил в засадах. Но в эту последнюю ночь изменил давнему правилу. Мерзли колени и локти. В голове стоял неумолчный шум. Пылал лоб, горели щеки и ладони. Заболел.

За войну Сулай болел редко. Он никогда не считал болезнь уважительной причиной. Рана — другое дело, да и то не всякая...

Фляга с отваром спорыша опустела к полуночи. Глазам было жарко под приопущенными веками. А из бетонного зева штольни тянуло сырым холодом. «Ничего, ничего... До утра продержусь, а там в баньку,— обманывал себя Сулай.— Там враз полегчает. Уж распарю-то поясницу». И он рисовал себе, какую срубит баньку, когда дадут ему под начало заставу. И еще заведет он коней. Ведь пока будут государства, будут и границы. Пока будут границы — будут и кони...

Светлое пятно, освещавшее плечи и голову Грюнбаха, вдруг померкло, словно у подводного фонаря враз сели батареи. По тому, как заломило в затылке, Еремеев понял, что фонарь ни при чем, это темнеет у него в глазах. Кислородная смесь из дыхательного мешка всасывалась с трудом, легкие надрывались, голодная кровь бешено стучала в висках. Оресту даже показалось, что под маской выступила холодная испарина.

«Загубник! — мелькнула тающая мысль.— Отпусти загубник!..»

Челюсти, сведенные то ли холодом, то ли страхом, сдавили за-

губник так, что кислород едва цедился. Орест разжал зубы, и словно живительный эликсир хлынул в легкие. Спина Грюнбаха быстро приближалась. «Вервольф» неожиданно обернулся и резко потыкал большим пальцем вверх — «всплывай!». Не дожидаясь ответного сигнала «понял», Грюнбах взмахнул ластами и круто пошел к сводам тоннеля. Орест на всякий случай выставил ладони, опасаясь удара о бетон, но руки вдруг выскочили из воды и оказались в воздухе. Еремеев с радостью стянул маску. Сквозь резину гидрошлема глухо пробивался голос Грюнбаха.

— Сделаем передышку... Здесь воздушная подушка. Дальше уже такого не будет.

Он направил фонарный луч в лицо напарника. Орест сощурился. Грюнбах прикрыл свет ладонью.

— Послушай, парень,— неуверенно начал он.— У меня к тебе разговор... Ты ведь хочешь жить и дышать нормальным воздухом, а не этой дрянью?! Я тоже хочу много воздуха... Много... Я видел тебя в подвале ратуши в форме русского офицера. Ты разбирал с помощниками архив магистрата... Я бы мог швырнуть в подвал гранату, и дело с концом. Но я... не хотел убивать. Я только открыл воду... Кажется, вы все выбрались... Я не убил ни одного русского! Я был здесь инструктором по подводному снаряжению... Я не стрелял и не взрывал... Скажи мне, меня не казнят? Я хочу жить и дышать... Мы можем выйти на поверхность через штольню... Она рядом, метров через сто... Ты подтвердишь им, что я никого не убивал? Ты гарантируешь мне жизнь?!

Грюнбах уже не спрашивал, он молил взглядом.

Орест покусывал немеющие губы. Открыться? Что, если провокация? Если испытывает? Немец отстегнул от пояса сумку с миной. Он осторожно выпустил из пальцев ремень, и сумка ушла на дно тоннеля. Туда же он отправил и тяжелый водолазный нож, окованный медью.

— Я знаю Вишну. Он коварен, как тысяча дьяволов. Мина взорвалась, едва бы я дотронулся до часового механизма... Именно так он отправил к праотцам Хаске. Я сразу понял, что он повел двойную игру, когда признал в тебе этого... Как его? Лозовски... Ты такой же Лозовски, как я гросс-адмирал Дениц. Не так ли?

— Так! — отшвырнул болт Еремеев.— Я обещаю сделать все, чтобы тебе оставили жизнь. Слово офицера!

Грюнбах сделал несколько глубоких вздохов. «Подушка» была слишком мала, чтобы вдоволь насытить легкие двух человек.

— Значит, так,— не стал терять времени Грюнбах.— Штольня охраняется вашими людьми. Ты должен вынырнуть первым и крикнуть что-нибудь на русском...

Орест кивнул и взял в рот загубник. Нырнули. Пошли вдоль ребристых тюбингов.

Через несколько минут ведущий обернулся и направил луч фонаря вверх. Еремеев взбил воду ластами. Он стрелой вылетел на поверхность.



— Не стреляйте! — крикнул лейтенант.— Свои!
И закашлялся, поперхнувшись водой.
В штольню ударили четыре линзовых прожектора.

КРАХ

Теперь, когда во всем подземелье он остался один, на фон Герна напал никогда не веданный раньше страх темноты. Та самая темнота, которая полгода надежно скрывала его от чужих глаз, в которой он почти растворялся, обретая в ней нечто большее, чем душевный покой, пружинила теперь нервы, заставляя то и дело замирать, озираться, прислушиваться.

Он пробрался в «цитадель», открыл сейф, сжег шифроблокноты, схемы подземных коммуникаций и планы альтхафенских катакомб. Из бумаг он оставил себе только два паспорта — один на мужское, другой на женское имя. Он прихватил также две русские каски, русский же автомат и остатки шоколадных запасов.

У лаза в дюкер, ведущий под русло реки к мосту Трех Русалок, корветенкапитан замешкался. К страху темноты прибавилась и боязнь тесного пространства. Последним усилием слабеющей воли Ульрих заставил себя влезть в просвет между трубой газопровода и стенкой обшивки. Он полз, с трудом протискивая крупное тело в узкой щели. Знакомый путь — обычно он преодолевал его за четверть часа — показался на этот раз бесконечным. Мешали каски и автомат. Не хватало воздуху. Фон Герн помнил правило, выведенное инструктором полка «Бранденбург» штандартенфюрером Тагером: не надо осторожничать в конце игры. Уж если ты игрок и бросил на карту жизнь, не пытайся взять ставку обратно. Фортуна не прощает трусости. Тагер сам доказал это правило. Некогда отчаяннейший диверсант, герой Крита, взрывавший на греческих островах береговые батареи англичан, он отошел в конце войны от дел, стал избегать любого риска, обзавелся виллой на Мекленбургских озерах и погиб в сорок четвертом по идиотской причине: проглотил ложку джема вместе с увязшей осой. Оса ужалила его в гортань, гортань вспухла, и герой Крита скончался от удушья.

Дюкер становился все теснее и теснее. Уж не просела ли кладка?! Не хватало застрять и задохнуться в этой трубе. Конец, вполне достойный для «вервольфа», возмечтавшего о тихой гавани.

Фон Герн наконец понял, что мешает ему ползти. Просто он стал толще из-за упрятанной под свитер пухлой общей тетради — походного дневника. Ульрих подбадривал себя тем, что будущую книгу о «вервольфах» он начнет с описания этой мрачной трубы.

Книгу он задумал еще в Индии. Недавние мемуары Скорцени в «Фигаро» — фон Герн успел прочитать несколько номеров — укрепили его в мысли, что и его будущая книга пойдет хорошо — чего стоит только альтхафенское подполье! — принесет те деньги, на которые они с Сабиной смогут перебиться на первых порах.

Черт побери, его мемуарами еще будут зачитываться так же, как и он фенрихом упивался воспоминаниями генерала Пауля фон Леттов-Форбека, героя Танганьики!

Дюкер чуть расширился, и корветенкапитан вполз в нижнюю камеру смотрового колодца. Он быстро взобрался по скобам в шкиперскую, уложил в катер каски и оружие. Однако автомат взял обратно и двинулся по скобам выше — к люку в каморку Сабины.

Девушка сразу поняла, что предстоит им сегодня: час настал! Она отнеслась к этому спокойно, так, словно Ульрих и в самом деле пришел сообщить ей о вечерней прогулке на катере. Фон Герн, глядя, как она деловито отбирает те немногие вещи, которые он разрешил взять, подумал, что, если бы все женщины Германии были такими же, как Сабина, страна бы никогда не проиграла войну.

Надо было дождаться темноты. Выход в море он назначил на час ночи. Именно назначил, так, как будто в подчинении у него была дюжина расторопных помощников. В этот вечер он призвал весь свой многолетний боевой опыт, опыт человека, привыкшего разрушать любые преграды на пути, хитроумно проникать в запретные зоны, исчезать и появляться, преследовать и уходить от погони. Кажется, впервые все, чему учили его в Карлсхорсте и «Бранденбурге», он обращал на личные цели...

Ближе к полуночи Сабина сварила черный кофе и наполнила два литровых термоса. Фон Герн сам застегнул на ней «молнию» альпаковой куртки и затянул под нежным подбородком жесткий ремешок армейской каски. Под каску Сабина надела теплую беличью шапочку.

Спустились вниз. Фон Герн растворил скрипучие дверки эллинга: в лицо пахнуло речной сыростью. Ульрих подал Сабине руку и помог усесться в тесном кокпите. На малых оборотах с тихим — подводным — выхлопом корветенкапитан вывел катер на середину реки. Оба берега едва просматривались в ночном тумане, и фон Герн порадовался: боги ему покровительствовали. А может быть, это родной город сам прикрывал их серой завесой. Была бы она поплотнее...

Надвигался аванпорт: вислое железо кранов, башни элеватора, полузатопленный эсминец «Дортмунд» и шесть дремлющих у пирсов сухогрузов. Туман сгустился так, что фон Герн с трудом вывел катер на остатки боновых ворот. Все шло как нельзя лучше. Редкие огоньки Альтхафена дрожали уже за кормой. Катер огибал последний брекватер, когда луч корабельного прожектора, описав голубую «воронку», накрыл его. Сабина тихо вскрикнула и вцепилась в планширь.

Рука фон Герна сама толкнула сектор газа до упора. Взревел мощный мотор, и два водяных крыла выросли по бортам. На вскинувшемся носу блистал неотступный прожекторный свет, взметенная вода сверкала радужно, словно в подсвеченном фонтане.

Сабина вспомнила на секунду фонтан, который устроил отец в день 600-летия Альтфахена...

— Пригнись! — крикнул ей фон Герн, и в то же мгновение с корабля ударил пулемет. Сабина слышала, как одна из пуль звонко щелкнула по каске Ульриха, и корветенкапитан свалился ей на плечо. Катер швырнуло в сторону. Мотор протяжно взвыл и заглох.

— Ульрих! Ульрих! — Сабина лихорадочно ощупывала лицо, шею, но крови нигде не было. Должно быть, фон Герн был оглушен или контужен.

Катер поплясывал на мелкой волне, звучно шлепал по воде носом... С корабля что-то кричали в мегафон по-русски. Луч попрежнему бил, высвечивая приборную панель ярко и резко — до последней заклепки. На глаза Сабине попалась алая пусковая рукоять, и она, недолго думая, рванула ее на себя точь-в-точь, как запускала мотор отцовского катера...

И грозный Вишну, хранитель подземных недр, обратился в высокий столб воды и дыма.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В гарнизонном госпитале лейтенанту Еремееву поставили четыре диагноза: баротравма правого легкого, отравление кислородом, общее переохлаждение и двусторонняя пневмония. Первые три дня он провел в бреду и горячечном забытьи. Но пенициллин, морской воздух и двадцатидвухлетний организм сделали свое дело. Вскоре Оресту принесли синий байковый халат и разрешили выходить в коридор. В первую же свою вылазку из палаты Еремеев встретил Сулая в таком же синем госпитальном халате. Капитан явно обрадовался встрече.

— А я к тебе вчера наведывался... Дрыхнуть ты здоров!

Боксерский бобрик на круглой сулаевской голове отрос и был зачесан на правую сторону.

— Слыхал новость? — поправил зачес капитан.— В Москву поедешь... На учебу.

Еремеев ошеломленно молчал. Ожидал всего, только не такого оборота...

— Но учти! Лозоходыча ты загубил!

До чего же вредный мужик, этот Сулай! Если и скажет что-нибудь приятное, то непременно сопроводит это гадостью... Но щеки Еремеева против воли зажглись краской стыда. А ведь и в самом деле погубил...

— Ладно,— примирительно вздохнул Сулай.— Победителей, говорят, не судят. Учись. Может, и впрямь толк из тебя будет... Насчет сифона это ты здорово раскусил... Будешь в Москве, съезди в Мытищи. Там семья Лозоходова живет. Адрес я дам. Скажи, мол, пал смертью храбрых и все такое. Вещички сыну передай: часы, губная гармошка, портсигар... Помоги чем сможешь. Ясно?

— Куда ясней.

— И второе. Это уж моя личная просьба. Сходи в Главное управление погранвойск. Разыщи там полковника Бай-Курдыева, передай письмецо от меня. Скажи, мол, от старшины Сулая. Он вспомнит.

Оресту вдруг стало жаль этого немудрящего и, наверное, не очень счастливого человека. Сорок лет, а все капитан. И вряд ли станет майором: семь классов и характер тот еще... Жену бы ему подобрее...

Медсестра в белом халате и белых гетрах прокатила тележку с кипой шинелей — на выписку! Она подошла поближе и остановилась подле окна.

— Кто Еремеев из седьмой палаты? Вам записка!

Орест развернул тетрадный листок, пробежал немецкие строчки: «Господин лейтенант! Если Вы сможете, спуститесь, пожалуйста, в приемный холл. Лотта Гекман».

Еремеев сбежал по лестнице в вестибюль приемного отделения. Библиотекарша в длинном осеннем пальто прижимала к груди два свертка. Она застенчиво улыбалась:

— Добрый день, господин лейтенант! Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, Лотта! Дела идут на поправку.

Фрейлейн Гекман протянула пакет, из которого выпирали розовые альтхафенские яблоки.

— Это вам, господин лейтенант. От меня. Здесь много витаминов. А это...— Лотта вручила Оресту второй сверток.— Это просил вам передать мой отец. Только не раскрывайте здесь. Посмотрите в палате.

В палате, присев на койку, Еремеев развернул оберточную бумагу. Старинный сифонный барометр на дощечке из красного дерева — тот самый, что висел некогда в читальном зале.

Прибор этот с изящной U-образной трубкой обещал не только предсказывать погоду, но и напоминать Еремееву до самой старости город ночных дождей, врагов и друзей, знак Вишну, столь похожий на счастливую подкову.



Владимир ЧУРИЛИН

НА БАМЕ

Тайга не жалела незваных гостей...
Брала за грудки, и трясла,
и трепала.
Мы в кожу втирали лосиное сало,
а жуткий мороз продирал до костей.
И кедры трещали, ветвями махая,
и северный ветер костер заносил.
И падали мы, выбиваясь из сил,
кляня неприветливость дикого края.
И снова вставали, и ели консервы,
примерзшее мясо сдирая с ножей,
и письма читали, где жены мужей
своих проклинали, ушедших
на север.
Я многое понял той страшной
зимой...
Когда бородатый, матерый
мужчина,
дубленые щеки по-детски морщиня,
заплакал...
А ночью уехал домой.
А мы оставались, мы песен не пели.
Слова провалились куда-то в живот.
И лишь бригадирский
застуженный рот
ревел по утрам, поднимая с постели.
И, снег на лице растирая горстями,
от ветра зажмурясь, шагали
в метель...
Тайга не желала незваных гостей.
Но мы заявились в нее не гостями.

Николай СТАРИКОВ

ДОБРЫЙ ПРИЗНАК

Звенит сегодня побережье:
Волна опять таранит твердь,
А люди гордо и небрежно
Над ней распутывают сеть.

А у людей, что любят страстно
Работу в море,— тот же бой!
И это добрый признак власти
Не над стихией — над собой.

Такие ближнего не бросят,
В беде его не предадут...
И если их волна возносит —
Она права, бесспорно, тут.

И я бы славил вместе с нею
Их за дела, не за порыв...
Но пара рук подчас нужнее,
И я в работе молчалив.

НА РАЗГРУЗКЕ

А мы разгружали уголь,
Глыбы и мелкоту,
Как шесть огородных пугал,
Качались мы на ветру.

Над нами мечами узкими
Висели прожектора.
Нам так хотелось с разгрузкой
Справиться до утра.

И мы шуровали лопатами
И сплевывали, хрипя.
Светились глыбы лобастые,
Темнели лица ребят.

А после,
Швырнув лопату,
Бросившись на пиджак,
Витька сказал: «Ребята,
А звезды-то близко как!»

Геннадий ХОРОШАВЦЕВ

БЕССОННЫЕ СТИХИ

Лижут ночь языки костра.
Мне опять не до сна.
У меня не одна сестра,
а Россия — одна.

Солнцу
посуху — день пути,
так она велика!
Нашим детям не век расти.
А она — на века.

Столько цвета в ее садах!
В небе сини — без дна.
У меня не одна беда,
а Россия — одна.

Неспроста на моих плечах
загрустила звезда.
У меня не всегда печаль,
а Россия — всегда.

Где-то поезд во тьму кричит.
Тихо стонет ветла.
Несветлы облака в ночи.
А Россия — светла!

БАЛЛАДА О КОМСОРГЕ

Когда в сорок первом
был выход непрост —
ты был среди первых,
поднявшихся в рост.
Тебя понимали
ребята твои.
Не так ли вот в мае
поют соловьи!

Потомки исправят,
что было не так.
Комсорги не вправе
в атаку не встать.
Во взгляде — нелепый
для боя уют.
Не так ли вот лебеди
песню поют!

Пропахшая порохом,
вянет трава.
Работа комсоргов —
не только слова.
Над павшими грустно
проходят года.
Забудутся трусы.
А вы — никогда!

Юрий ПОПОВ

Три дня на войсковых маневрах
Под шум моторов, ветра свист
Углем свои наброски нервно
Писал художник-баталист.

И, заглянув в его альбомы,
Я был немало поражен —
Где взрывы, пушки, автодромы,
Громады танковых колонн?

Где марш-бросок и где атака,
Где встречный бой, обход, охват?
Без лишней ретуши и лака
На всех листах — один солдат.

Он спит в траве осенней краски,
И у него под головой
Лежит увесистая каска,
Напоминая шар земной.

АТАКА

С рассвета — снова полигон.
Трава нескошенная в росах.
Блестя полосками погон,
Рвем тишину многоголосьем.

Вперед! Рывком — на высоту.
Я весь — стремление и воля.
Бегу, стреляя на ходу,
По перепаханному полю.

И вдруг «ура!» разорвалось...
И сзади полы у шинели,
Как птичьи крылья — врозь летели,
И все сместилось, понеслось.

Огонь и взрывы впереди.
Споткнувшись, падаю на пашню.
Набатом сердце бьет в груди:
«Вставай! Живет атака наша!»

Идти вперед — моя мечта.
И, поднимая, уносила
Победы страсть, порыва сила...
И взята вскоре высота.

И как же радостно потом,
Когда прошли мгновенья боя,
Вдыхать прохладу жарким ртом,
Смотреть на небо голубое...

Владимир ПАВЛОВ

ОСТРОВ ЗЫСЛАВ

Остров Зыслав — партизанское урочище на Любанщине

Вот июнь дерезой,
Словно скатертью, долы все
выстлал.
Снова птицы лесные
Тревожную весть разнесли:
Едут люди сюда,
Едут к тихому острову Зыслав —

Большаки на рассвете
Опять утонули в пыли.

Чтоб не выдать следов —
Без росы травостой сенокосный.
Чтоб не выдать костров —
Ели руки сомкнули плотней.
Понимаю вас,
Птицы,
И травы,
И гибкие сосны —
Часовые недавних
Ночей партизанских и дней.

Не тревожьтесь, деревья!
Не надо стонать спозаранок!
Разрывные не будут
Стволы на лучины крошить.
Шапки сняв, ветераны
Стоят у безмолвных землянок —
Нынче ранам болеть,
Нынче сердцу устало щемить.

Шапки сняли.
Идут.
И от тяжести горбятся плечи.
И морщины у век
Тяжелеют,
Как будто кора...
Шапки сняли.
Идут.
От простой и негромкой их встречи
Над могилами звезды
Ярчеют,
На солнце горят.

Окликаю вас, хлопцы,
С Днепра и неблизкого Буга,
Одногодки мои —
Каждый пусть в это место придет
И услышит:
Мой край
В летний полдень
И в зимнюю вьюгу
Про березы и сосны
На острове Зыслав
Поет.

Перевод Б. Ганкина

Владислав АРТЕМОВ

I

Встань из праха, мой далекий предок,
Светлым духом выйди из огня,
Дай узнать, хотя бы напоследок —
Кто я есть? Скажи мне про меня.

Отчего я слова жду тревожно,
Поползли мурашки по спине —
Не убей меня неосторожно,
Помни, предок, кровь твоя во мне.

Дай мне сил разделаться с тревогой,
Устоять и глаз не отвести,
Видел я суровый лик Стрибога:
— Сыне мой, ты на кривом пути...

Низкий ветер заходил над полем,
С ног свалил, к траве меня прижал—
И тогда я все, что было, вспомнил,
Потому что и не забывал.

II

Вольно, Русь, лежать твоим дорогам,
Я на ощупь место отыскал —
Где отец в бою под Таганрогом
Кровь мою, споткнувшись, расплескал.

Не засохло, под рукой дымится,
Жгучая — а я понять не мог —
Отчего мне сон далекий снится:
«Шли враги на город Таганрог...»

Телом, духом, мыслию и словом,
Предок мой, я вспомнил эту связь —
Из твоей груди на Куликовом
Кровь моя, густея, пролилась.

Брода нет! Не суйся в эту реку —
Захлебнешься в собственной крови,
Ровно столько, сколько человеку
Надобно — вы дали мне: живи!..

III

Вот она — цела, не убывает,
Льют ее — прольют, да не до дна!
Мы забудем — кровь не забывает...
Сын мой, помни! — кровь у нас одна.

Может статься — слаб еще и тонок,
Заплутает в суете и лжи,—
Позовет тебя к себе потомок —
Ты ему всю правду расскажи.

Станислав БАБАЕВ

СЛУЧАЙ С КАПИТАНОМ ДАНИЛОВЫМ

Входная дверь с треском распахнулась, и в столовую вбежал солдат с красной повязкой на рукаве. Оставляя клочья снега на дорожке, торопливо подошел к Егорову. Тот раздраженно отложил ложку: опять что-то... Дежурному по части и поесть спокойно не дадут.

— Товарищ старший лейтенант! Там... Телефон говорил...

Пытаясь отдышаться с мороза, солдат проглатывал слова. Снег на его шапке в тепле мгновенно подтаял и быстрыми каплями сбегал по узкоглазому скуластому лицу.

— Там телефон... говорил... капитан Данилов погиб! Гранату накрыл.

Через несколько минут они уже бежали через плац к штабу. Прикрываясь рукавом от ветра, солдат на бегу что-то говорил, но слова его относило в сторону. Да и не до него было старшему лейтенанту. Данилов... Ведь только сегодня они виделись! Егоров провожал даниловскую роту на стрельбище. Тот все торопился, покрикивал. Белобрысый, коренастый, весь такой кругленький, распекал кого-то. И вот... нету человека.

Данилова Егоров знал всего месяц, с тех пор как приехал в этот полк замполитом батальона. Беседовал тогда с командирами рот и взводов, вместе ведь служить. И с капитаном Даниловым познакомился, поговорили, но, как говорится, без особого контакта, так, общие слова. Конечно, тут виной разница в возрасте: он, Егоров, три года как из училища, «старлейта» досрочно получил, а Данилов несколько лет в капитанах перехаживает, по годам давно пора бы ему комбатом ходить и тем же Егоровым командовать. Тогда, в разговоре, усмехнулся как-то кривовато: мол, служба не пошла... Конечно, на службу легче всего сваливать. Ведь вот только что вакансия начальника штаба батальона открылась, старый начштаба в академию уехал, и он же, Егоров, был против кандидатуры Данилова, хоть и знал-то его без году неделю. И все офицеры в полку, любого спроси, против были. Не все, значит, так просто...

В комнате дежурного по части Егоров бросился к телефону:

— Алло! «Кивер»! Дайте стрельбище! Как? Почему нету? Ведь только что... Ладно, жду! Жду, говорю!

Старший лейтенант нервно бросил трубку на рычаги, тяжело опустился на стул, вытер ладонью лицо. С минуту длилось молчание. Но вот офицер снова взялся за телефон.

— Пятьсот первого. Алло!

Прижимая трубку, медленно поднялся, одернул китель.

— Товарищ полковник? Докладывает дежурный по части старший лейтенант Егоров. Чепе, товарищ полковник. На стрельбище. Да. Капитан Данилов гранату собой накрыл, заслонил солдат. Так точно. Телефонограмма. Есть!

Звякнув, трубка легла на место. В это время в дежурку шагнул через порог долговязый лейтенант с эмблемами медика в петлицах, до того с минуту молча стоявший в дверях.

— Ты это серьезно?

Острый кадык прошелся по горлу вверх-вниз.

— Скажи мне вчера, что Данилов вот так... Не-е... Ни за что бы не поверил! Только не он. Неужели правда — других заслонил? Да ведь это же подвиг!

Сказал и сам недоверчиво потряс головой. А Егоров вдруг с новой силой почувствовал виноватость свою перед мертвым Даниловым: выходит, не разглядел человека, по верхам судил. Но ведь все вокруг в один голос твердили: Данилов подхалим! А по большому счету что вышло? Подвиг Данилов совершил.

Все больше злясь на себя, Егоров повернулся к лейтенанту:

— А почему бы ему и не совершить подвиг? Просвети.

Тот, сутулясь, уселся напротив, потер пальцем переносицу:

— О мертвых тяжко говорить, сам понимаешь. Не ахти ведь какой человек был. И как-то не верится даже... Любого спроси, от Данилова никто не ждал. Не тот человек, короче.

Умолкнув, он поднял на Егорова виноватые глаза. Но тот все не отставал:

— Оч-чень интересно! От одного мы, оказывается, ждем подвига, от другого, видите ли, нет...— Насмешливо скривил губы: — Так почему все-таки? Нехороший Данилов жизнь за людей отдал. А мы, хорошие, еще неизвестно, как бы... А?

Лейтенант махнул рукой:

— Сам замполит, вот и разбирайся! Я-то тут при чем? Твой ведь подчиненный.

Возбужденно прошелся по комнате, потом, не глядя, снова уселся напротив Егорова, смущенно глянул на телефон и хотел было что-то сказать, но резкий звонок опередил его. Старший лейтенант мгновенно сорвал трубку:

— Дежурный слушает...— Буквально выстрелил торопливой скороговоркой: — Стрельбище? Да! Да. Кто говорит? Кто? Так. Понятно. Так...

Продолжая разговор, он осторожно опустился на стул. Лейтенант рядом настороженно прислушивался. Даже солдат-посыльный незаметно шагнул поближе. Высокий голос в трубке что-то все говорил-говорил, быстро и неразборчиво.

— Ясно. Доложу.

И положил трубку. Потом, медля, повернулся к лейтенанту, подчеркнуто спокойно проговорил:

— Живой Данилов. Ошибка вышла. Граната учебной оказалась. То ли солдаты баловались, то ли просто перепутали... Черт его знает!

Лейтенант растерянно присвистнул:

— Ничего себе! Перепутали!.. Двухгодичник, и то... Ну, дает Данилов! Не зря ж не верилось! Как чувствовал! Вон какой «смертельный номер» отколол, закачаешься! Теперь он герой! Глядишь, зачтется. Как думаешь? За подвиг как пить дать выдвинут на повышение.

Насмешливо хмыкнув, он встал, многозначительно поглядывая на старшего лейтенанта, запахнул шинель:

— Пойду. А то засиделся тут.

И пошел к двери. Переступая порог, не удержался, буркнул:

— Прямо кино!

Егоров чисто механически проследил, как вслед за лейтенантом в коридор вышел солдат, захлопнулась дверь. В жарко натопленной дежурке он теперь был один. Снова вспомнился Данилов, и было стыдно за те минуты, когда чувствовал себя перед ним виноватым. Конечно, он, Егоров, мог и ошибаться, но другие офицеры? Коллектив? Вот и новое подтверждение — фокус на стрельбище... Нет, но это уже черт-те что, ни в какие ворота не лезет! Эх, Данилов... А может, все же не разглядел он гранату эту, будь она неладна? Не-ет... Очень уж своевременно все, белыми нитками шито!

Вскоре приехал командир полка. Вытянувшись в струнку, Егоров доложил и ждал нагоняя за ложную тревогу. Но полковник лишь коротко приказал вызвать Данилова, как прибудет, и поднялся к себе в кабинет. Маленького роста, всегда подвижный, с седым пружинистым хохолком над высоким лбом, комполка сильно смахивал на Суворова и, кажется, ничего не имел против этого сходства. Но сейчас он поднимался по лестнице непривычно тяжелым шагом, придерживаясь за перила. И Егоров, наблюдавший за его по-мальчишечьи щуплой фигуркой, вдруг остро почувствовал, что командир далеко не молод, что в его годы, должно быть, особенно больно терять близких и что в этом полку для него чужих нет.

Последние часы дежурства пролетели незаметно в делах и заботах. В дежурку входили и выходили офицеры, звонил телефон. Прибыла со стрельбища даниловская рота. Бронетранспортеры урчали у ворот парка, а Данилов уже был в кабинете комполка. Через полчаса вышел оттуда хмурым, резко козырнул встречному солдату-писарю, упруго сбежал по ступенькам, толчком отворил дверь на улицу. Егоров окликнул его, но тот уже не слышал, шагнул в метельную круговерть...

Звонок отозвался длинной трелью. Шепотом чертыхаясь, Данилов отпер дверь, сощурился, всматриваясь в темноту лестничной клетки.

— Чего надо?

Решительно нажав плечом, Егоров протиснулся в прихожую.

— Я это. Поговорить надо.

Хозяин покорно согласился, закивал.

— Надо, значит, поговорим. Отчего же, поговорим... Сюда, сюда. Только тс-с... Мои спят.

Не снимая шинели, старший лейтенант прошел на кухню. Там, не дожидаясь приглашения, сел у стола с остатками ужина. Молча смотрел, как Данилов суетливо отодвигает в сторону тарелки, стараясь не шуметь, опускает их в раковину. Дома, в лыжном костюме и стоптанных шлепанцах, он казался еще сдобнее. Егоров снова почувствовал подступающее раздражение:

— Слушайте, Данилов, я к вам вот за чем. Только честно! Да не суетитесь вы!

Егоров на мгновение ухватил Данилова за руку, почти силой повернул к себе лицом.

— Знали вы, что граната учебная?

Данилов посмотрел исподлобья:

— А ты кто такой? А? Начальство? Был начальство, а теперь ровня! Понял? Комполка уже давно все подписал, и приказ уже есть, ясно?

Данилов вырвал руку, отвернулся, взял с полки пачку сигарет, зло разрывая ее, отрывисто бросал Егорову:

— И не лезь ты мне в душу! Не на-ада!

Крепко прикусив сигарету, он искал глазами спички и не находил. Рука непроизвольно сжималась в кулак, давя пачку.

— И не смотри на меня так! Слышь? Так и съел бы, да? Судить вы мастера, а что по годам мне подполковником давно пора быть, это как? Мальчишки обгоняют, а потом командуют. Ты, Данилов, видите ли, такой-сякой, разэтакий!.. Характер им мой не подходит! Не угодил... Теперь с гранатой, будь она проклята!

Он зло швырнул измятую пачку в угол, взял с плиты спичечный коробок, закурил. Задумавшись о чем-то, смолк, грузно опустился на табурет. Затянулся раз, другой. И вдруг, резко подавшись вперед, перешел на свистящий шепот:

— А знаешь, как страшно?.. Она — во, в шаге всего. Ахнет и... все. Всем каюк.

Дымящаяся сигарета сломалась в пальцах. Данилов поморщился, загасил ее. Потом криво усмехнулся:

— Лежу мордой в грязь, а сержантик мой наклонился, шепотом так, чуть слышно — учебная, мол, товарищ капитан. Я уж сам... А встать — сил никаких нет. И стыдно, и руки-ноги не слушаются, как отнялись.

Умолкнув, он рассеянно сжал виски ладонями. А Егоров мысленно представил гранату, себя перед ней... и не смог ничего себе

ответить. Посмотрел для вида на часы, поднялся. Вцепившись в рукав егоровской шинели, хозяин проводил его до двери. На пороге ощупью отыскал ладонь гостя, стиснул ее потными пальцами:

— Бывай здоров, замполит. Данилова не сломаешь! Мы еще поглядим...

Егоров вырвал руку. Сбегая по лестнице, брезгливо отер ладонь о шинель.

На улице ветер горстями швырял снег в разгоряченное лицо, но Егоров не замечал мороза. Он думал о том, что вот только что был у человека, который... пожертвовал собой ради других. Сказать «совершил подвиг» старший лейтенант не решился. Но тут же одернул себя: а почему бы и нет? Если бы граната взорвалась, тогда — да, подвиг. А если нет?.. Но ведь Данилов бросился как на боевую! Погиб бы — героем считали. А раз выжил — ни то ни се? Не-ет, это подвиг. Но и Данилов не перестал быть Даниловым...

Дверь кабинета командира полка обита дерматином, пухлая, постучать некуда, и Егоров приоткрыл ее без стука.

— Разрешите, товарищ полковник?

На столе неровными стопками лежали какие-то бумаги, счета, накладные. Командир, оторвавшись от работы, вскинул голову — дрогнул суворовский хохолок.

— Что случилось? Сдали дежурство?

С молчаливым одобрением смотрел он на стройного щеголеватого офицера.

— Так точно. Я по личному делу.

Полковник приподнялся, жестом указал на стул. Егоров шагнул ближе, на секунду замялся, но остался стоять.

— Я только что был у капитана Данилова. Он сегодня совершил подвиг.

Отчеканил и перевел дух. А командир удивленно и чуть усмешливо приподнял бровь:

— Какой такой подвиг? Спутать учебную гранату с боевой! Да я ему взыскание за этот подвиг объявить должен!

Старший лейтенант растерянно пожал плечами:

— Но ведь...

Комполка хлопнул ладонью по столу и подскочил совсем по-молодому:

— Никаких «но»! Ни-ка-ких! Даже будь боевая, не валиться на нее надо!.. Раз уж не сумел научить солдат с гранатами обращаться, так хоть успей отбросить. Только так. И не подвиг это, а обязанность! Долг! Слыхали такое слово?

Егоров молча слушал командира, но тот все не мог успокоиться:

— От кого, от кого, но от Данилова — не ждал. Никак не ждал! Задержать бы ему выдвижение за такие дела, чтобы наперед знал!

— Я об этом и хотел поговорить.

Полковник словно осекся, с холодным удивлением глянул на молодого офицера.

— Вы считаете это своим личным делом?

— Да! Глубоко личным! — Егоров чувствовал, что начинает горячиться, но сдержать себя уже не мог: — Таких, как Данилов, не только повышать, им вовсе нельзя доверять людей! Они их на себя похожими делают! Им только...

— Отставить! Товарищ старший лейтенант! — Полковник, оттолкнув стул, шагнул к Егорову.— Я не обязан перед вами отчитываться! Но я отвечу! Все, что вы мне здесь хотите сказать, конечно, правильно. Но вы подумайте!.. Данилов вам не нравится? Прекрасно! Допустим, мне тоже. Кого ставить в батальон? Ну кого? Все мои ротные — вчерашние командиры взводов, позавчерашние курсанты, сами знаете. Они — надежные парни, уверен. Но для батальона нужен опыт! Это не игрушка — батальон. Вы это понимаете? — Командир резкими шагами вышагивал по кабинету, нервно жестикулировал.— Здесь не Дворец пионеров, здесь — армия! Ар-ми-я! Может быть, мне завтра в бой с полком идти. И я хочу побеждать! И чтоб как можно больше уцелело.

Комполка остановился у окна, спиной к Егорову, и почти с минуту молчал. Потом снова присел к столу, пригладил седой хохолок и заговорил спокойнее:

— А Данилов, он шесть лет на роте. Только у нас почти год. Я присматривался к нему, ротное хозяйство как свои пять пальцев... И в батальонном не растеряется, потянет. Вы поймите, мы — военные люди. И мерить все должны одной меркой — меркой боя. А не тем, приятен нам человек за чашкой чая или нет. Не в мелочах дело — в главном. А Данилов сегодня как раз доказал, что в нем это самое, главное, есть! — Закончил почти весело, хитровато подмигнул Егорову: — А с воспитанием — вы помогайте, другие офицеры... Где мы столько ангелов наберем? Не убедил?

Егоров упрямо мотнул головой:

— Никак нет.

Полковник раздосадованно махнул рукой:

— Ну и правильно...

Сергей РЯДЧЕНКО

ВЫХОДНОЙ

...Помидоры теперь убирают в несколько заходов. Сперва идут местные женщины. Работать одно удовольствие: два-три куста — и полный ящик. Под конец пускают студентов. Они все равно не умеют. Пусть учатся.

Холодно.

Никитенко молча крутит руль. На студентов не оглядывается. Чувствует их спиной, а думает о своем. Студенты сидят нехорошо. И гружен прицеп нехорошо. Но чутье подсказывает Никитенко, что в этот день ничего из ряда вон выходящего не случится.

Грохочут пустые ящики.

Для Никитенко сегодняшний день не менее воскресный и утро не менее раннее, чем для остальных граждан нашей страны, и все же Никитенко ведет трактор, не испытывая внутреннего протеста. Не бунтует его душа против внеочередной — ни свет ни заря — работы. Не нравится ему отказывать людям. За это жена часто корит: «Ну нельзя же так, Иван. Ты и впрямь как блаженный. Тебя только пальцем помани, ты уже бежишь надрываться за другого. Расслабься. Пожалей себя хоть раз!» И все же слово «надо» остается для Ивана Никитенко таким же подтянутым и обязательным, каким пришло оно с ним из армии без малого двадцать лет назад. И не выходит у Ивана «расслабиться». Поэтому многие в селе считают его обделенным в жизни, понимающе качают вслед головой и сочувствуют жене. И потому часто стучится в окно его хаты в предрассветный час бригадир и говорит: «Иван, надо».

В прицепе трактора мучается на пустых ящиках Мишка Хатин. Рядом с ним лежит в неудобной позе Андрюха Гаврилов.

Из пятидесяти двоим должно было не повезти. Нетрудно теперь догадаться, кто эти двое. А остальные сидят на невысоком заборе, сложенном из подобранных по форме и размеру камней, курят местный табак и глядят на трактор с прицепом, как он тащится на возвышенность.

Чтобы не так было скучно, Мишка Хатин называет возвышенность не иначе как плато. И с его легкой руки сейчас у забора мысленно произносят: «Отправились на плато».

— Эй, салага, чего дрыхнешь?! — Такими словами разбудили в то утро Хатина.

Поеживаясь, вышли в утро. Сказали бригадиру:

— Так ведь выходной?!

Бригадир на это резонно ответил:

— Так ведь всего двоих.

Закурили крупнокалиберную махорку и решили бросить жребий на пальцах. Чтобы по справедливости и чтоб зря воскресное время не тратить.

Хатин сразу затосковал. На пальцах ему всегда не везло.

— Хорошенькая справедливость,— сказал Хатин.— На меня выпадет, как здрасте, и к гадалке ходить не надо. А у меня сегодня...

Его перебили, сказали, что к гадалке и вправду ходить не надо — далеко, а разыгрывать на пальцах совершенно необходимо, и вообще: давай стране помидоры!

— Раз ты так уверен,— сказали ему,— то полезай в прицеп и жди себе напарника.

— Ну нет. Участвовать я буду, чтобы не нарушить таинственный ход случая.

После этих от души сказанных слов обреченного все смутились. А самый старший из них произнес воскресную речь.

— Нас здесь пятьдесят. И если каждый выбросит по десять пальцев, то получится пятьсот и придется считать до самого вечера.

Старшего звали Олег Щетинин. Он был мастер крыть непреложными истинами. Старшего все, даже Гаврилов, признавали за старшего. Равных ему здесь не было. Он явился в студенты с Балтийского флота, и теперь на краю хутора, в степи, в обстановке для моряка непривычной, все равно не видел перед собой непреодолимых препятствий и не страшился природных тайн.

— А поэтому,— сказал самый старший,— объявляю: выбрасывать можно не больше одного пальца!

Все задумались соображая.

Хатин подал голос:

— Давай бросать по три. А то один палец — чересчур примитивно, достоинство оскорбляет...

— Ладно,— сказал Щетинин.— Устами младенцев иногда тоже кое-что... Итак, максимум три пальца. Но для соблюдения флотской дисциплины предупреждаю сразу: кто выкинет дулю, пусть лезет в прицеп сам, без приглашения. Становись!

Гаврилов долго толкался, примеривая себе место по способностям и потребностям. Наконец он добрался до монолитно стоящего Хатина и спросил:

— Ты уверен, что на тебя выпадет? Молодым везде у нас дорога?

Хатин посмотрел на Гаврилова и молча отвернулся.

Хатина все попрекают юным возрастом, и он никак не может выработать правильную методику отношения к этому. Не думать о Наташе он научился. Почти научился. Почти не думать. А вот всякий раз, когда его обвиняют в молодости, теряется и не знает, как себя вести.

Договорились начинать отсчет с забора.

Гаврилов стал по правую руку от Хатина. Слева поставили кого-то сонного, утратившего инстинкт самосохранения.

— Раз, два, бросили!

Хатин выбросил все три пальца, чтобы дольше было считать. Всего получилось девяносто семь.

И-и-и... начали! Номер один — забор, номер два — Олег Щетинин, и дальше по часовой. И вот уже отсчитано пятьдесят, и каждый получил по номеру, но это все несущественно, это процедура, а в данном случае важна не она сама, а ее конечный смысл — номер 97 и следующий за ним. И вот уже отсчитано и 60, и 70, и 80, и 90, и вот оно подходит, все ближе и ближе и — бац! Наповал. Номер 97 — Андрюха Гаврилов и следующий за ним Мишка Хатин. Просим пройти в прицеп.

— Эт-что,— сказал Хатин, плескаясь над ведром с ледяной водой.— Эт-легкая контузия. Эт-почти что пронесло. Вот Андрюху — того наповал. Точь-в-точь девяносто семь. На моем веку это первый раз, чтоб не в меня...

— Коротка сказка,— говорит Никитенко.— Приехали, ребятки.

И ничего нельзя ему возразить. Они и сами видят, что приехали.

— Раньше слезем, раньше влезем,— сообщает Гаврилов, охая, переваливает по частям свое затекшее тело через борт прицепа и при этом восклицает: — Па-а-а-а-а-аберегись!

— Чудной человек,— тихо смеется Никитенко.— Кого ты здесь задавишь?

— Знаешь, Иван,— Гаврилов всех, кому не подчинен в административном порядке, называет на «ты» независимо от возраста,— ты своим пониманием юмора страшно похож на одного нашего профессора.

— Как так?

— Со слухом у него не в порядке. Слышит, когда подсказывают самым шепотом, ну, когда во весь голос, естественно. А среднюю громкость не воспринимает. Так и ты юмор.

— Будь по-твоему,— говорит Иван.

Хатин одним махом прыгает через борт, бьется затылком о прицеп, а потом уже долетает до земли. Поднимается молча, вытирает руки о штаны, трогает затылок.

— С приземленьицем,— смеется Гаврилов, колдуя над самокруткой.

Хатин крутится на месте, пытается увидеть и ощупать дыру в свитере, потом разглядывает гвоздь, который его подцепил. Лишь после этого отвечает Гаврилову:

— Заткнись.

Хатин зол, голоден и несчастен, и его семнадцать лет требуют совершить что-нибудь невозможное. Гаврилов делает вид, что не расслышал, прикуривает от никитенковской папиросы, но больше не смеется.

Хатин сопит и идет в поле. По полю — вразброс — штабеля ящиков с помидорами, которые вчера из-за дождя не успели вывезти. Хатин хватает ближний ящик, несет в прицеп.

— Погоди три минуты, Мишка,— окликает его Гаврилов.— Дай покурить. Вместе начнем.

Хатин продолжает работать, не отвечая.

— Чудной человек,— говорит Никитенко.— Все чего-то сердится.

— Салага,— объясняет Гаврилов.

— Коротка сказка, все мы салажата.

— Это еще почему?

— На гражданке каждый новый день начинается с нуля. Тут законы иные, чем в армии. Я вот никак приноровиться не могу.

Хоть уже двадцать лет прошло. Живу как понимаю, а меня блаженным кличут. Ну и бог с ними.

— Ты, Иван, философ,— отвечает Гаврилов.— Редкий случай, чтобы на помидорном поле собралось столько философов — ты да я.

Свитер на спине Хатина разорван, и вырванный лоскут при каждом шаге болтается безжизненным треугольником, как перебитое крыло.

«Отец был ранен осколком под правую лопатку, и у него, наверное, свисал клок шинели,— размышляет Хатин,— как у меня сейчас этот лоскут».

Хатин с Гавриловым работают, таскают ящики. Молчание между ними затягивается, и каждому уже хочется, чтобы оно кончилось как-нибудь само собой. Наконец Гаврилов кричит:

— Мишка, я придумал. Сегодня не какой-нибудь паршивый, а просто менее отличный день!

— Согласен! — кричит Хатин.— Менее отличный день рожденья, в который мы работаем на самом настоящем плато.

Перекур. Кажется, прошла вечность с тех пор, как их разбудил бригадир. Будто это было не сегодня и не с ними и никогда Хатину не говорили: «Эй, салага, чего дрыхнешь?!»

— Дядя Вань, который час? — спрашивает Хатин.

Никитенко смотрит на солнце, оно уже наливается жидким золотом.

— Около восьми.

— Так мало? Не может быть.

— Вот тебе и не может быть.

— Не спорь, Мишка,— говорит Гаврилов.— В этом мире все может быть. Даже восемь часов.

Когда Хатин видит, как Гаврилов управляется с самокруткой, он жалеет, что сам не курит. Есть в этой лихо скрученной козьей ножке что-то легендарное, от чего щемит сердце.

— Дай попробовать.

Гаврилов протягивает, произнося дежурный комментарий:

— А мама разрешает?

Хатин представляет себя со стороны, вертит в пальцах дымящуюся самокрутку, возвращает ее Гаврилову и идет к ящикам.

— Мишка, ну подожди ты три минуты. Дай покурить спокойно!

— Кури. Я не в обиде. Просто не хочу остывать.

Гаврилов пожимает плечами. Никитенко подает трактор вперед. Возвращается, садится на ящик рядом с Гавриловым.

— Он что, спортсмен?

— Все мы спортсмены, Иван,— отвечает Гаврилов.— Я такой спортсмен, что просто страшно.

— Вот я и вижу,— говорит Никитенко.

— Я серьезно,— говорит Гаврилов.— Служил на границе. А там все жуть какие спортсмены, и с той стороны, и с нашей.

— Правда? — оживляется Никитенко.— На границе? А где?

— Там, там...— говорит Гаврилов.

Никитенко достает новую папироску, молчит, ничего не спрашивает.

— Нет,— говорит Гаврилов.— Ни в чем героическом участия не принимал.

Никитенко вздыхает:

— Не повезло.

— Только ты, Иван, при Мишке на эту тему не особо распространяйся. Я для него герой. Пусть парень тешится. Нужен ему кто-то такой рядом.

— Чудной человек,— говорит Никитенко.— Воспитывать нужно правдой. Ты же служил в армии. Неужели не понял?

— Правдой, говоришь? А правда в том, что я стал таким отличником боевой и политической подготовки, что просто жутко, а вот насчет чего-нибудь героического или хотя бы просто самого обыкновенного задержания — тут хоть шаром покати! И это в то время, когда мои же ребята только успевали получать медали и даже два ордена отхватили за свои славные дела. А я как заступаю, ну хоть криком кричи, все тихо, все спокойно, даже мухи не летают. Ну что за напасть.

— Да-а-а,— понимающе вздохнул Никитенко,— досадно.

— Вот она тебе, правда. И ты хочешь, чтобы я такую правду вывалил этому пацану?! Да на кой она ему ляд?! Ему героя подавай, чтоб тянуться за ним.

— Может быть,— говорит Никитенко,— ты прав.

— Парень он отменный, только закалки армейской ему, конечно, не хватает. Тут армию заменить ничто не может. Ну а я в меру своих сил тренирую товарища Хатина в искусственно создаваемых мною условиях для его дальнейшего успешного прохождения жизни. Да и служить пойдет после университета — мне спасибо скажет.

— Чудной человек,— говорит Никитенко.— На все вопросы ответы знаешь.

— Это я вид делаю,— говорит Гаврилов и идет в поле.

Никитенко подает трактор вперед.

Нижние ящики самые тяжелые от прилипшей к днищам земли. Нижние ящики достаются большей частью Хатину. Гаврилова они как-то обходят.

Пока Хатин возится с очередным нижним, пытаясь освободить его от лишнего груза, Никитенко подает трактор вперед, поближе к Гаврилову, и теперь Хатину предстоит идти до прицепа. Хатин бросает ящик на землю и ругается.

— Забудь! — кричит Гаврилов.— Скоро конец. Вперед!

Хатин трясет ящик, роняя при этом шляпу. Огромный ком земли валится под ноги. Хатин облегченно вздыхает.

— Шляпу потерял, — говорит Никитенко, принимая у Хатина ящик.

— Знаю,— говорит Мишка.

Хатин наклоняется, смотрит на ржавый стабилизатор, торчащий из потревоженной земли,— ему попадались такие и раньше — и, нахлобучив шляпу на самые глаза, поддевает стабилизатор ногой. Но тот не поддается. Хатин садится на корточки и при этом думает: неужели мина?!

Мишка Хатин смотрит на ржавый металл.

Хатин вспоминает князя Болконского: сколько мыслей тот успел передумать, прежде чем его шандарахнуло, и помер ведь князь.

Вот и у тебя мысли путаются, мельтешат одна за другой. Чего ты сидишь смотришь? Беги, пока цел. Ты на эту мину и ящик уже сегодня бросал, и ногой сейчас пнул, а ведь мина старушка, столько лет лежит в земле, ржавеет, и ее нервишки могут сдать. Помни, Миша Хатин, ты один-единственный, другого не наскрести по сусекам, да и что тебе до другого, если тебя уже не будет больше никогда.

— Эй, сачок,— кричит Гаврилов,— молодой, да ранний! Прими ускорение в мою сторону, будь любезен. Хватит отдыхать!

Хатин завороженно глядит на свою протянутую к мине руку. Разгибается осторожно, чтобы не качнуло на затекших ногах вперед, куда угодно, но только не туда. Попятился, бросился бежать, споткнулся и полетел Гаврилову под ноги.

— Не сходи с ума,— говорит Андрей, стоя над Хатиным с ящиком в руках.— Вот я сейчас переступлю через тебя, и больше ты не вырастешь. А поскольку я с ящиком, то даже наоборот — врастешь!

Хатин неуклюже поднимается, хватает Гаврилова за руку:

— Андрюха, там мина.

Гаврилов ставит ящик на землю.

— Все может быть. Жизнь неисчерпаема. Где?

Хатин махнул рукой, указывая направление, но с места не двигается.

— Ну идем, покажешь.

Хатин трогается в путь. Идет бережно.

— Эй, хлопцы! — кричит Никитенко.— Что стряслось?

— Момент,— отвечает Гаврилов.— Приспичило.

Хатин останавливается.

— Вот она.

Гаврилов проходит шаг, другой и тоже останавливается:

— Где? Не вижу.

— Ну вон!

— Черт возьми,— кипятится Гаврилов,— покажи по-человечески. Наступить на нее мне вовсе не улыбается.

К ним приближается Никитенко, он проходит и мимо Хатина, и мимо Гаврилова и идет дальше, небыстро, но уверенно.

— Небось мину нашли, чудные люди. А зачем секрет делать?

— Да не возьму в толк, где она. Может, вовсе и не мина. Мишка чего-то заблудился. Напутал.

— Не свисти,— говорит Хатин.— Тебе, я вижу, так же хочется к ней приближаться, как и мне.

Гаврилов в упор смотрит на Хатина, кажется, что долго смотрит, а на самом деле одно мгновение и быстро идет вслед Никитенко.

Иван Никитенко останавливается.

— Вот она, хлопушка, растешь ты в печку.

Он опускается на колени и проводит ладонью по влажной земле.

— Большая... живешь ты неладно. Такие до наших дней редко дотягивают, отстрелялись в конце сороковых. Такая рванет — ни трактора, ни тракториста. Полковая. На мелкие и сейчас еще можно наткнуться, а эта — редкость. Третий раз в жизни встречаю. Как же ты здесь залежалась?

— Когда помидоры повезем, заедем в часть,— говорит Хатин,— и сообщим. Они как-то уже приезжали, я видел. Разминировали.

— Зачем сообщать? — говорит Никитенко.— Услышат — сами приедут.

— Как услышат?

— Эй, дядя Вань,— говорит Гаврилов.— Ты что делать собираешься?

«Что же это со мной? — думает Хатин.— Так мечтал о чем-нибудь именно таком. А теперь стою и не могу пошевелиться. Неужели у меня так ничего и не выйдет? Невероятно, чтобы проиграть было так легко и просто. Не сделать шага, и все. Но разве можно его не сделать, если бы на тебя смотрела Наташа, а отец, а мать, а тренер с ребятами?»

Хатин идет быстро.

Остановившись рядом с Никитенко, смотрит на мину. Гаврилов разглядывает Хатина и утвердительно кивает головой, соглашаясь с какими-то своими рассуждениями.

— Вы, хлопцы, не смущайтесь,— говорит Никитенко.— Я ее трогать не буду.

— Правильно,— подхватывает Хатин.— Не надо.

— Шутки шутками,— говорит Гаврилов,— а без приборов, может, и вправду не стоит браться за это дело?

— Понял вас, хлопцы. Не будем браться. Я только посмотрю, как она лежит. Чтобы чего не вышло.

— Не будешь ее трогать, ничего не выйдет,— говорит Гаврилов.— Оставьте ее в покое.

Хатин злится на Никитенко. Тот напоминает ему дантиста, который сунул клещи в рот пациенту, ухватил зуб, уже расшатывает его и тянет, но при этом приговаривает: «Не бойтесь, рвать сегодня не будем. Только посмотрим».

— Ну чего она вам сдалась, дядя Ваня,— не выдерживает Хатин. И Никитенко поднимается с коленей.

— Все. Пошли. Догружайте прицеп. Едем.

Они идут грузить.

Никитенко относит к тому месту, где лежит мина, два пустых ящика и ставит их на попа, один на другой. Возвращается к прицепу и закрывает борт.

— Хватит. Бригадир сказал, одну ходку. Остальные догрузим завтра. Сейчас на склад, разгрузить — и по домам.

— Может, покурим сперва?

— Покурим по дороге. Андрей, ты как думаешь, эта штука в ведро поместится? Здоровая больно.

Гаврилов, свесившись с борта прицепа, настойчиво смотрит Никитенко в лицо. Никитенко стоит на подножке трактора, взгляд не отводит, но думает о своем.

— Знаешь, дядя Ваня,— говорит Гаврилов медленно,— думаю, можно подыскать такое ведро, если очень постараться.

— Вот это ответ,— говорит Никитенко.— Сразу видно — пограничник.

На складе ни души. Воскресенье.

— Хлопцы, вы давайте сгружайте, а мне домой срочно смотаться надо. По дороге заскочу в часть. Потом вернусь за вами, отвезу на хутор.

Он вынул чеку. «Поберегись!» Подал трактор вперед. Тяжелая треугольная рама-сцепка бухнула в землю.

— Не скучайте, хлопцы. Я мигом!

Трактор привычно жалуется на нелегкую жизнь и бездорожье. Никитенко слышит звук мотора и не слышит. Думает о своем.

Мальчишка спрашивает его, на что ему сдалась эта мина. Дурак. Нет, не дурак. Просто не его это забота, не Михаила Хатина, пятьдесят второго года рождения.

Для Ивана Никитенко любая мина, любой невзорвавшийся снаряд — это война, на которой он не воевал. В оккупации не был. Со своими ушел, со своими вернулся. Но заслуги в том нет. А вот когда тебе в сорок пятом пятнадцать, а на счету ни одного фашиста, то тут хоть волком вой, обидно до слез.

Гаврилов с Хатиным разгрузили прицеп, сидят ждут Никитенко с его трактором. Слышат, в поле ухнуло.

— Мина,— говорит Гаврилов и затравленно озирается по сторонам.

— Не,— говорит Хатин.— Очень тихо. Что-то другое.

— Дурак. Это тебе что, бомба? Тут расстояние километра полтора, не меньше, да еще на плато. Какой тебе звук подавай?

Гаврилов вскакивает на ноги.

— И не видно, как назло, ни черта отсюда. Кто-то подорвался на нашей мине. Может быть, дядя Ваня. Понимаешь?! Чего сидишь?!

Они бегут по полю, хрипят, ноги не слушаются.

Навстречу им вниз по дороге кашляет знакомый трактор. Они останавливаются, долго не могут отдышаться.

— Ну тебя,— говорит Хатин.— Тоже мне служивый. Сам напугался и других переполошил.

— Вы чего, хлопцы? — высовывается из кабины Никитенко.— А я вам тут подкрепиться привез. Что стряслось?

— Там что-то ухнуло? Да?

— Мина взорвалась. Проезжал мимо, а она, видно, от детонации рванула. Совсем на пределе была старушка.

— Она же могла, пока мы там стояли.— Хатин чуть не плачет.

— Хорошо, что не стали связываться,— хмыкает Гаврилов и садится на подножку трактора.

— Не расстраивайтесь. Держите — хлеб свежий с салом и лук с солью. Съедите по дороге. Айда за прицепом и домой! Веселей, хлопцы. Пока живы — не помрем.

Навстречу им по полю прыгает «газик».

— «Козел»,— говорит Никитенко,— он и есть «козел». Сейчас блеять будет.

«Газик» тормозит резко, но бесшумно. Из машины выскакивает краснолицый капитан с орлиным носом и на бегу кричит с грузинским акцентом:

— А ну вылазь! Я тебе в твои бесстыжие глаза посмотрю. Так и знал, что это ты, Иван, я тебя привлеку к ответственности по всей строгости закона!

— Нет такого закона,— бормочет Никитенко,— чтобы тушеваться перед всяким.

— Ты что там бормочешь?! — Коренастый капитан пританцовывает у самого трактора.— Вылезай, тебе говорю. Посмотри мне в глаза.

— Не кричи! — Никитенко перекрывает кашель трактора.— Чего кричишь?! С такими нервами не сапером служить, а в балете приплясывать. Там трепетность нужна.

— Я тебе покажу балет! Спускайся на землю! Зачем сам взрывал?! Отвечай! Зачем капитана Цхаладзе в известность не ставил? Зачем?!

Капитан снимает фуражку и приглаживает мокрые седые волосы:

— Я тебя спрашиваю? Отвечай!

— Не взрывал,— говорит Никитенко.— Я бы рад, конечно, но только она без меня. Сама.

— Я тебе покажу «сама» по всей строгости.

— Дело было так,— говорит Никитенко.— Ехал я мимо на тракторе.

— Мимо чего? — подпрыгивает капитан.

— Мимо поля. Вдруг слышу, что-то как бабахнет, как загремит. И вижу, земля поднялась так, словно фонтан открылся. Тут я и смекаю: взрыв! Взорвалось, значит, что-то в поле. Ну, думаю, взорвалось и слава богу, что рядом никого не было. И дальше поехал.

— Иван, Иван,— говорит капитан Цхаладзе и садится на подножку «газика».— Ну что ты за человек!

— Алико,— говорит Никитенко.— Спроси ребят. На этот раз я ни при чем.

— Дай честное слово, что не твоя работа,— веселеет капитан.

— Конечно, нет,— говорит Никитенко.— Не моя.

Капитан Цхаладзе вздыхает, надвигает козырек на глаза.

— Алико,— говорит Никитенко,— завези ребят на хутор. И приезжай ко мне обедать. Жена что-нибудь воскресное сготовила.

— Который год с ним ругаюсь,— говорит капитан, подскакивая на переднем сиденье «газика».— Никакой он не блаженный. Упрямый просто. Гнет свое и гнет. Он их, знаете, как рвет? Сует мину в ведро, наливает туда солярки из своей колымаги и поджигает. Потом отъезжает и ждет. Как вам это нравится?! Ну где эта чертова воронка? Притормози.

— Вон там,— говорит Хатин.

— А ты откуда знаешь?

— Мы вместе ехали,— включается в разговор Гаврилов.

Они рассматривают воронку, и Хатин думает, как все мелко и несущественно: и утренняя жеребьевка, и обида на юный возраст, и нежелание таскать помидоры по воскресеньям, и день рождения, и дырка в свитере, и их ссора с Наташей, и его предубеждение против высшего образования, и шутки Гаврилова. Как все это пусто. И была или не была мина, теперь понять непросто. Воронка есть. А мина? Кто его знает? Не докажешь. Только сдвинулось все в душе на одно деление. Это точно.

Настроение Гаврилова еще в «газике» заметно испортилось. Когда вышли из машины, он хлопнул Хатина по плечу:

— Облапошил нас дядя Ваня, как котят.

— Думаешь, взорвал? — спрашивает Хатин.

Гаврилов долго молчит. Вздыхает:

— Не знаю.— И добавляет мрачно: — А способ хороший. Сам бы в жизни не додумался, вот что обидно.

Вечером Хатин думает о том, что раз вокруг так мало героических дел и даже мины теперь рвутся сами, то, значит, в мыслях своих человек должен быть смелым и бесстрашным. И перед сном Хатин мечтает о подвигах.

Яркое аккуратное солнце, собранное в круг, погрузилось за горизонт. Синеют листья винограда, перешептываются над седой головой капитана Цхаладзе.

— Понимаешь, это моя работа,— говорит капитан, наваливаясь грудью на стол.— А ты у меня ее отбираешь. Я же трактор у тебя не краду?

— Нет такой работы, чтобы попадать под обстрел через тридцать лет после залпа. Оно, конечно, работа, но и кое-что еще. Дело в том, что если ты натыкаешься на эту штуку, то уже неважно, сапер ты или тракторист...

— Ну пойми ты, друг любезный Иван...

— Подожди, Алико. Если на тебя во время войны фашист идет, а ты не снайпер, а из отделения связи, так что, и стрелять не надо?! Нет, ты скажи! В том-то и суть, что не бывает такого.

— Так то ж война.

— А мина для тебя — это что, конфетка с фантиком?

— Для меня-то как раз нет,— вздыхает капитан Цхаладзе и поднимает стакан.— Слушай, Иван, я тебя как друга прошу. В следующий раз, когда что-нибудь надумает само взорваться, не проезжай мимо. Находись, пожалуйста, совсем в другом месте. Дома, на огороде, в гараже, где хочешь, только не там, где «бабахает» и «гремит». Ты понял, за что я пью до дна?

— Понял тебя, Алико, чудной человек. Не веришь ты мне.

— Вы не думайте,— говорит жена Никитенко,— Иван мне слово дал. Раньше, бывало, как взорвет — а ведь тут у нас внизу не слышно,— так я всегда узнавала по тому, что является домой и велит звать гостей, собирать пир.

— Сегодня у вас тоже пир, дорогая Татьяна Ивановна.

— Ну что вы, Александр Нодарович. Чем богаты.

— Спасибо,— говорит капитан.— Мне пора.

Гостя провожают.

— Ваня,— тихо говорит жена Никитенко,— я сегодня полдня ведро искала большое, с поцарапанной эмалью. Как сквозь землю провалилось. Ты не видел?

— Возьми новое из погреба,— говорит Иван. Жена садится рядом с ним, он обнимает ее за плечи.

— И когда ты, Ванюша, станешь у меня взрослым. Когда вырастешь?

Иван молчит.

Владимир ТОЛМАСОВ

ОСТРОВ АНХОЛЬТ

Они стояли, широко расставив ноги, и судорожно цеплялись за шершавый от морской соли поручень, закрепленный вокруг кормовой рубки. Корму то подкидывало вверх подкатившим валом, то она стремглав проваливалась в зеленоватую кипень волны, с гулом расплескивая ее, и вся парусная вахта — два десятка курсантов-первокурсников — все, как один, в эти мгновения как-то по-птичьи закрывали глаза.

Было нетрудно догадаться, что у каждого из них в это время все опускалось внутри и предательские спазмы начинали выворачивать желудок.

Корма вновь вздымалась, и тогда они открывали глаза, с любопытством взглядывали друг на друга и смущенно улыбались, хотя стыдиться было нечего: так начинали многие, кто выходил в первое морское плавание, и ничего зазорного в том не было. Кого не скручивала морская болезнь...

Со временем человек привыкает к ней, и нет таких, кто не укачивался бы совершенно: у одних просыпается волчий аппетит, у других он пропадает, людей тянет ко сну или, наоборот, их мучает бессонница, они утомляются или чрезвычайно возбуждаются...

Меня, например, когда качка продолжается изо дня в день, манит койка; хочется полежать, почитать что-нибудь — это отвлекает, внимание переключается на другое, но... какой из меня капитан, если вместо того, чтобы исполнять свой долг и находиться на мостике, я стану валяться в койке с книжечкой в руках. Это даже преступно — нежиться в постели, когда судно штормует; капитан должен, капитан обязан штормовать вместе с судном.

За курсантами на корме, проходившими первую морскую практику на нашем четырехмачтовом барке, я наблюдал с ходового мостика, а качка была вызвана жесточайшим штормом, который обрушился на нас внезапно при входе в южную часть пролива Каттегат. Был декабрь, отмеченный созвездием Козерога и частыми штормами, но почти ураганный ветер, шедший от северо-запада или норд-веста, как говорят моряки, не был предусмотрен никакими прогнозами, и даже подробнейшие факсимильные метеокарты, принятые нашей судовой радиостанцией, ни единым значком не намекнули на близкое светопреставление.

Мой старший помощник, сдавший вахту утром, доложил, что по курсу прелестная погода, и тем внес в душу успокоение.

Погода и в самом деле была ясной и солнечной, но через два часа слабый ветерок, поддувающий в левую скулу барка, вдруг усилился на глазах, засвистал, завыл, загрохотал, и разразился чудовищный норд-вест. Из хаоса звуков выделилась одна пронзи-

тельная нота — она пугала, настораживала, будто предваряя ужас надвигающейся беды. И все это происходило при безоблачном голубовато-белесом небе в холодном сиянии декабрьского солнца.

Крутые злые волны, какие бывают в шторм на мелководье, сплошь покрытые пеной и кое-где просвечивающие бледной зеленью, как бутылочное стекло, с остервенением, тупым упрямством били в борт парусника. Под их натиском барк вздрагивал от носа до кормы и кренился на правый борт. Волны обрушивались на палубу, вода стекала с нее потоками, дробилась ветром и проносилась густой соленой пылью.

Устоять на палубе, не держась за что-нибудь, было невозможно. В помещениях летала мебель, со звоном сыпалась из шкафчиков посуда, катались по камбузу бачки и кастрюли...

Глядя на выправленный рангоут — мачты и реи,— я порадовался про себя, что еще вчера перед тем, как войти в пролив Большой Бельт, приказал убрать все паруса по-походному, то есть уложить и закрепить на реях. Управление судном под парусами в узкостях чрезвычайно сложно: это можно позволить себе, лишь когда ты уверен в опытности курсантов, а такое бывает только в конце практики.

По опыту я знал, что шторм, начавшийся внезапно в подобных условиях, обещает кончиться скоро и резко, но от него можно ожидать всяких дел,— бывали случаи, когда судам, попавшим в такую передрягу, приходилось прерывать рейс и возвращаться в порт на ремонт...

Барк продолжал двигаться вперед, несмотря на то, что скорость его не превышала двух узлов, а порой он попросту топтался на месте, изо всех сил удерживаясь против ветра.

Подлетала чайка и бесстрашно парила над взбудораженным морем; она была совсем близко, и я видел ее круглый агатовый глаз. Чайка наклоняла голову то вправо, то влево, высматривая добычу, вдруг стремглав пикировала и через мгновение тяжело взлетала с добычей — из птичьего клюва, трепеща, торчал рыбий хвост. Ветер подхватывал чайку и относил далеко от судна, но, проглотив рыбу, птица возвращалась снова.

Среди практикантов на корме я заметил знакомую фигуру курсанта Сергея Терехова, сына моряка, с которым мне когда-то привелось вместе плавать по северным морям. Серега съежился, спрятал голову в плечи. Ветер срывает с головы фуражку, но не может унести, так как парень догадался опустить под подбородок штормовой ремешок. Я вижу, как с фуражки у него стекает вода, и тоненькая струйка устремляется прямо за шиворот, и Серега вздрагивает, гримасничая, говорит что-то своему приятелю-однокашнику.

Я смотрю на Терехова и вспоминаю, как впервые увидел его в морской форме и с трудом признал в нем того самого Сережку,

который, бывало, с важным видом, держась за отцовский палец, приходил к нам на судно и с достоинством занимал кресло отца в кают-компании.

...Я сидел за письменным столом в своей каюте и писал какую-то бумагу, когда, постучавшись, вошел Сергей и доложил, что «прибыл по моему приказанию».

Чуть-чуть с креном, как любил носить его отец, сидела на светло-русой Серегиной голове фуражка с маленьким «нахимовским» козырьком, под которым светились голубые глаза. Морская форма на Сереге не морщила, не топорщилась, не висела мешком: тельняшка, как и положено быть у бравого моряка, выглядывала из-под суконной голландки не более чем на три синие полоски, брюки клеш немного не прикрывали носки начищенных ботинок, огнем горела надраенная медная бляха у широкого флотского ремня.

Единственную золотистую «галочку» на левом рукаве, обозначающую, что курсант еще не закончил первого курса, Серега поторопился спороть, потому что она-то и портила все на свете — всякому было видно, что перед ним зеленый первокурсник, салага, и, разумеется, это огорчало Серегу, но нашить сразу две «галочки» он остерегался, так как на второй курс перейдет, когда успешно закончит первую плавательную практику.

— Так, стало быть, ты и есть сын собственных родителей? — спросил я и назвал имена отца и матери Сереги.

— Угу,— сказал он.

— Как устроился?

— Нормально.

— Парусник нравится?

— Большой,— уклончиво ответил Серега. И как язык проглотил.

В наше время мы были более откровенными. Мы называли вещи своими именами — так нас учили отцы, ушедшие на фронт, и матери, тащившие на себе и нас и домашнее хозяйство,— мы восхищались учебным парусником, который был перестроен из грузовой шхуны, и не было для нас милее родного кубрика, переоборудованного из мрачного грузового трюма.

— Ну-ну,— сказал я. И он, наверное, уловил в моем тоне оттенок недовольства, потому что с опаской покосился на меня.— Ты на уроках так же краток?

— В данном случае я не тороплюсь с выводами,— важно ответил Серега.

— Добро,— сказал я,— пока мнение твое окончательно не сформировалось, советую идти в кубрик и сесть за письмо к отцу. Напиши, куда попал на практику, не напутай чего-нибудь да поклон от меня передай. И поспеши, а то можешь не успеть.

Он вытаращил глаза — и куда только важность делась!

— Скоро отход, дядя Витя?!

— Во-первых, я тебе не дядя Витя, а товарищ капитан, или можно еще Виктор Степанович. И ты мне, пока мы на судне, не Сережа, а курсант Терехов. Ясно?

Серега оторопело пробормотал:

— Ясно.

— Во-вторых, сегодня помощник по учебной работе соберет вас в столовой, там и потолкуем про отход. А теперь беги, пиши письмо.

Он, казалось, даже обрадовался, что я его не держу, лихо откозырял и выскочил за дверь...

Барк упрямо преодолевал встречную волну, буквально отвоевывая каждую милю у осатаневшего норд-веста. Под его напором содрогались закрепленные судовые шлюпки, стрелял на одной из них сорванный угол чехла, и пока боцман карабкался в шлюпку, чтобы спасти чехол, парусина была изодрана на полоски.

Я находился в штурманской рубке, когда позвонили из машинного отделения и взволнованный заикающийся голос вахтенного механика прокричал:

— Т-товарищ капитан, у нас пожар! Горят в-выхлопные трубы! То есть подветренная горит от перенапряжения двигателя.

На мгновение я растерялся, затем спросил:

— Где стармех?!

— На объекте пожара!

— Добро! Ликвидируйте пожар силами машинной вахты!

Я вставил трубку прямой связи «машина — рубка» в гнездо, и мысли лихорадочно закружились в голове. Собственно, никакого «добра» не было, а был пожар...

В это время вахтенный помощник с мостика доложил через переговорную трубу, что машина сбавила ход до среднего.

«Так, начинается,— подумал я.— Теперь закуривай...»

Бедствия страшнее пожара для парусника не придумаешь; деревянный палубный настил по всей длине судна, километры смоленых тросов, тысячи квадратных метров парусины — превосходная пища для огня, и поэтому страшное слово «пожар» в первый момент подействовало гипнотически, сковало волю. И только в следующие минуты возник вопрос: как не дать пожару распространиться, локализовать его?

Вера в людей инструкциями не предусматривается, но сколько раз выручала она из беды... Зная, что тушением пожара в машине руководит старший механик, я отказался от первого желания объявить пожарную тревогу. Какую реакцию могла вызвать тревога среди людей, попавших впервые в штормовую передрягу да еще с пожаром, трудно сказать: сам пожар не требовал большого скопления народа в помещении выхлопных труб, где и без того повернуться негде...

«Нужно ложиться на обратный курс, уйти из пролива и отсто-

яться за островом Анхольт, который миновали рано утром»,— решил я и вышел на палубу к рулевым.

Рулевые — двое курсантов-первокурсников и матрос-инструктор — сосредоточенно ворочали огромный штурвал, стараясь удержать судно на курсе.

Штурвал был связан системой стальных тросов с пером руля за кормой, в которое били волны Каттегата.

По тому как рулевые закусывали нижнюю губу, налегая на штурвал, чувствовалось — тяжело им приходится. Я узнал обоих курсантов — они были из группы Терехова: один — небольшого роста с круглым детским лицом, пылавшим на ветру; другой — худощавый, в нахлобученной на глаза фуражке, я помнил, как на собрании он все пытался острить.

Матрос-инструктор, ладно сложенный молодой человек, надежный и опытный, наглядно демонстрировал курсантам, как следует в шторм нести вахту на руле.

Они были настолько увлечены работой, что даже не сразу расслышали приказание «положить руль на борт».

Курсанты очень старались, они буквально висели на спицах штурвала и не могли понять, почему судно, изменив курс градусов на двадцать, дальше не поворачивало. А мне стало не по себе: судно перестало слушаться руля — недоставало мощности двигателей. Оставалось только уповать на то, чтобы ветер не зашел к северу, потому что тогда барк сам собой изменил бы курс относительно ветра и направился к скалистым берегам Швеции...

Я ждал стармеха с докладом в штурманской рубке, облокотясь о край штурманского стола, тяжелого и широкого, как комод, с многими ящиками и отделениями, в которых хранятся карты, пособия и разные мореходные инструменты. Едва стармех появился в дверях, я по виду его понял, что с пожаром покончено.

Стармех вытянул из заднего кармана брюк портсигар и достал сигарету «Прима». Я плавал с ним давно и знал, что он терпеть не мог сигарет с фильтром.

— Порядок,— хрипло сказал он, выпустив струйку дыма, и чуть склонил голову, будто прислушался к чему. Мне было известно, что Николай Васильевич питал прямо-таки профессиональное почтение ко всяким приборам, ко всему, что вертится, грохочет, шумит или зудит. А в штурманской рубке надоедливо ныли и гудели разные навигационные приборы, и Васильевичу это, очевидно, нравилось.

Я смотрел на его закопченное лицо, перепачканную одежду и с досадой думал, что, в свою очередь, ничем не могу его порадовать, потому что с уменьшением числа оборотов двигателей судно перестало слушаться руля и его стало потихоньку сносить на банки Миддельгрунд, находящиеся справа по носу.

— Никто не пострадал? — спросил я.

— Обошлось,— ответил Васильевич и обеспокоенно поглядел на меня.— Я понимаю, с такой скоростью нам не выгрести.

Кивнув, я взял измеритель и подозвал стармеха к карте.

— Видишь? — Я ткнул иглой измерителя в нанесенные на карту банки с двухметровыми глубинами над ними и заглянул стармеху в глаза.— Ты понимаешь, Васильевич, нам нужна скорость, очень нужна.

— Если мы прибавим оборотов, другая выхлопная труба вспыхнет обязательно — она у нас сейчас наветренная. Ремонт подветренной трубы меньше чем через час не сделать.

Я тоже понимал стармеха — он мог бы и не говорить о трубах,— это я его вынудил. Нужно искать другой выход. Оставалась одна надежда, заключалась она в использовании парусов.

— Скажу только тебе, Васильевич,— голос мой звучал слабо и неубедительно,— ветер порывами ураганный, и судно не слушается руля. Барк выбрал себе курс и идет сам собой. Меньше чем через час мы окажемся на банках Миддельгрунд...

Норд-вест в Каттегате разошелся вовсю. Когда я поднялся на мостик, показалось, что он озверел совершенно: корпус судна, вздымаясь на гребнях волн, сотрясался от киля до верхушек мачт и сильно запрокидывался на правый борт.

Ветер гулял по мостику и творил что хотел: заливал соленой водой выносные приборы, забрасывал полы плаща вахтенного помощника ему на голову, рвал одежду с плеч, трепал над мостиком обрывки снастей и шнуров...

Добравшись до лобового фальшборта, ограждающего мостик спереди, я вцепился в него, ощутил под ладонями мокрую шершавую поверхность — морскую соль и порадовался про себя, что не было мороза — вот тогда пришлось бы нам хватить горького до слез.

Я перевел взгляд туда, где справа по курсу торчала темная башня маяка, за ним тянулась далекая, сизая в дымке и рваная по верхнему краю гряда шведского берега, а перед маяком белой, извивающейся как змея лентой пенилась полоса бурунов над каменистыми банками.

— Пеленг на маяк не меняется,— доложил вахтенный помощник Слава Костриков и при этом как всегда хмыкнул. Такая у него была дурная привычка хмыкать, да еще почему-то нравилось ему во время вахты прятать кисти рук в рукава, что придавало ему несчастный вид. Сейчас он так и выглядел.

«Пеленг не меняется,— подумал я.— Так возникает опасность столкновения: два судна идут на сближение, и одному из них надлежит менять курс. А тут курс менять должен только я. Но как?»

Особенности нашего барка мне были знакомы давно. Я знал на этом паруснике каждую щелку, изучил и его строптивый характер — судно, как человек, имеет свой характер, свои особенности поведения при плавании в шторм, во льду, на течении. Например, я знал, что на нашем барке исключалась встреча шторма гру-

дью — судно теряло способность двигаться вперед. Но пролив не море, в нем строго огражденный фарватер, и отклонение от него означает смертельную опасность; вот и сейчас вынесло с фарватера и тащило прямо на банки, отвернуть от которых я не видел возможности. И надо признаться, я проявил непростительную беспечность, понадеялся, что шторм закончится быстро, не сделал поправки на возможную потерю скорости — и, как следствие, возникновение опасной ситуации.

Почему-то в голову лезли способы, уменьшавшие вероятность посадки на мель: вместо того чтобы думать, каким образом заставить судно повернуть назад, я размышлял, что на всякий случай не мешало бы стравить по две смычки якорной цепи — пятьдесят метров с каждого борта,— это помогло бы задержать судно при дрейфе к мели. Я даже позвонил в машинное отделение и сказал, чтобы там проверили работу всех водоотливных насосов. Из-за шума ветра пришлось кричать в трубку, и получилось, вроде бы запаниковал, и сердито, злясь на самого себя, я с лязгом вставил в металлическое гнездо массивную телефонную трубку.

На глаза попался Костриков: у вахтенного помощника был странный отсутствующий взгляд, и я понял, что он слышал мои вопли относительно насосов. Нужно было занять его каким-нибудь делом, не связанным с наблюдением.

— Слава.— Я всегда называл его по имени, когда мы оставались с глазу на глаз.— Слава, прошу вас, найдите вахтенного боцмана и передайте ему, чтобы он собрал парусную вахту к бизань-мачте. Потом пусть поднимется на мостик. И еще, пожалуйста, определите поточнее место судна.

Память вдруг заработала с необычайной торопливостью, словно перелистывались страницы старинной пухлой книги, написанной капитан-командором флота Российского Василием Михайловичем Головниным, с наставлениями, «рацеями», в коих излагались меры, которые надобно принять, дабы избегнуть гибели парусных кораблей.

«Да, конечно же, надо переместить центр парусности судна! Но как? Каким образом? Перемещения можно достигнуть постановкой или подъемом парусов. Попробовать выйти на ветер? — думал я.— Для этого следует переместить центр парусности в корму. Но прямые паруса на второй грот-матче не поставишь — опасно посылать в такой шторм людей на реи. Поставить бизань — кормовой парус? Рискнем...»

Хватаясь за что придется, матросы и курсанты под руководством вахтенного боцмана развязывали на бизань-мачте тросы крепления паруса. Серега был там же. Видно было, как ветер трепал его бушлат, волосы на голове — фуражку, видимо, унесло за борт...

Наконец парус был расшнурован, моряки сползли с мачты на палубу, разобрали снасти и по команде боцмана стали тянуть их, ставить бизань-парус. Нужно было поставить парус раньше, чем

ветер начнет рвать его. И все же ветер оказался быстрее: сначала лопнул один шов, потом другой, и вот уже трещали и хлопали, разрываясь на куски, восемьдесят квадратных метров прочнейшей парусины. И вдруг с пушечным выстрелом парус разлетелся на узкие полоски, и их унесло ветром. Поворот оверштаг — когда судно пересекает линию ветра носом — не удался.

Запомнилось лицо Сереги. Широко раскрытыми глазами смотрел он на меня, будто хотел сказать: что же ты, дядя Витя, товарищ капитан, обмишурился, стало быть...

«Нет, Серега,— мысленно говорил я ему.— Не удался оверштаг — попробуем повернуть через фордевинд, пересечем линию ветра кормой. А для этого нужно центр парусности переместить в нос. Паруса тут не годятся. Снова все разнесет к чертовой бабушке. Капитан-командор в своих «рацеях» поминал про реи, которыми тоже можно сманипулировать».

— Боцман, готовьте реи второй грот-мачты (третья мачта от носа) к перебрасовке. Будем делать поворот через фордевинд! — прокричал я по палубной трансляции.

Боцман, крепкий, плотно сбитый парень, сообразительный и ловкий в движениях, с круглой улыбчивой физиономией и маленькими черными усиками под носом, за которые курсанты прозвали его Чарли, чертом завертелся на палубе. Ему, видно, было неловко за неудавшуюся постановку бизани, и он старался вовсю.

Белая кружевная пена бурунов на банках становилась все ближе. Я взглянул на часы. С момента отдачи приказания боцману прошло пять минут, всего пять минут, но внутренний голос теперь твердил мне, что судно успеет лечь на контркурс.

Лишь наполовину понимал задуманный маневр вахтенный боцман, и совершенно пока не представляли, зачем они будут разворачивать реи, Серега Терехов с товарищами по вахте. Ветер сбивал их с ног, ботинки разъезжались по скользкой палубе, а она выворачивалась, уходила, проваливалась, и нужно было, сохраняя равновесие, растравливать и подбирать мокрые, точно намыленные, снасти, чтобы их не порвало во время поворота. Водяная пыль впивалась в лицо, в руки, которые успели огрубеть и обветриться за несколько дней работы на зимней Балтике, но работа захватывала ребят целиком, не оставляя времени для ее сиюминутной оценки; анализ проделанного, переживания будут потом, а в те секунды шла отчаянная, невероятная по своему упорству борьба со стихией.

Наконец были отданы стопоры брасовых лебедок, курсанты и матросы заняли места у рукояток. Все было готово к повороту.

Пальцы мои закоченели, я едва вытащил из гнезда микрофон палубной трансляции.

— Грота-брасы на левую!

И прежде чем посмотреть на грота-реи, я на секунду задержал взгляд на главной палубе, где в ожидании стояли свободные от вахт курсанты, руководители практики, некоторые члены экипажа.

Напряженные лица, глаза, в которых застыла надежда. Я до боли стиснул челюсти, понимая, чего ждут от меня моряки барка.

Вздрогнули одновременно все шесть грота-рей и поплыли в плавном повороте. Постепенно они приблизились к такому положению, когда всей длиной совпали с направлением ветра, и я дал команду рулевым:

— Руль право на борт!

И началась тяжелая работа рулевых — по тому, как багровели их лица, было видно, сколь нелегко доставался им каждый оборот огромного, в полтора метра диаметром, штурвального колеса...

— Руль право на борту!

— Руль право на борту! — повторил я доклад в микрофон, чтобы слышали рулевые, правильно ли их поняли.

На палубе никто не сдвинулся с места. Одни смотрели, задрав головы, на «колдунчик» — конический флюгер над грот-мачтой, вытянувшийся по ветру, другие — на близкий уже маяк и страшные буруны. Мое внимание теперь было сосредоточено на картушке компаса, поделенной на градусы, которая сначала медленно, потом быстрее, рывками покатилась влево, значит, судно стало забирать правее, повинуясь рулю. Как завороженный глядел я на компас.

Картушка отсчитала десять градусов, пятнадцать, чуть замедлила движение и остановилась, словно раздумывая. Это были трудные мгновения, но дрогнула картушка и вдруг быстро закрутилась, продолжая прерванный бег. Судно, теперь не останавливаясь, покатилось вправо.

— Бизань на левую! На фоке — и первого грота-брасы на левую!

Вот он, долгожданный миг! Подкинутый грохочущим валом барк пересек линию ветра кормой, выходя на обратный курс.

Следя за реями, я стал подавать команды, замечая при этом, как четко и даже с каким-то озорством выполняли их моряки. Да, курсанты этой вахты заслужили право называться моряками.

— Чтобы уйти под Анхольт, нужно держать сто восемьдесят градусов,— сказал появившийся рядом Кострико̆в, будто прочитав мои мысли, и опять хмыкнул.— Это будет точнее. Я только что определил место судна.

— Спасибо, Славик,— поблагодарил я штурмана и сказал рулевым новый курс.

Именно сказал, а не прокричал, потому что вдруг тихо стало на судне — мы ушли под ветер. Шторм подгонял барк, и он мчался на юг, стремясь укрыться за островом Анхольт.

Парусная вахта готовила к подъему носовые паруса.

●●●



Борис СОПЕЛЬНЯК

ЭТИ РАСКАЛЕННЫЕ ДНИ...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Жорка подбросил бутылку, сорвал пробку и потянулся к стакану. Тяжело булькая, водка билась о дно, а горлышко бутылки мелко дребезжало, подпрыгивая на щербатом крае стакана.

— Вот так заваливают хорошие дела,— раздался сиплый тенор.— Вбей в свою нечесаную башку: в нашем деле нужны твердые руки и ясная голова!

Жорка ухмыльнулся, вытер пальцы о пиджак и взялся за стакан. Жилистая рука уверенно перехватила стакан и выплеснула водку на пол.

— Ты чего?! — взвился Жорка.— Чего лапы распустил?! Тоже мне — командир. Интеллигента корчишь, а на мокрое дело слабак. Жорка свое дело знает, и нечего тут огород городить! Я убираю шофера, ты — кассира. И ходу!

— Каменный век,— усмехнулся Сырцов.— Наследить — это, брат, проще простого. Только по этим следам пойдут мильтоны... Да и о себе подумать надо: в случае чего, десять лет отсидки лучше «вышки». Повтори задачу!

— Угнать грузовик,— угрюмо забубнил Жорка,— и ждать у развилки на седьмом километре.

— Все! — поднялся Сырцов.— Жду ровно в одиннадцать.

День только начинался, а жара уже под тридцать. Как и велел Сырцов, Жорка отправился к пивному ларьку у выезда из города. Напротив — больница, рядом — детский сад. Видимо, поэтому ларек и прилегающий скверик стыдливо спрятали за оградой из цветного пластика. Загон плотно забит людьми. У обочины дороги вереница машин.

Жорка стал в очередь и через полчаса получил свою кружку пива. Выпил. Потом вышел из сквера и закурил. В десять тридцать у ларька остановился грузовик с мебелью. Водитель сунулся без очереди, но братья шоферы так его шуганули, что он мигом оказался в самом хвосте... В десять тридцать пять из заляпанного бензовоза вылез пожилой дядька и пристроился последним... Жорка чуточку переждал, уверенно влез в кабину бензовоза, включил зажигание и помчался за город. Без трех одиннадцать был на месте.

Из кустов вышел Сырцов.

— Молодец! — хлопнул он Жорку по плечу.— Открой капот. Хватятся не скоро?

— Минут через двадцать, а то и позже. Уж очень длинная очередь,— ухмыльнулся Жорка.

— Значит, так... Как только появится бежевая «Волга», ты должен выскочить с боковой дороги и врезаться в правую переднюю дверцу: кассир сразу будет выведен из строя. Шофер тоже оклемается не скоро. Я беру мешок с деньгами — и ходу через лес. Рюкзаки и лукошки я захватил, так что сойдем за грибников.

— А... а люди? — сглотнул Жорка.

— Погибнут во время катастрофы. Так что никакого насилия. Но газуй как следует! Чем дольше будут думать, что это дорожное происшествие, тем лучше. Понял?

— Понял... А я думал, ты на это дело слабак.

— Еще не раз передумаешь! — хохотнул Сырцов и приказал: — По местам!

...Из-за поворота показалась «Волга». Скорость — около ста километров в час. Вдруг шофер нажал на тормоза!

— Эй ты, грибник! — закричал он на шагающего посередине дороги человека с лукошком.— Жить надоело?

Сырцов топтался на месте, суетился — отвлекал внимание шофера; уронил лукошко — это был сигнал, и Жорка на предельной скорости выскочил с боковой дороги. Удар был страшен! «Волгу» подбросило, перевернуло.

— Тормози! — крикнул Сырцов.

Жорка выскочил с правилкой в руках и кинулся к легковушке.

— Лихо сработал, профессионально! — похвалил Сырцов.— Поддень-ка дверцу, заклинило.

Кассир и шофер были мертвы. Сырцов схватил портфель с деньгами, отнес в кусты, кликнул Жорку.

— Садись в бензовоз. Ну! — взвизгнул он, заметив Жоркино замешательство.— Гони в лес, прямо по просеке. Километра через полтора свернем в кусты.

Когда бензовоз остановился, Сырцов быстро спустился на землю.

— Теперь так. Облей машину бензином и подожги,— скомандовал он.

Жорка схватил ведро, облил кабину, капот, колеса. Потом достал зажигалку, нажал на рычажок — вылетел огонек и... вспыхнули Жоркины пальцы.

— Тьфу, черт, все руки в бензине! — чертыхнулся он и выронил зажигалку.

Огонь лизнул колеса, перекинулся на кабину и потянулся к горловине цистерны. Не меньше километра пробежали Жорка и Сырцов, прежде чем грохнул взрыв и пять тонн бензина выплеснулись на лес.

— Порядок! — удовлетворенно сказал Сырцов и как-то странно оживился.— Все концы в огне, а это понадежнее, чем в воде! Теперь нам не страшен сам Шерлок Холмс. Заживем, Жорка, сладко заживем! Только не здесь. Знаешь, на чем горели профессора нашего дела? Терпения не хватало: держали при себе все деньги и начинали их транжирить. Мы сделаем иначе — оставим по тысчонке, а остальные спрячем. Положим в несгораемый сейф. Есть тут один... А когда шум стихнет, сходим по грибы... Давай-ка, парень, ноги в руки, а то здесь паленым пахнет!

Торфяники горели третью неделю. Пожар был, правда, небольшой — из тех, что каждый год случаются на торфоразработках. И никто толком не знает, отчего это бывает. Плохо залитый костер, непогашенный окурок, недогоревшая спичка — пустяк, небрежность, но из-за этих пустяков иногда месяцами тлеют целые поля. А в жаркую погоду торф может загореться и сам по себе... Чаще всего такие пожары не тушат: окапывают поля глубокими рвами и дают им выгореть. Но в знойное лето за огнем нужен глаз да глаз, иначе пожар станет неуправляемым...

Директору Озерецкого торфопредприятия было не до пожара. Вчера Анания Лукича Ножкина вызвали в трест и дали такой нагоняй, что он почувствовал: если и на этот раз не выполнит план, «сгорит» его директорское кресло.

«Думай, Ананий, думай! — натужно морщил он лоб, грузно шагая по кабинету.— Как его выполнишь, этот план, если половина машин в ремонте?! Да и трактора, черт бы их побрал, никак

не оборудуются искрогасителями. А на кой ляд они нужны?! Тоже еще придумали инструкцию: без искрогасителей трактора не выпускать — может загореться торф. Как будто он не горит! Десять караванов * уже фукнуло, а в каждом по шесть тысяч тонн сухого торфа... Думай, Ананий, думай! — маялся Ножкин, любовно поглядывая на свое кресло, сделанное по спецзаказу под его семипудовую фигуру.— Для плана нужно пятьдесят караванов, а у меня тридцать,— прикидывал Ножкин.— Десять уже сгорело... Если бы я мог доказать, что сгорело, скажем, тридцать караванов, десять вывез на электростанцию, а десять еще на разработках, все было бы в ажуре! Но как я докажу, что сумел заготовить те самые пятьдесят караванов? А что, если... торф будет добывать Вязьмин? — Ножкина даже в пот бросило, так он обрадовался, что нащупал спасительную идею.— Решено, заключаю договор с Вязьминым! Ему, как председателю колхоза, одна выгода — хлеб убран, техника стоит без дела. Об искрогасителях ни гугу, а то будет валандаться целую неделю. А в случае чего я ни при чем — трактора-то не мои».

Ураган разразился среди бела дня. Еще утром метеорологи предсказывали ясный, солнечный день, к сожалению, без осадков, и вдруг... Первыми недоброе почуяли собаки. Те, которые на привязи, забились в конуру и жалобно скулили. Бездомные носились по улицам и истошно выли... Потом всполошились и тут же потерянно умолкли куры. Перестали чирикать воробьи, куда-то делись голуби.

А лес, еще минуту назад наполненный шумом и гвалтом, обреченно и придавленно затих. Пронзительно-синим стало небо, багрово-красным — солнце. Где-то высоко раздался гул, будто пролетела сотня реактивных самолетов. По вершинам деревьев пробежал ветерок. Качнулись сосны. Затрепетали березы. Зашумели дубы... Ветер стал плотнее. Потом несколько секунд вязкой тишины — и разразился ураган! Он с корнем выворачивал деревья. Срывал крыши домов, переворачивал автомобили, обрушивал мачты электропередачи.

Но самое страшное — ураган раздул пожар на торфяниках. Огонь захватил тысячи гектаров торфяных полей, подобрался к кустарнику и перебросился на лес. Деревья вспыхивали как свечи, сверху вниз. Они не успевали сгореть, а занявшись на мгновенье и подкормив огонь, отпускали его дальше, следом за валом ветра. Чуть позже приходил «низовик». Он брался за дело основательно: набирая силу на лесной подстилке, вгрызался в деревья и выжигал их дотла, вместе с корнями.

Четыре часа продолжался ураган. Потом он выдохся. Из подвалов, погребов, полуразрушенных домов выбирались люди

---

* Караван — хранилище сухого торфа.

и тут же брались за ведра, топоры, лопаты — вокруг бушевал огонь.

Начальник управления лесного хозяйства области Василий Николаевич Козлов застрял в поселке Озерецком. Проснулся он поздно. Вышел в сени — в ведре ни капли воды. Побрел к колодцу. У сруба стоял крепкий, загорелый парень, покрытый синими мурашками.

— Д-давайте еще! — стуча зубами, просил он.

Пышноусый директор леспромхоза поднял ведро и с размаху окатил парня.

— У-ух! Бр-рр! — повизгивал от удовольствия крепыш.

— Простудишься,— улыбнулся Козлов.

— Н-ничего! Зато как огурчик!

Козлов потоптался, попыхтел и решительно снял рубашку.

— Давай, Мироныч, топи начальство! А ты, Тушин, сообрази завтрак,— попросил он парня.

Василий Николаевич охал, фыркал, булькал, а Тушин не мог отвести глаз от его широкой, уже оплывшей спины. Она была в рубцах и шрамах, а красноватая кожа казалась спекшейся.

— Горел я,— пояснил Козлов, заметив взгляд Тушина.— Пять раз горел. Четыре танка сменил на Курской дуге, а пятый под Берлином. Там и расстались с Миронычем...

— Ненадолго же,— бросил директор.

— Надолго нам нельзя, сержант Черных! Из всей роты только мы и уцелели.

— Значит, вы вместе воевали? — спросил Тушин.

— Всю войну в одном экипаже,— разглаживая усы, ответил Мироныч.— А потом я съездил к себе на Енисей, собрал манатки и сюда, поближе к капитану.

— Вот так! — торжественно сказал Козлов.— Так что помни, молодой кадр, твой начальник — лучший в полку механик-водитель, кавалер трех орденов Славы!

За завтраком еще раз обсудили, что делать, чтобы отрезать лес от горящих торфяников.

— Взрывников я пришлю,— обещал Козлов.— Но ты им накажи, чтобы тол не жалели: если канавы будут мелкие, огонь все равно пробьется. Каждый метр траншеи принимай сам или поручи Тушину. Надо обязательно добраться до глины или песка... Ты на пожарах бывал? — обернулся он к Тушину.

— Лесной даже тушил. Практика у нас была на Тунгуске...

— Хорошо,— удовлетворенно кивнул Козлов.— Но с торфом сложнее. Здесь, кстати, и леса и деревни стоят на торфе... Да, так вот можно идти по торфянику и не знать, что под тобой жар, как в доменной печи. Если толщина пласта, скажем, полметра — все просто: он постепенно выгорит, и останется одна зола. А если пласт метров пять-шесть, тогда беда. В воронке накапливается раскаленная масса, а потом вырывается огненным смерчем... Не нравится мне, Мироныч, это лето, ох как не нравится!

— Лето, как говорится, от бога. А вот почему Ножкин не чешется? Сколько караванов загубил! Торф-то в них как порох. Вывезти надо. Не дай бог ветер, да еще в нашу сторону...

Андрей слушал разговоры начальников и ужасно гордился тем, что при нем обсуждают такие важные вопросы. Нравилось Андрею и то, что его называют по фамилии — просто и солидно. А от своей первой должности — исполняющий обязанности начальника технологического отдела леспромхоза — Андрей был просто в восторге!

Старики продолжали обсуждать дела, а Андрей залюбовался Пиратом — красивой и, похоже, смышленой сибирской лайкой. Вот только вел себя Пират странновато: скулил, судорожно зевал, а то вдруг начинал дрожать. Андрей встал, чтобы выпустить собаку, но Пират забился в угол и ни с того ни с сего со всхлипом завыл.

— Что это с ним? — удивился Тушин.

Он обернулся к старикам и не узнал их лиц: оба смотрели на собаку и медленно бледнели.

— Что с вами? Что случилось? — встревоженно спросил Андрей.

— Пока ничего,— облизнув пересохшие губы, ответил Козлов.— Но сейчас случится...

Где-то высоко раздался гул. По вершинам деревьев пробежал ветерок. Потом он стал плотнее, тяжелее...

Мироныч захлопнул ставни, на крюк запер дверь. Гул перешел в рев. Качнулся лес. Деревья мгновенно стали голыми. Больше Андрей ничего не видел. Четыре часа осатанелого свиста, рева, треска, грохота, четыре часа осады в дрожащем и скрипящем доме.

Закончился ураган так же неожиданно, как и начался. Когда вышли на покосившееся крыльцо, по ноздрям шибанул запах дыма.

— В контору? — спросил Мироныч.

— Да,— кивнул Козлов.— Надо связаться со всеми леспромхозами. Телеграфная линия, конечно, порвана... Рация у тебя в порядке?

— В порядке. Пошли быстрее. С кордонов, наверное, уже поступают сообщения.

На столе лежало несколько радиограмм. Ежеминутно радист приносил новые. Черных развернул карту угодий леспромхоза и красным карандашом отмечал очаги пожара. Вскоре карта была как бы обсыпана шрапнелью.

— Видишь, какая картина,— доложил он Козлову.— Очаги в пятнадцати северных кварталах. Все граничат с Озерецкими торфяниками. Так что огонь пришел оттуда.

— Что думаешь делать?

— С этими очагами уже не справиться. Отступлю южнее и буду бить просеку.

— Правильно. Всю технику и людей туда.

— Не забудь прислать взрывников.

— Пришлю. Вертолет я уже вызвал. Определю размеры бедствия — и в город. Надо организовать штаб по ликвидации пожара. Боюсь, что своими силами не управиться.

— Радист принес новую радиограмму.— Черных подошел к карте.— Что за чертовщина?! Очаг в тридцати километрах от торфяников. Откуда он взялся? Ты смотри, у самой дороги, всего в семи километрах от города. Мать твою так, ведь там же семенной сосняк! Мы же двадцать лет создавали этот питомник! Что делать, а? — растерянно спросил он у Козлова.

— М-да, действительно странный очаг. Неужели ураган занес головешку?! Хотя от головешки два квартала не запылают. Придется туда слетать... Вот что, выдай-ка Тушину рацию. Я его там высажу, он разберется что к чему и доложит.

Жорка не на шутку струхнул.

— Ни фига себе запалили! — с хрустом дергая пальцы, повторял он.— Ни фига себе...

Ураган застал их в «сейфе» — старом, заросшем по макушку доте. Снаружи казалось, что это небольшой холмик, увенчанный муравейником, а внутри дот хорошо сохранился: время бетон не тронуло.

— Не канючь! — оборвал Жорку Сырцов.— Такая удача: взять двадцать тысяч и не оставить никаких следов. Думай лучше, как отсюда выбраться.

— Как, как? Дать крюка и выйти на дорогу.

— Нет, на дорогу нельзя. Да и не пробиться, вишь, как полыхает. Надо топать вперед, только вперед. Там огня нету. В Озерецком не бывал? Я тоже. Ничего, сориентируемся. Говорят, большой поселок, оттуда ходят автобусы в город. Когда шум стихнет, сходим по грибы и заберем из «сейфа» всё. А пока по тысчонке. Договорились?

— Давно договорились! — огрызнулся Жорка.— Давай быстрее сматываться, а то пятки спалим.

Шагалось легко. Высоченные желтоствольные сосны, росшие правильными рядами, не задерживали солнца, но и жары не чувствовалось. Пахло хвоей, медом и дымком. Этот запах очень не нравился Сырцову: шли-то против ветра, а пожар сзади. Все чаще стали попадаться завалы — здесь росли деревья помоложе, которые не могли противостоять урагану.

«Наверное, во время бури здорово крутило. Натащило дыма от дороги, и теперь он расходится»,— успокаивал себя Сырцов. Вдруг он прижался к сосне и крикнул:

— Ложись!

Жорка оторопело замер посредине лужайки.

— Ложись! — рявкнул Сырцов и выхватил пистолет.

Жорка шлепнулся на живот и, раздирая кожу хвоей, пополз в сторону.

— Не двигайся!

Раздался рев мотора, и прямо над Жоркой пронесся вертолет.

«Все, хана! — обреченно решил он.— Сейчас сядут». Скосил глаза на Сырцова. Тот стоял, прижавшись к дереву, и не выпускал пистолета.

«Отстреливаться будет,— скучно подумал Жорка.— Ну, уложит пару сыскарей. А что потом? Все равно возьмут. За сопротивление впаяют «вышку». Доказывай потом, что ты не верблюд и стрелял один Сырцов...»

— У-фф, пронесло,— расслабленно улыбнулся Сырцов и почти ласково добавил: — Не будешь слушаться, пришью. Понял? Ты же дуб, карманник. Сам пропадешь и меня погубишь... Так что не рыпайся, делай, что велю. Понял?

Жорка прикрыл рукой мгновенно пожелтевшие глаза и хмуро кивнул. Он сам не понимал, как сдержался и не бросился на Сырцова: Жорка совершенно не переносил угроз. Уж сколько за это били дружки, не помогло. Стоило услышать угрозу, Жорка наливался злобой и кидался в драку.

— Пойдешь впереди,— скривил рот Сырцов.— А то потеряешься или еще чего надумаешь.

Вертолета Козлов не переносил: его так сильно укачивало, что после каждого полета он дня два приходил в себя. Вот и сейчас его начало тошнить, да так сильно, что судорогой сводило живот. Василий Николаевич стыдливо отворачивался, с омерзением подставлял полиэтиленовый мешочек и трудно трясся в приступе тошноты. Но больше всего он страдал от того, что свидетелем его слабости была женщина.

...Когда вертолет приземлился в Озерецком, первой вышла рослая блондинка с клетчатым чемоданом.

— Доктор Матисон,— представилась она.— По распределению из Риги.

Козлов подтянул живот. Черных молодецки распушил усы. А Тушин, как в пропасть, шагнул вперед и протянул руку.

— Андрей Тушин, исполняющий обязанности начальника технологического отдела леспромхоза! — отчеканил он.

— Майга,— улыбнулась девушка, сделала книксен, смутилась и густо покраснела.

Черных оттер плечом Андрея.

— Рад, очень рад, доктор Майга! — умеряя гулкий бас, зарокотал он.— Врачи нам вот как нужны! А вы по какой части?

— По всем! — храбро бухнула Майга.

— Вот это по-нашему,— одобрительно крякнул Черных.

И тут в разговор вмешался Козлов.

— С ожогами дело имели? — спросил он.

— А что, уже есть пострадавшие? — посерьезнела девушка, и в ее речи появился заметный прибалтийский акцент.— Я с вертольота видела... как это... большой пожар.

— Пострадавших пока нет. Но будут, обязательно будут. Так что готовьтесь...

— Но у меня ничего нет,— растерянно развела она руками,— ни инструментов, ни лекарств.

— У нас тоже мало что найдется,— вздохнул Черных.— Не ждали пожара-то...

— Тогда сделаем так,— деловито решил Козлов,— летим в город, снабжаем вас всем необходимым и снова забрасываем сюда. Годится?

— Годится,— тряхнула янтарной копной волос Майга и поднялась в вертолет.

Укачивать начало не сразу. А когда Козлов почувствовал, что его вот-вот разберет, подозвал Тушина.

— Сядь рядом. Возьми карту и отмечай очаги пожара. Если я отключусь, не обращай внимания.

— А что, вам плохо? — встревожился Тушин.

— Я сказал, не обращай внимания и делай свое дело,— сквозь зубы процедил Козлов и схватил полиэтиленовый мешочек.

Дымились тысячи гектаров торфяных полей, полыхал лес. Несильный, но устойчивый северный ветер гнал огонь в глубь леса. Мелькали узенькие речки — для огня они не препятствие. А вот и гордость Мироныча — семенной питомник. Да, такую сосну поискать... До самых сумерек кружил вертолет над обреченным лесом. Приземлились на крошечной поляне.

— До свидания! — крикнул Тушин и тронул девушку за плечо.

— Что? — не расслышала Майга сквозь рев двигателя.

— До сви-да-ни-я!

— Да-да! — улыбнулась Майга.— До свидания!

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Пять колхозных тракторов отрезало огнем. Они долго ползали по полю, натыкаясь на горящие караваны, пятились назад, съезжали в канавы, наполненные раскаленным торфом. А там, где проходил трактор, тут же возникал новый очаг пожара: у выхлопных труб не было искрогасителей.

Трактористы совсем отчаялись. Сбились в круг. Остановились. Все на одно лицо: обожженные, чумазые, со слезящимися от едкого дыма глазами.

— Так дело не пойдет,— рассудительно сказал один.— Мечемся, мечемся, а горючего все меньше.

— А как пойдет? — сорвался на крик другой.— Тебе что, два дня до пенсии. А я, может, жениться собрался!

— Цены не будет такому мужу,— хмыкнул третий.— Огни, можно сказать, прошел. Остался пустяк: воды да медные трубы.

— Что ты хихикаешь? Сгорим ведь! Или задохнемся...

— Без паники! — сурово сказал первый.— А то помрем раньше времени. Выхода у нас нет, надо пробиваться. Вот только в какую сторону?

— Я думаю, на север. Оттуда ветер,— предложил кто-то.— Хоть там и сильный огонь, за ним чистая земля, торф-то уже выгорел.

Помолчали. Подумали. Сели в кабины и двинулись на север.

Переночевал Тушин под старой елью. А на рассвете развернул рацию.

— Клен, Клен, я — Кедр. Как слышишь? Прием.

— Я — Клен,— отозвался радист.— Слышу хорошо.— И вдруг крикнул: — Погоди, Кедр, тут начальник трубку рвет!

— Тушин, где ты? Тушин! — раздался голос Черных.

— Недалеко от бетонки.

— Как питомник?

— Горит. Сильно горит. Боюсь, как бы огонь не перекинулся через дорогу.

— Ты там не бойся,— подбодрил Черных.— С твоей фамилией бояться нельзя. Козлов сообщил, что из города выехала пожарная команда и много добровольцев. Иди им навстречу, присоединяйся и руководи. А то ведь с лесными пожарами они дела не имели, растеряются...

— Есть, руководить! — отчеканил Тушин.

— Ну вот, другой разговор. А то — боюсь.

Андрей выбрался на дорогу и пошел в сторону города. На повороте наткнулся на милицейскую машину. Пятеро в форме топтались около покореженной «Волги», что-то обмеряли, фотографировали...

— Здрассте! — остановился Тушин.

— Проходите, проходите,— отмахнулись от него.— Не мешайте.

— А мне спешить некуда! — разозлился Андрей.— Мне пожар тушить! Пожарных тут не видели?

— Видели. Они ближе к городу... Капитан Савинов, инспектор угрозыска,— представился один из милиционеров и внимательно посмотрел на Андрея.— Документа какого-нибудь не найдется? — как бы извиняясь, спросил он.

— Найдется... Понимаю, служба.

Савинов, взглянув на удостоверение Тушина, вернул его и сказал:

— Только к «Волге» не подходите, следы затопчете.

— А что случилось-то?

— Убийство.

— Ого! А я думал, дорожное происшествие.

— Ладно, Тушин, иди туши... А мы тут повозимся.

Тот, кто давно работал с Савиновым, знал: если капитан оживлен и весел, значит, дело — швах. Последний раз его видели таким три месяца назад, когда два молодых сотрудника упустили опасного рецидивиста Краба.

Три месяца Савинов был спокоен и сосредоточен: все шло к тому, что он вот-вот выйдет на след убийцы. А тут вдруг снова оживился. Савинов действительно был в полной растерянности. Ведь все, кажется, просто: грузовик врезался в леспромхозовскую «Волгу», перевернул и столкнул в кювет. Потом кто-то взял деньги у погибшего от столкновения кассира и удрал. И не просто удрал, а уехал на ЗИЛе. Следы ведут в лес, но туда не сунешься — пожар. А действовать надо быстро. По сводке ГАИ значилось, что угнан бензовоз марки ЗИЛ. Шофер сам заявил о случившемся.

«Веселость» Савинова нарастала: за день дело нисколько не продвинулось. Вечером он позвонил в лабораторию и попросил как можно тщательнее исследовать помятые дверцы «Волги»: какой частью ЗИЛа нанесен удар, нет ли следов краски, ржавчины или какой-нибудь другой «визитной карточки» грузовика. Потом вызвал помощника и велел пригласить в управление шофера пропавшего ЗИЛа.

Тем временем Тушин сражался за дорогу. Еще утром вместе с добровольцами приехал Козлов.

— Принимай командование,— сказал он.— Задача: не пропустить огонь к городу. Постарайся сохранить дорогу. Это как на войне: тот, кто оседлал дорогу, хозяин положения. А городу без этой бетонки нельзя.

Человек двести добровольцев жались кучками на дороге и испуганно поглядывали то на Андрея, то на зловеще дымный лес. «Елки-палки, что с ними делать?» — растерялся Тушин и неожиданно для себя гаркнул:

— Слушай мою команду-у!

Добровольцы встрепенулись.

— В одну шеренгу станови-ись! Быстра-а-а!

Люди обрадованно забегали, засуетились: слава богу, нашелся человек, который знает, что делать.

Не выпуская инициативы, Андрей продолжал:

— Положение очень серьезное. Огонь уничтожил сотни гектаров леса. Горят и торфяники. Они-то больше всего опасны: и лес, и деревни, и вот эта дорога — все на торфе. Наша задача — выкопать заградительный ров. Если огонь перекинется на ту сторону дороги, он может добраться и до города. Все. За работу!

Пока ветер дул со стороны дороги и огонь несся в глубь леса. Но в любую секунду ветер мог перемениться. Андрей прикинул:

если подобраться поближе к очагу, выкопать не ров, а метровые ямы, заложить в них тол и рвануть — получится глубокая траншея. Да и часть деревьев рухнет. Потом их можно оттащить — вот тебе и мертвая зона.

Сперва сняли дерн. Потом начали ковырять вязкую землю. Непривычные к такой работе, люди тут же набили мозоли, но никто не бросил лопату... Взрывники долго возились с толом, а когда ахнуло, оказалось, что они неправильно рассчитали заряд: взрыв получился на выброс. До глины траншею пришлось углублять вручную.

Прошел час... два... три. Ветер утих. А потом потянул из глубины леса. Андрей вскарабкался на сосну: широким, многокилометровым фронтом катил вал огня. Пока он был далеко, километрах в трех. Но самое страшное — справа и слева огонь двигался быстрее, видимо, там места посуше. Так пожар мог зажать людей в полукольцо. Если отступить, он перережет дорогу сразу в двух местах.

«Надо бы выйти навстречу, параллельно дороге пробить просеку и от нее пустить встречный пал. Именно так остановили пожар на Тунгуске... Да, но тогда погибнет весь питомник. Нет. Так дело не пойдет, здесь не тайга!» — решил Андрей. И тут он увидел вертолет. Когда из кабины вышел желто-зеленый Козлов, Андрей понял, что участь питомника решена.

— Штаб постановил,— пряча глаза, сказал Козлов,— пустить встречный пал. Надо сохранить дорогу. А сохраним дорогу, не пострадает и молодняк по ту сторону бетонки.

Оба понимали, что тому молодняку расти еще лет двадцать, пока он станет лесом, но другого выхода не было.

— Так что бери людей с пилами и топорами, пробирайся на этот рубеж,— он черканул по карте,— бей просеку. Я останусь у дороги. Теперь штаб будет здесь.

Эта ночь могла быть последней для поселка Озерецкий. Около полуночи огонь подобрался к огородам, перекинулся на заборы. Занялись сараи. Кто-то очумело колотил в обрезок рельса и кричал:

— Все к нефтебазе! Все к нефтебазе!

Люди выскакивали из постелей, хватали топоры, ведра, лопаты и бежали к нефтебазе. Все понимали: если взорвутся цистерны с бензином и соляркой, от поселка не останется и следа. Огонь был в ста, а местами в пятидесяти метрах от нефтебазы. Горела земля. Дымилась роща, в которой стояли цистерны.

— Которые с топорами, ко мне! — перекрывая гул пожара, кричал Черных.— Вали деревья, руби, пили! Куда лезешь? Отдай топор. Отдай, тебе говорят! Не бабье это дело. Всем отдать топоры мужикам поздоровее!

Человек тридцать взялись за топоры, остальные — за пилы. Женщины разобрали лопаты.

— Не жалей спину, бабоньки! Копай глубже, до глины!

Звенели топоры. Визжали пилы. Клацали лопаты. С пушечной пальбой падали деревья. Совсем рядом гудел верховой пожар, его смрадное дыхание перехватывало горло — и не столько зноем, сколько застарелым страхом перед стихией. Но люди снова и снова набрасывались на деревья и торфяной порох, рассыпанный под ногами.

Новая беда: огонь подобрался к поваленным соснам.

— Ножкин! — закричал Черных.— Ножкин, ты здесь?

— Тут я, тут! — откликнулся Ножкин, не выпуская пилы.

— Видишь, что творится?! Гони сюда трактор. Цепляй деревья и волоки подальше от цистерн.

— Они без искрогасителей! Как бы беды не вышло!

— Гони, тебе говорят! Раньше надо было думать о гасителях!

А по земле змеились ручейки огня. Траншею пробить не успели, огонь прополз в глубине торфа и вынырнул за спинами людей. Пришлось отступать и снова вгрызаться в землю.

Тем временем подтянули шланги от пруда. В канавы, выкопанные вокруг каждой цистерны, пошла вода. Торф был сухой, вода уходила, как в песок, но чем больше ее впитывалось, тем влажнее становился торф, тем больше шансов, что он не загорится.

Подошли тракторы и оттащили тлевшие сосны. А «верховик» набирал силу, приближаясь к нефтебазе. Вдруг кто-то крикнул:

— Дома горят!

Все оглянулись: верно, занялись две крыши.

— Ножкин! — гаркнул Черных.— Бери десять человек — и в поселок.

— Не могу! — огрызнулся Ножкин.— Мое дело — торфяники. За них и спросят.

Черных вдруг умолк. Насторожился:

— Чуешь, как воет. Сейчас примчится...

С гулом и треском вырвался из глубины леса «верховик». Споткнулся о пустоту. Бросился влево, вправо. Попытался прыгнуть по воздуху — не хватило сил, огонь зашипел и ушел в землю.

— Успели,— устало улыбнулся Черных.— И так будет везде,— погрозил он огню.— Прибежишь, а жрать-то нечего. С голодухи полезешь в землю, а мы тебе паек: слопаешь, что под тобой, и баста! Канав нароем, траншей, воду пустим... Ничего, не таким разбойникам руки вязали.

Оставив человек тридцать с наказом не пропускать огонь под землей, Черных ушел на другую сторону поселка, к торфяникам. Здесь дело обстояло не лучше.

— Ну что, Ножкин, говорил я тебе: вывези караваны, окопай очаги. Говорил? А ты все о плане бубнил. Фукнул теперь твой план.

— Фукнул. Сорок караванов псу под хвост. Представляешь,

сорок караванов! Вывезти успел только десять,— вдохновенно врал Ножкин.— Эх, если бы не ураган!

— Если бы да кабы! Понимать надо, с чем работаешь,— это же почти порох.

— Ты вот что, ты свое дело понимай! А я как-нибудь сам разберусь, где порох, а где... И не командуй! Иди в лес и ори, пока не охрипнешь! А здесь я хозяин! И в советчиках не нуждаюсь. Послушаешь: все только и пекутся об общем благе, а как перед начальством отвечать, так в кусты. С кого будут стружку снимать за этот пожар? Может, с боженьки? Черта с два! Ты-то себя застраховал, что ни день строчил жалобы: Ножкин, мол, не принимает мер... Ну и катись отсюда к чертовой матери! Сам буду расхлебывать... И не считай меня дураком. Что делать, я без тебя знаю: будем окапываться. Не сумеем окружить поселок канавой, сгорим.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

На рассвете набежали тучи. Трактористы стояли у самой кромки огня и с надеждой смотрели на небо.

— Эх, дождичек бы!

— Грозу с хорошим ливнем, вот что надо.

— Треп все это, треп! Никакого ливня не будет! Пропадем!

— Тихо ты, жених! Не пускай пузыри! Значит, так: всем надеть фуфайки, шапки, рукавицы. Все пропитать водой. Баки с горючим обернуть мокрой кошмой. Пойдем в шахматном порядке. Друг друга из поля зрения не терять! Не тормозить ни при каких обстоятельствах. Ну, полный вперед!

Трактористы разошлись по машинам. Они понимали, на что идут. Не каждый смог нажать на педаль газа, когда гусеницы коснулись раскаленной лавы. У кого-то рука потянулась к тормозу, кто-то закрыл глаза, кто-то с ужасом подумал, что теперь отступать некуда... Но именно потому, что отступать было некуда, трактористы, сцепив зубы, бросили машины сквозь огненно-дымную стену.

Минуты две было темно. Потом дым рассеялся, показалось солнце. Нет, не солнце! Желтоватое сияние шло снизу, от раскаленного торфа. И так до самого горизонта.

Раскалились рычаги управления. Вздулась кожа рук. Начали тлеть фуфайки. Потрескивали и опадали брови и ресницы. Но тракторы на предельной скорости шли впред. И вдруг канава! Один трактор не успел отвернуть и завалился на бок. Водитель выскочил на капот. Спуститься на землю невозможно — тут же вспыхнешь. Его заметили: подрулил кто-то из товарищей, и он перепрыгнул на его трактор... Вскоре потеряли вторую машину — она попала в глубокий ров.

Горизонт потемнел. Неужели проскочили?! Неужели вырвались на чистое поле?! Все ближе темная полоса. Так и есть, не тронутое

огнем поле, даже кусты целые! До отказа выжаты педали газа. Обгоняя друг друга, тракторы неслись вперед. И вдруг перед передним вспучилась земля! Бешено вертелись гусеницы, все выше задирался капот, все круче становился отливающий вишневым светом бугор. Трактор покатился назад: надо обогнуть этот странный пузырь. Но было поздно. Пузырь лопнул, земля расступилась, и откуда-то из глубины с нарастающим свистом начал подниматься огненный столб. Он поднимался, поднимался, пока не достиг стометровой высоты. Потом опал и закружил по полю яростным смерчем. Передний трактор вместе с двумя водителями он слизнул сразу. Два других, пылая факелами, мчались вперед.

Когда они ткнулись в черную землю, из кабин вывалились люди. Падая, спотыкаясь, помогая друг другу, они бежали и бежали, стараясь уйти подальше от машин. Не прошло и минуты, как сзади грохнуло — взорвались баки с горючим.

Ровно в восемь Савинов был в управлении. Несмотря на жару, он не открывал окон кабинета: пожар подступил так близко к городу, что улицы затянуло дымом. Народу у железнодорожных и авиационных касс стало больше, чем обычно. Появились очереди в аптеках и поликлиниках.

Принесли результаты экспертизы.

— Так, это уже кое-что! — обрадовался Савинов и вызвал дежурного.— Шофер здесь?

— Так точно.

— Приглашай.

Водитель бензовоза рассказал, что он ездил на бетонный завод и заляпал машину. А экспертиза точно установила: на дверце «Волги» крупинки бетона. Но допрос шофера ничего не дал. Нехорошие предчувствия закрались в сердце, когда Савинов узнал, что цистерна была до краев наполнена горючим. Все сводилось к одному: надо искать бензовоз, без этого дело не сдвинется с мертвой точки.

Савинов поехал к месту катастрофы. Чем ближе к седьмому километру, тем гуще дым, тем труднее дышать. Слезятся глаза, дерет горло. Мотор, и тот начал чихать. На левой стороне дороги — силуэты людей, методично взмахивающих лопатами. Кто-то крикнул в мегафон, чтобы все ушли за шоссе. Натыкаясь друг на друга, люди выбрались из рва. Из-за кустов выполз военный траншеекопатель и начал вгрызаться в землю. Чуть в сторонке размахивали ковшами экскаваторы. По обочине тянулись водопроводные трубы.

Капитан никак не мог найти место, где вчера стояла разбитая «Волга». Не осталось никаких следов и от колес бензовоза.

На ступеньке машины сидел полный человек в обгоревшем ватнике, а над ним склонилась рослая блондинка и бинтовала руку.

— Потерпите. Пожалуйста. Еще немного... Вам надо в больницу,— уговаривала она с заметным прибалтийским акцентом.

— Какая больница?! — кривился от боли Козлов, капитан едва узнал его.— Зачем больница, если с нами доктор Майга?

— Все шутите. А у вас ожог второй степени... Простите, пожалуйста, а где этот парень... Тушин, да? — как бы невзначай спросила она.

— Там,— показал он на дымящийся лес.

— В огне? Сгорел? — отшатнулась Майга.

— Разве такой сгорит! Работает наш Тушин, просеку бьет. Если «десантники» сделают ее вовремя, пустим встречный пал — тогда пожару крышка. Я как раз туда собираюсь, надо подбросить подкрепление. Знаете что, доктор, давайте-ка махнем вместе — наверняка там есть и угоревшие и обожженные.

Майга засияла! Козлов понимающе улыбнулся и пошел к вертолету.

— А что тут делает угрозыск? — узнал он капитана и протянул здоровую руку.

— Как всегда, ищет,— ответил Савинов.— Нельзя ли и мне прокатиться на вашем вертолете?

— На просеке ваших клиентов нет! — сухо сказал Козлов.— Там добровольцы.

— Не сомневаюсь,— кивнул Савинов.— Я не к ним. Мне надо посмотреть на лес.

И вот Савинов в воздухе. Позади неширокая полоса догорающих сосен. Потом — километра полтора нетронутого леса. А вот и просека: узкая полоска голой земли. Снова участок нетронутого леса, а дальше, на сколько хватает глаз, все затянуто дымом, сквозь который пробиваются желтые языки пламени.

Когда высадили людей и полетели назад, Савинов попросил снизиться и взять чуть севернее. Дыма здесь меньше, зато огня больше. До самого горизонта — черные колья недогоревших сосен. Взяли еще севернее: здесь пожар устойчивый, давний, выгорело все до травинки, и земля была совершенно голой.

— Стой! — крикнул Савинов и вцепился в плечо пилота.— Что это?

— Похоже, какие-то железяки... Вроде бы остатки цистерны.

— Бензовоз! Нашелся! Садись! — приказал он пилоту.

— Да вы что?! Там же земля горит.

— А если по веревочной лестнице? Я спущусь...

Пилот молча развернул машину и повел к дороге.

— Какой хоть квартал? — спросил Савинов.

— Восемнадцатый.

— Лети по прямой и засеки расстояние до бетонки.

— Это можно,— кивнул пилот.

Оказалось, что бензовоз всего в полутора километрах от дороги, но преодолеть их можно только по воздуху: вокруг горящий лес да раскаленный торф.

Бензопилы вышли из строя. Топоры затупились. Руки в волдырях. Волосы опалены. От чада раскалывается голова. Но просека двигалась вперед! До речки три километра. Главное — пробить просеку до воды, потом можно очистить берега и безбоязненно пускать встречный пал. Но три километра — это три километра.

Когда вертолет подбросил подкрепление, работа пошла живее. Одни валят сосны, другие их оттаскивают, третьи очищают от сучьев. Последнее считалось самым легким делом, и этим занимались раненые. Майга начала с них. Смазывала и бинтовала ожоги, заклеивала пластырем раны, давала лекарства угоревшим. У двоих отняла топоры и заставила лечь на бугорке, чтобы обдувало: парни так наглотались дыма, что едва держались на ногах.

Трещали сучья, с грохотом падали деревья. На близкий гул пожара не обращали внимания: только бы добраться до речки! И вдруг Майга увидела Тушина.

— Майга?! — оторопел Тушин.— Как вы сюда попали?

— С неба. Попросила вертолет и свалилась на вашу голову, да?

— Что вы, что вы! — смутился Андрей.— Я очень рад. Но здесь опасно.

— Вот и хорошо. Вы знаете клятву врачей? Врач должен быть там, где больше всего нужен. Может быть, я здесь не нужна? — кокетливо спросила она.

— Нужны. Очень нужны! Я рад, ей-богу! Но вы... никуда не уходите с просеки. Обещаете? А то можно потеряться в дыму. Мне надо бежать. Извините,— виновато улыбнулся он.

У вертолета стоял Козлов и озабоченно изучал карту. Тушин сразу понял причину его озабоченности.

— Я тоже так думаю! — напористо сказал он.

— Как так?

— С просекой можем не успеть. Надо послать людей к речке, пусть рубят нам навстречу. И вообще надо спешить — «верховик» совсем близко.

Около пострадавших появилось двое обожженных, оборванных мужчин. Майга быстро закончила перевязку и пошла им навстречу. Те покорно позволили себя усадить, и Майга принялась за их раны. Когда бинтовала голову, один нехорошо выругался.

— Слабак,— сиплым тенором бросил другой.— Сиди не рыпайся! — повысил он голос, заметив, что перевязанный хочет встать.

Как только Майга отошла, Жорка подобрался к Сырцову и зашипел:

— Ну что, командир, куда привел? Где твой поселок? Где автобусы? А может, разыщем лукошки да по грибы? — хохотнул он.— Пока не поздно, неплохо бы наведаться в «сейф», а то ведь

огонь ничего не помилует. Вот будет хохма, если пропадут заработанные денежки!

— Не рыпайся,— устало сказал Сырцов.— Сиди и не рыпайся. Кто знал, что разгуляется такой пожар?! А насчет «сейфа» ты прав... Чуток оклемаемся и двинем к доту.

— А может, завтра? С утра пораньше... Уже смеркается, не заблудиться бы впотьмах-то.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

У Черных остался один ус. Сам он едва держался на ногах, тяжко кашлял, хромал на обе ноги, но продолжал руководить обороной поселка. Со стороны леса угрозы не было: окопались, вырубили деревья — и огонь отступил. Но взбесились торфяники. То здесь, то там взметались смерчи, вспыхивали караваны, а посвежевший ветер гнал огонь и горы раскаленного торфа на поселок.

Как ни противно было, Черных все же пошел к Ножкину. Тот сидел в своем знаменитом кресле, заполняя его всего на две трети: за время пожара он заметно осунулся и похудел.

— Ты только не думай, что я лезу в твое хозяйство,— стараясь быть сдержанным, начал Черных,— но так получилось, что судьба поселка в твоих руках.

— Интересно,— привстал Ножкин.

— Ветер дует с торфяников, один за другими вспыхивают караваны. К тому же раскаленный торф несет на поселок. Не дай бог ветер усилится, завалит Озерецкий, как Помпею. Давай убьем сразу двух зайцев: мобилизуем весь транспорт и вывезем караваны, которые близко от поселка. Если спасем хотя бы штук двадцать, увидишь, тебе скажут спасибо.

— Значит, первый заяц — безопасность поселка, второй — моя репутация, так? — усмехнулся Ножкин.

Черных кивнул.

— Никому еще не удавалось убить сразу двух зайцев! — назидательно поднял палец Ножкин.— Так что гонись за одним. Что от меня требуется?

— Отдай в мое распоряжение транспорт и рабочих. И нарисуй, где стоят караваны.

Ножкин взял карандаш. Он понимал, что сам себе подписывает приговор, и все же старательно разлиновал чистый лист, пронумеровал поля и поставил крестики там, где должны быть караваны.

Снова закипела работа. На поля вышли грузовики, тракторы с прицепами, экскаваторы. Привычно урчали моторы, лязгало железо, покрикивали шоферы, торопя экскаваторщиков. А из глубины полей валил дым, да такой густой, что машины ездили с зажженными фарами.

У самой околицы все, кто мог держать лопату, копали загра-

дительный ров. Изнывая от какого-то непонятного чувства и не находя себе места, Ножкин бродил от одной группы к другой, покрикивал, командовал, а то вдруг садился на землю, обхватывал голову руками и, морщась, как от зубной боли, раскачивался из стороны в сторону. Наконец он взял лопату и начал копать вместе со всеми. А потом на него напала апатия. Он вяло тыкал лопатой, вытирая слезящиеся глаза, пил теплую воду и с некоторой долей любопытства ждал конца. Когда несли обожженного или угоревшего человека, Ножкин отворачивался — это зрелище не для него. Но когда из-за дымной стены вынырнули трое спотыкающихся людей и, улыбаясь, пошли прямо на него, у Ножкина подогнулись ноги. А трое шли, шли и шли... Сбежались рабочие, подхватили их под руки. Оказалось, что это колхозные трактористы.

— А где же остальные? — боясь ответа, спросил Ножкин.— Вас же было пятеро.

Трактористы не стали отвечать. Они встали и, поддерживая друг друга, побрели в поселок.

Ножкин смотрел на них, и что-то мутное, тяжелое поднималось в душе. Ему хотелось рвануть рубаху, закричать, что это он во всем виноват! Но мозг, его осторожный, изворотливый мозг, тут же заглушил голос сердца: «Идиот! Раскис, рассиропился! Возьми себя в руки! Все обойдется. Не впервой...»

И все же Ножкин «рванул рубаху». Он разыскал Черных.

— Вот что, Мироныч,— не пряча глаз, сказал он.— Дальше людей не посылай. Эти пять караванов — все, что у меня есть.

— Как это? — не понял Черных.

— А так. Нет, и баста! Когда все уляжется, я расскажу. Много чего... надо рассказать.

Ножкин круто повернулся и пошел к соседнему каравану. Вдруг совсем рядом вырвался смерч! Он изогнулся гигантской запятой и пошел кружить по полю. Шоферы выскочили из машин и что есть духу припустились к поселку. Все бежали, а Ножкин стоял как вкопанный: он не мог оторвать глаз от смерча, который все ближе подбирался к красному ЗИЛу, предназначенному для перевозки взрывчатки,— пять тонн тротила было в его кузове. Похолодело в груди. Защемило глаза. «А-а, пропади все пропадом!» — решил вдруг Ножкин и прыгнул в кабину ЗИЛа. Смерч совсем близко, а он не может выжать педаль сцепления. «Вперед, Ножкин!» — приказал он себе и нажал на педаль.

Машина рванулась вперед. Она неслась в глубь полей, все дальше и дальше от поселка. А вокруг кружил смерч. Все сильнее вишневое сияние, все жарче в кабине. Рывок — и смерч проскочил мимо! Но огонь снова погнался за машиной. Он обрушивался сверху, зажимал в кольцо, подкарауливал в канавах... Когда у самых колес вспучилась земля, Ножкин успел подумать, что сейчас вырвется новый смерч, но это не опасно — машина уже далеко от поселка.

Теперь Савинов знал, что делать. Он слышал, что уже прибыли горноспасатели. Капитан отправился к ним. Крепкие, коренастые ребята собирали какую-то диковинную машину с широким раструбом.

— Что это? — спросил он у командира.

— Пеногенератор. В шахтах тушит любой пожар.

— На наш лес пены не хватит.

— И не надо... Мы заполним просеку, от которой пустят встречный пал. Гарантирую, ни одна искра сквозь вал пены не пробьется. А то ведь, знаете, как бывает: пустят пал, а ветер возьмет да изменит направление — самих себя можно сжечь и запалить новый пожар.

— А костюмы привезли? — с надеждой спросил Савинов.

— Какие костюмы?

— Ну эти... забыл, как называются. Читал, будто в них можно входить чуть ли не в доменную печь.

— Привезли. Но газотеплозащитные костюмы здесь не нужны.

— Нужны. Очень нужны!

Савинов торопливо рассказал, что произошло на седьмом километре, сказал и о том, что с вертолета видел остов сгоревшего бензовоза.

— Все ясно. Савчук! — подозвал командир чернявого парня.— Пойдешь с капитаном. Помоги надеть костюм и объясни, что к чему, а то, чего доброго, задохнется.

Через полчаса в горящий лес вошли два человека в костюмах, похожих на космические. Блестящие комбинезоны из алюминизированной ткани, скафандры, баллоны с кислородом — все это так подействовало на добровольцев, что они перестали копать канаву. Такого еще никто не видел: люди шли сквозь огонь.

Сначала впереди шагал Савчук. Потом он махнул Савинову: давай, мол, показывай дорогу. Савинов еле волочил ноги. Тяжелый костюм, баллоны да огромные сапожищи... С непривычки трудно дышать: воздух острый, щиплющий горло. Савчук догнал капитана, заглянул в глаза, похлопал по плечу — все в порядке, пошли дальше.

Идти пришлось по горящему торфу. Ноги почти по колено проваливаются в раскаленную массу, а когда выдираешь сапог, вылетает сноп искр. Наконец добрались до машины. Савинов остановился и придержал Савчука: близко не подходи, а то ненароком затопчешь следы. Капитан осмотрелся. Всюду — черные остовы сосен. Вокруг машины они повалены веером. Значит, был сильный взрыв. Да и цистерну разнесло пополам и отбросило метров на тридцать.

Савинов подошел ближе. Шины сгорели, номерные знаки оплавились. А вот номер шасси виден: точно, это тот самый бензовоз. Капитан снова и снова осматривал остов машины. Никаких следов столкновения. Но почему все-таки она загорелась?... Подошел

Савчук и постучал по баллону: кислорода, мол, в обрез, только на обратный путь. Савинов досадливо отмахнулся. Савчук решительно потянул за руку.

«Ничего не поделаешь, придется подчиниться,— вздохнул капитан.— Ладно, зарядим баллоны, приду снова». И вдруг на черной, выжженной земле что-то сверкнуло! Савинов осторожно ковырнул ногой — какая-то железячка. Поднял. И снова огляделся по сторонам, будто убийца мог быть рядом. На толстой перчатке лежала... зажигалка. Савинов сразу заметил, что ее колпачок открыт. Значит, машину подожгли!

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Рано утром на просеку прилетел Козлов.

— С прибытием в пекло! — приветствовал его осунувшийся Андрей.

— Да, в аду, наверное, не жарче.

Козлов с неожиданной для себя нежностью посмотрел на Тушина. «Вот так становятся мужчинами,— подумал он.— Мы — на войне, наши дети — на пожаре. А что, наверное, каждому человеку нужен свой пожар, потоп или что-нибудь в этом роде».

— Как обстановка?

— У нас есть полдня, не больше! — заявил Тушин.— Если не успеем пробиться до речки, огонь обойдет справа, и тогда его ничто не остановит.

— Успеем,— не очень уверенно сказал Козлов.— Солдаты уже работают, рубят тебе навстречу.

Андрей помялся, почесал затылок и вдруг брякнул:

— Тогда мне здесь делать нечего! Посмотрите на нашу работу, коленчатый вал, а не просека. Сколько лишнего труда, сколько пота, мозолей?! И все потому, что работаем не по науке... Я понимаю, сейчас не до теодолитов и чертежей, и все же... Словом, я пойду вперед и буду делать затесы, пока не встречусь с рабочими. Тогда просека будет как струна. Вы не волнуйтесь, я это умею.

— Дело говоришь. Но ведь... сам понимаешь, на что идешь. Одному сейчас опасно: дыма наглотаешься или еще что.

— Что я — мальчик?! — обиделся Тушин.— И жить мне не надоело. На крайний случай захвачу ракетницу: две синих, значит, дело швах, выручайте.

— Ладно. Давай прикинем маршрут по карте.

Когда Андрей вскинул рюкзак и сунул за пояс топор, Козлов вдруг хлопнул себя по лбу.

— Слушай; Тушин, может, заодно сделаешь доброе дело, а? У рабочих неприятность: я говорил с их бригадиром, он просил врача — кто-то не то сломал, не то вывихнул ногу.

— Ну и что? — не понял Андрей.

— Как что?! Захвати доктора Майгу.

Этого Андрей не ожидал. Он отчаянно смутился и замотал головой:

— Нет. Невозможно. Опасно. Все-таки женщина... А почему не подбросите на вертолете?

— Здесь он нужнее. Вон сколько обожженных да угоревших, надо их эвакуировать в город.

— А если она не захочет?

— Плохо ты знаешь доктора Майгу,— улыбнулся Козлов.— Увидишь: от лесной прогулки, да с таким проводником она не откажется.

...Сначала Андрей смущался, часто оглядывался, пытался занять Майгу разговорами, но часа через два вообще перестал ее замечать. Сорок шагов, десять взмахов топора — затес. Снова сорок шагов, десять взмахов топора — затес. Тушин спешил, очень спешил, и все же ему пришлось остановиться: на ладонях полопались мозоли и волдыри от ожогов — топор выпал из рук.

— Бинта не найдется? — обернулся он к Майге.

— Охо-хо,— вздохнула Майга,— врач — всегда врач. Садитесь, больной, будем лечиться,— указала она на ближайший холмик.

Майга заботливо смазывала раны, бинтовала... Чтобы удобней было работать, положила его ладони себе на колени. Она говорила, что раны не опасные, что через неделю не останется и следа и все же надо быть осторожным... Она говорила, говорила, но Андрей ничего не слышал...

— П-пошли,— вскочил он на ноги.— Пошли дальше. А то... а то... ты мне очень нравишься. Начну строить шалаш,— улыбнулся Андрей.

Майга вспыхнула! Покорно встала:

— Можешь начинать. Дверь для нашего шалаша уже есть.

— Какая дверь? — переспросил он.

Майга кивнула на соседний холмик, увенчанный большим муравейником. Действительно, прямо перед ними краснела ржавчиной металлическая дверь.

Андрей осторожно потянул за ручку. Дверь приоткрылась. Из подземелья потянуло сыростью.

— Достань из моего рюкзака фонарик,— попросил Андрей.— А сама отойди подальше.

Ступеньки вели вниз, в темноту. Осторожно, очень осторожно Андрей спустился в подземелье... Вскоре он вернулся.

— Это дот,— объяснил он.— Старый железобетонный дот. Хочешь посмотреть?

Майга подала руку, осклизлые ступеньки. Затянутые плесенью стены. Ржавые коробки.

— А что, во время войны курили импортные сигареты? — спросила она, поднимая окурок.

—«Кент»,— прочитал Андрей и тревожно огляделся. Высветил все углы — пусто.



А Майгу интересовало совсем другое: ей хотелось знать — наш это дот или немецкий.

— Чего проще,— сказал Андрей, подходя к груде коробок из-под патронов.— Наш, конечно, наш. В таких коробках хранятся ленты от станкового пулемета. Я его раз сто разбирал и собирал, когда был на военных сборах.

— А эти патроны тоже от пулемета? — невинным тоном спросила Майга, вытряхивая из коробки... пачки денег.

Андрей остолбенел! А когда присел на корточки, чтобы собрать их в кучу, раздался сиплый тенор:

— Не двигаться!

Андрей замер. Прямо в лицо бил луч света. Он зажмурился. Кто-то подскочил и вырвал у него фонарик.

— К стенке. Быстро! — приказал тот же голос.

— Эге, да он с бабой! — хохотнул другой голос. И фонарик высветил Майгу.

Она стояла с рюкзаком в руках и щурилась от яркого света.

— Никак докторица? — изумился тот же голос.— Ну, ты, начальник, даешь! Отхватил фартовую деваху — и в кусты. А трудящиеся вкалывают на просеке.

Сырцов присел на коробку и перевел дух. Успели!

Жорка подвесил фонарик к потолку и запихивал деньги в рюкзак. А Сырцов напряженно думал: «Что же делать с этой парочкой? Пристрелить?... А может, просто связать и предоставить дело огню?» Вдруг страшный удар отбросил его к лестнице! Это Андрей выждал момент, когда бандиты отвлеклись, и бросился на Сырцова. Пистолет отлетел в темный угол. Андрей лихорадочно шарил по полу.

Сзади налетел Жорка и патронной коробкой ударил по голове. Но Андрей успел увернуться, и удар срезался. Андрей крутанулся и сбил бандита с ног. Жорка грохнулся на бетон и потянулся к поясу за финкой. Андрей перехватил его руку, дернул на себя. Зажал коленом, еще раз дернул: кисть хрустнула и обвисла! Жорка взвыл! Он остервенел от боли, обеими ногами ударил Андрея в живот и схватил пистолет. Но одной рукой никак не мог снять предохранитель. Андрей ребром ладони рубанул Жорку по шее. Тот охнул и осел. Андрей потянулся к пистолету. Но Сырцов рванул его за ногу, и он упал на коробки. Пистолет оказался у Сырцова.

Андрей лежал на спине, готовый броситься на бандита. Но был слишком далеко. Андрей ждал, когда тот сделает хотя бы пару шагов. Сырцов больше не рисковал. Оглушительно щелкнул предохранитель! Андрей понял, что ждать нечего и швырнул коробку. Тут же грохнул выстрел! Андрей рванулся. Схватился за грудь и обмяк.

Сырцов привалился к стене: коробка попала в левый висок и повредила глаз. Цепляясь за стену, он выбрался наружу. Следом карабкался Жорка с рюкзаком, набитым деньгами. На ступеньках отдал рюкзак Сырцову, достал финку и вернулся в бункер.

В углу стояла перепуганная Майга и судорожно сжимала рюкзак Андрея. Жорка скривился и шагнул к девушке. В тот же миг Майга выхватила ракетницу и выстрелила в лицо бандиту! Вспыхнул синий свет, и Жорка рухнул на пол.

Сырцов остановился. Хотел вернуться. «Туда ему и дорога!» — решил он, махнул рукой и побрел в лес, прихватив санитарную сумку Майги.

Когда рассеялся дым, Майга подняла фонарик и бросилась к Андрею. Он лежал на боку и тихо стонал. Майга опустилась на колени. Вытерла кровь с лица. Осмотрела рану на груди: входное отверстие есть, а выходного не было. Потом осторожно потащила Андрея к выходу. Когда поднимала по ступенькам, он перестал стонать. Майга встревожилась, пощупала пульс — отлегло от сердца: жив. Уложила под деревом и побежала за своей сумкой. Обшарила всю поляну, заглянула в дот — сумка исчезла.

«Что же делать, что делать? — думала она.— Перевязать, и то нечем». Но тут же решительно сняла кофточку, нижнюю рубашку и стала рвать на бинты. Когда перевязала рану, Андрей застонал и открыл глаза.

— Все хорошо, милый! Все хорошо! — обрадовалась Майга.

— Пить,— попросил Андрей.

Майга достала фляжку, поднесла к его губам. Андрей сделал всего два глотка, но Майга решительно отняла фляжку от его губ.

— Больше нельзя... Вытащим пулю, заштопаем — тогда и попьешь.

Андрей слабо улыбнулся.

— Они ушли?

— Один остался,— передернулась Майга.— Я его из ракетницы!

Андрей тронул ее руку.

— Молодец. Дай две ракеты, синих... Прилетит Козлов, все расскажи. Тот ушел к речке. Больше некуда... Везде огонь.

— Так я и знал! — схватился за сердце Козлов, когда увидел две синие ракеты.

У вертолета стоял возбужденный Савинов.

— Возьмите и меня!

— Тебе-то зачем?

— Нужно. Очень нужно! Преступник где-то здесь, уйти ему некуда.

Не так-то просто найти человека в лесу. Вертолет два раза пролетел над районом, где заметили ракеты, но никого не нашел. А Майга от беспомощности кусала ногти, плакала и ругалась на всех знакомых языках. В ракетнице что-то заело, и она давала осечку за осечкой. Андрей ничем не мог помочь: ему стало хуже, и он не открывал глаз. Наконец Майгу осенило. Она развела костер и бросила четыре патрона. Грянул взрыв и взметнулся синий фейерверк.

— Вижу! — обрадовался пилот и заложил вираж.

Поляна оказалась такой крохотной, что сесть было невозможно. Пришлось спускаться по веревочной лестнице. Когда Козлов подошел к окровавленному Андрею, ему стало плохо и он опустился на траву. Подбежал Савинов... Майга торопливо рассказала, что произошло, и потребовала, чтобы Андрея немедленно доставили в больницу.

Козлов и двое взрывников, которые были с ним, взялись за топоры, чтобы расчистить площадку для вертолета. А Савинов отправился к доту. Осмотрел убитого бандита: опознать невозможно — лицо разворочено и сожжено ракетой. Вернулся к Козлову.

— Сообщите в управление, что я иду по следу. Опергруппу пусть высылают к речке.

Козлов кивнул и снова замахал топором.

Уже два раза Сырцов менял повязку, а кровь все сочилась.

«Крепко он меня шваркнул,— с трудом переставляя ноги, думал Сырцов.— Видно, кость пробил, иначе бы башка так не трещала... Ничего, время есть. Выйду к речке, а там — рукой подать до Кочина».

Послышался стук топоров, визг пил, урчание тракторов.

«Бьют встречную просеку»,— догадался Сырцов и круто взял вправо.

Долго брел наугад. Потом в ноздри ударил влажный речной воздух.

— Все, вышел! — обрадованно вздохнул он и спустился к воде.

Сырцов зашел на отмель и, наклонясь, долго пил прямо из реки. С каждым глотком возвращались силы, и — Сырцов это чувствовал — в нем снова появились уверенность, хватка, чувство опасности. Это чувство и заставило его бросить взгляд налево: на тропе стоял капитан милиции.

«Савинов,— отметил про себя Сырцов.— Старый знакомый.»

Сырцов повернулся спиной к берегу и, делая вид, что продолжает пить, достал из-за пазухи пистолет. Глянул под руку — капитан совсем близко. Так же из-под руки прицелился, выстрелил и побежал вниз по течению.

Савинов грохнулся на землю. Пуля чиркнула у самой щеки. Сырцов на бегу оглянулся: капитан лежит. Оглянулся еще раз — капитана не было на прежнем месте.

«Промазал, шкура! Совсем разнюнился!» — ругал он себя.

А Савинов перебегал от дерева к дереву.

— Сдавайся, Сырцов! — кричал он.— Все равно не уйдешь!

Сырцов молча отстреливался.

«Черт, патронов не жалеет. Видно, у него запасная обойма»,— решил Савинов.

Впереди плоская отмель. Ни деревца, ни кустика. Савинов перебежал за деревьями и оказался там первым. Из-за поворота

выскочил Сырцов. Он никак не ожидал увидеть капитана прямо перед собой. Остановился. Перевел дух. Их разделяло метров пятьдесят — из пистолета достать трудно.

«Все равно «вышка»,— холодно подумал Сырцов и шагнул вперед.

Савинов стоял на месте.

— Одумайся, Сырцов! — сказал он.— Деваться тебе некуда.

— Мне терять нечего! — ощерился Сырцов.

— Брось оружие! — крикнул капитан, выстрелил, не поднимая руки, с бедра. И тут же метнулся в сторону.

Прыжок. Второй. И оружие бандита в руках капитана. Из правого плеча Сырцова фонтаном била кровь. Савинов разорвал рукав его рубахи и туго перевязал рану. Потом снял рюкзак и достал рацию...

Летели вдоль просеки, рассекающей питомник. С севера мощным валом наступал огонь, заглатывая квартал за кварталом. Но вот от просеки пополз слабый огонек. Побежал по подлеску, набрался сил и набросился на вершины сосен. Все шире, все плотнее стена огня. Потом она сдвинулась с места и помчалась навстречу палу, оставляя за собой выжженную землю.

Как ни сильно трещал вертолет, но грохот, свист и рев, которые ринулись от земли, когда лоб в лоб столкнулись два вала огня, донеслись в кабину! Пламя оторвалось от деревьев, яростным смерчем взметнулось вверх и исчезло, растаяв в дымном небе.

●●●

Взвыла сирена —
И тут же
Лица в слепых сенях.
Сплющила пальцы стужа
В заспанных сапогах.
Ветер вагончик треплет,
Куртку рвануло с плеч.
Тихую песню теплит
Вслед, догорая, печь.
И, залепив ресницы,
Снег за косым углом
Люто ударил в лица
Дерзким,
Сырым крылом.
Но, расправляясь,
В заметь,
В рвущийся вьюжный вой
С нами выходит знамя,
Бьется над головой.
Грузные складки знамени...
Хлопья, лучи меча,
Бьются
в бессонном пламени
С профилем Ильича.
Просквожено пургою,
В каждом отозвалось
Хриплое,
волевое:

«Остановить занос!»
И, оборвав затяжку,
Кто-то, врезаясь в снег
Острой лопатой,
Тяжко
В сутемь впечатал след.
Остро
Шибало пóтом,
Билась пурга в ногах.
Ну и не мы —
лопаты
Ныли у нас в руках.
Вьюга гасила звуки,
Домик мерцал вдали...
И постепенно руки
Тяжестью
затекли.
Где-то в мозгу укромно,
Вяло билось: «Нельзя!..»
Но навалилась дрема,
Запеленав глаза.

Только —
Над головами,
В сутеми клокоча,
Вдруг развернулось
Знамя
С профилем Ильича.



Николай ШАМСУТДИНОВ

НОЧНОЙ АВРАЛ

Из поэмы «Ленинский зимник»

Мы — в ледяной коросте...
Здесь, в оголтелый час
С бурного шелка
Остро
Ленин взглянул на нас.
Сердце сильней забилось,
И, горяча, светла,
Враз развернула сила
В наших сынах ветвясь.
Медленно,
Под бессонный,
Под воспаленный шелк,
С крупами иль бетоном,
Первый тягач прошел.
Взламывая сугробы,
Грузный, усталый,



В вялых руках
Крыла.
...Небо алеет тонко.
Ластясь к моим ногам,
Гибкой лисой
Поземка
Тянется на Ямал.
К этой пустыне снежной,
Тихой в предутренний час,
Не оскудеет нежность,
Шел через души,
Ознобным
Знаменем осенен.

И посветлело...
Просто
Выдохнул свет восток —
Это через торосы
Ленинский свет
пролег.



ВЛАДИМИР БЕЛЯКОВ



ШАГ К ИСТИНЕ

В годы гражданской войны и военной интервенции, когда для защиты молодой Советской Республики была создана Красная Армия, Коммунистическая партия успешно решила проблему командных кадров. Наряду с подготовкой и воспитанием тысяч советских командиров и военачальников из числа рабочих и трудящихся крестьян на службу в Красную Армию было привлечено значительное количество военных специалистов старой армии, большинство которых под партийным контролем честно служили народу и внесли весомый вклад в достижение победы над интервентами и белогвардейцами. Среди них видное место принадлежит Филиппу Кузьмичу Миронову. В многотомной «Истории Коммунистической партии Советского Союза» отмечается, что в борьбе с врагами Советской власти «навеки прославили себя кавалеристы 1-й Конной под командованием С. М. Буденного и 2-й Конной армии под командованием Ф. К. Миронова».

В предлагаемой читателю повести В. Белякова «Шаг к истине» рассказывается о некоторых эпизодах из жизни Ф. К. Миронова, жизни сложной и многотрудной. Родившись на Дону, в казачьей семье, он еще до Великого Октября прошел путь профессионального военного: окончил Новочеркасское юнкерское училище, участвовал в русско-японской и первой мировой войнах, в которых за умелое руководство кавалерийскими подразделениями и личную храбрость в боях получил несколько боевых наград и чин войскового старшины (подполковника). Вместе с тем еще в период первой русской революции Ф. К. Миронов открыто протестовал против стремления царских властей использовать казачьи войска против рабочих и крестьян, за что подвергался преследованиям, вплоть до увольнения с военной службы. Уже в то время он пользовался среди простых казаков Дона большим влиянием.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции Ф. К. Миронов отказался сотрудничать с казачьей контрреволюцией и принял активное участие в установлении Советской власти на Украине и в Усть-Медведицком округе Дона. Развязанная внутренней контрреволюцией при поддержке международного империализма гражданская война со всей остротой поставила вопрос: кто с кем? Для казачьих районов Дона это был не простой вопрос. Именно к этим районам с полным основанием подходило ленинское определение сущности гражданской войны, которая «отличается от обыкновенной войны неизмеримо большей сложностью, неопре-


ЗА РЕВОЛЮЦИЮ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

деленностью и неопределимостью состава борющихся... в силу невозможности провести грань... между числящимися в рядах воюющих и нечислящимися» (Полн. собр. соч., т. 13, с. 72—73).

Казачьи верхи первыми подняли мятеж против социалистической революции и стали главной опорой буржуазно-помещичьей контрреволюции. Средние слои казачества, связанные вековыми тисками сословности и предрассудков, зачастую проявляли колебания в выборе окончательной политической линии. Даже порвав с оголтелыми белогвардейскими главарями, эта часть населения Дона продолжала колебаться: то восставала против генералов, то поднимала мятежи против Советской власти. Лишь беднейшее казачество сразу и бесповоротно приняло идеи социалистической революции.

Сложность социально-политической ситуации на Дону в какой-то степени отразилась на поступках и делах Ф. К. Миронова. Храбрый командир, хороший специалист военного дела, умелый организатор, пользовавшийся беспрекословным авторитетом у казачества, искренне и по-своему преданный делу революции, он, к сожалению, не всегда правильно разбирался в политических вопросах. Отстаивая «особый» казачий путь, он выступал за немедленную замену всех ревкомов на Дону (хотя и сам был членом ревкома Усть-Медведицкого округа) выборными всеказачьими Советами, открыто выражал недовольство продразверсткой. В условиях обострения классовой борьбы такие колебания могли породить антисоветские настроения.

Несмотря на это, ленинская партия доверяла Ф. К. Миронову, поручая ему ответственные военные посты. Он командует 23-й стрелковой дивизией, которая с июля 1918 года по март 1919 года нанесла ряд поражений белогвардейским войскам. Командующий 9-й армией П. Е. Княгницкий так оценил заслуги Ф. К. Миронова: «Желая отметить блестящие боевые заслуги и умелое руководство войсками объединенной группы (в нее входили 16-я и 23-я дивизии.— *Авт.*) и, в частности, 23-й пехотной дивизией, благодаря чему 9-й армией достигнуты решительные победы над красновскими бандами, Реввоенсовет-9 постановил наградить Миронова в знак благодарности золотыми часами с цепочкой».

Летом 1919 года тяжелое положение сложилось на Южном фронте, где деникинские полчища рвались к сердцу республики — Москве. Коммунистическая партия во главе с В. И. Лениным принимала решительные меры для отражения и разгрома похода Деникина. Требовалось создать крупные кавалерийские соединения, которые бы могли успешно бороться с многочисленной белогвардейской конницей. Учитывая боевой опыт, прежние заслуги и популярность Ф. К. Миронова среди казачества, 17 июля 1919 года его назначили командиром Особого Донского конного корпуса, формировавшегося в Саранске.

Однако в силу целого ряда причин (нехватка оружия, снаряжения, отсутствие должного контакта командира с политработниками) процесс формирования неоправданно затягивался. В сложившихся условиях Ф. К. Миронов принимает решение вопреки запрету Реввоенсовета республики выступить на фронт с еще не сформированным корпусом. Свой поступок он объяснил так: «Прошу передать Южному фронту, что я, видя гибель революции и открытый саботаж с формированием корпуса, не могу дальше находиться в бездействии, зная из полученных с фронта писем, что он меня ждет, выступаю с имеющимися у меня силами на жестокую борьбу с Деникиным и буржуазией».

Такие самовольные действия командира корпуса в суровых условиях военного времени были совершенно правильно расценены как мятеж.

13 сентября 1919 года части корпуса были разоружены без сопротивления конницей С. М. Буденного, а сам Ф. К. Миронов и 430 бойцов и командиров были привлечены к суду военного трибунала. Приговор был суров — 7 октября 1919 года Ф. К. Миронов и десять его ближайших помощников были приговорены к расстрелу. Однако уже на следующий день по ходатайству самого ревтрибунала Президиум ВЦИК помиловал всех осужденных. «Так поступает Советская власть с теми, кто заблуждается,— писала «Правда» 10 октября 1919 года.— Нигде в мире немыслим был бы такой приговор в военное время, в военной обстановке, когда на нас наступает враг. Пусть же учтет этот шаг трудовое казачество».

Узнав о помиловании, Филипп Кузьмич писал: «Дарованная мне Президиумом ВЦИК жизнь будет отдана до последней капли крови делу коммунистического

строительства, а в дальнейшем, если Президиум вернет мне доверие, я стану в ряды Коммунистической партии, чтобы отдать все свои силы на укрепление ее позиций в трудящихся массах, особенно среди казачества». Эти слова Ф. К. Миронова убедительно свидетельствовали, что он сделал решительный шаг к истине.

Дальнейшие страницы его биографии убедительно говорили, что это был честный шаг. В январе 1920 года он вступил в ряды ленинской партии. В августе Ф. К. Миронов назначается командующим 2-й Конной армией, которая внесла существенный вклад в окончательный разгром последнего ставленника Антанты — Врангеля.

Советское правительство высоко оценило заслуги командарма Ф. К. Миронова. Он был вначале награжден Почетным революционным оружием — шашкой с позолоченным эфесом и наложенным на него орденом Красного Знамени, а затем и орденом Красного Знамени. Имя Ф. К. Миронова, его боевые дела в годы гражданской войны еще недостаточно известны широкому кругу читателей. Повесть В. Белякова в некоторой степени восполнит этот пробел.

С. ГУСАРЕВИЧ,
кандидат исторических наук

* * *

Кончался апрель 1890 года.

Казаки проверяли оружие, амуницию и снаряжение, ковали лошадей — готовились к лагерным сборам. Особенно много забот было у приготовительных. На четыре года действительной службы казак должен быть обеспечен всем — от коня с седлом до иголки с ниткой.

Филипп Миронов приобрел только обмундирование. Строевой конь ему не требовался. Наслышанный о канцелярских способностях парня, окружной атаман Широков уведомил Кузьму Фроловича — отца Филиппа — о своем намерении испытать новобранца на должность писаря. Если с порученным делом справится, то в армейский полк не пошлют — оставят на службе при канцелярии атамана.

Филипп на сборах, как говорится, лицом в грязь не ударил. Начальство достойно оценило его грамотность, отменный почерк и безупречную дисциплинированность. Атаман выполнил свое обещание: назначил его писарем, а вскоре и временно исполняющим обязанности начальника «Приготовительного стола». И, что еще было существенным, жил Филипп не в казарме, а дома, в семье.

Задавшись целью стать офицером, Филипп сел за учебники. Нередко до предела усталый, он, подперев голову руками, на минуту-другую засыпал, сидя за столом.

— Филиппушка,— подступала к нему жена Степанида,— нынче хватит мучиться. Ложись, ради Христа... Ты же утречком собирался не то к студенту Маврину, не то к Александру Попову на разговор бечь,— напоминала она.— Так ведь и поспать надобно.

А в раскрытое окно горницы, где он занимался, залетали уже песни кочетов, в кустах акации под окнами, чудилось ему, рапортовали воробьи: «Жив! Жив! Жив!»

В соседнем дворе гремели подойником, и, очнувшись от забытья, Филипп ловил себя на том, что все происходящее на улице — все шумы, звуки — с особенной остротой воспринимается после чужих латинских слов. По латинскому языку ему предстоял последний экзамен.

Получение образования позволяло Филиппу Миронову начать военную службу вольноопределяющимся на год раньше табельного призыва.

Сын казака-бедняка, Филипп Кузьмич Миронов в августе 1896 года был принят в Новочеркасское казачье юнкерское училище. Правда, на второразрядное отделение, но окончил он это отделение с отличием, получил чин подхорунжего и должность командира взвода в 17-м казачьем полку имени генерала Бакланова, стоявшем на западной границе.

В августе 1899 года Миронову было присвоено звание хорунжего и поручено временно командовать сотней.

Слухи об этом долетели до отца.

— Была Кузькина печаль, да прошла,— подмигивает он жене.— Сынок-то наш в знатные офицеры выходит. Ему там за все такое — почет, а нам с тобой — гордость. Всему нашему роду законная слава!

В конце лета 1900 года Степанида Петровна сообщила мужу в полк, что у них родилась дочь.

«Окрестили ее Валентиной,— говорилось в письме.— Никодим учится, а Машу только в этом году отдаю в школу. Отец строит большой дом...»

Ответив жене благодарностью и наказав заботливо растить дочку, Филипп принялся за другое письмо — Иллариону Сдобнову *, где рассказал о своем житье-бытье. Илларион тоже закончил Новочеркасское казачье училище и служил в Третьем имени Ермака Тимофеевича донском казачьем полку командиром взвода.

«Нынче,— писал Миронов,— у меня образовалось много времени для чтения военной, исторической и художественной литературы. На это дело да на разрешенные занятия по русскому языку с подчиненными мне азбучно неграмотными казаками я и трачу свой досуг. Все это (примечай!) не скуки ради. В восторге пребываю от сочинений Добролюбова, в глубоких думах от Герцена, в огромном смятении от Чернышевского.

Полковой командир «почел своим долгом» спросить меня, каких политических убеждений я придерживаюсь. Не знаю, уместно ли было откровение, но я ответил, что мой девиз — «высокая правда, честь и человеческое достоинство». Как видишь, нам будет о чем потолковать при встрече...»

Служба шла, но над головой Миронова сгущались тучи.

Поводом тому служило его вольнодумство, о котором донесли командованию. И хотя мироновское вольнодумство было почерпнуто из разрешенного цензурой романа Чернышевского «Что делать?», тем не менее было оно признано «крайне нежелательным для казачьих умов».

Льгота казачьего офицера — отпуск на три года с сохранением жалованья. Чем выше должностное положение, тем выше содержание; чем выше воинское звание, тем больше почета среди своих станичников.

Увольнение на льготу без повышения Филипп Миронов воспринял как несправедливость, однако рапорт начальству писать не стал.

«Плетью обуха не перешибешь»,— рассудил он.

И еще Филипп Кузьмич опасался того, что местные атаманы из-за его убеждений, о которых их непременно поставит в известность командир полка, не предоставят ему на время льготы платной должности. А дополнительный заработок ему был нужен. Выросла семья, нужно было ставить новый дом.

Но тревоги оказались напрасными. Станичный атаман в своей обязательной беседе с прибывшим на льготу молодым обер-офицером доброжелательно сказал:

— Полк, в котором вы, Филипп Кузьмич, служите, формируется станицами Клетской и Распопинской. Непременно побывайте на их сходках. То, что лестное расскажете там об их служивых, о местности, где им доводится справлять свой воинский долг, как на той чужбине чувствуют себя казаки и кони, какое население живет в той далекой округе, чем оно занимается, сделает вас сразу популярным в юртах * этих станиц.

Вполне хладнокровно отнесся к донесению о строптивости характера хорунжего Миронова и генерал Широков. «Горячность подчиненного всегда можно укротить,— считал он.— К тому же не исключено, что эту информацию полковник Гаврилов подписал под влиянием лиц, способных напакостить любому».

Вскоре, объявив согласие наказного атамана назначить Миронова адъютантом атамана Усть-Медведицкого округа, генерал Широков поздравил его и с присвоением звания сотника.

---

* Илларион Арсеньевич Сдобнов — казак станицы Усть-Медведицкой, он был другом детства Ф. К. Миронова, а позже, в годы гражданской войны,— начальником штаба в воинских соединениях, которыми командовал Миронов. (Здесь и далее примеч. В. М. Проскурина.— *Ред.*)

* Юрт — вся земля, которой владела станица или хутор,— пашни, луга, толоки, леса...

Однако служить в окружном правлении до окончания льготы Филиппу Миронову не довелось. В одно из воскресений к нему на квартиру прибыли два старика. Оба в парадных мундирах: один — старший урядник — с Георгиевским крестом на груди, другой — младший урядник при боевой медали.

— Господин сотник,— заговорил старший урядник,— мы уполномочены казаками распопинского юрта просить вас послужить у нас станичным атаманом.

— Сердечно благодарю за оказанную мне честь,— поблагодарил их Филипп Кузьмич.— Но я состою на службе в окружном правлении, собой не распоряжаюсь.

— А мы, ваше благородие,— заговорил георгиевский кавалер,— насчет этого еще вчера у его превосходительства генерала Широкова побывали. Он обещал уважить нашу просьбу.

...25 июня 1903 года, после заутрени, распопинцы и прибывшие с хуторов казаки толпились возле станичного управления, спорили о том, кому доверить с нынешнего дня целых три года всем распопинским юртом править.

После обсуждения кандидатов каждый выборщик получил деревянный шар, с которым отправился в комнату, где стояли «избирательные» ящики.

Из ста тридцати уполномоченных сто пятнадцать положили шары в ящик с надписью: «Сотник Ф. К. Миронов».

О том, чем и как занимались прежние атаманы, Миронов знал по службе у генерала Широкова. Казалось, достаточно было бы следовать проторенными ими дорожками, и все было бы в порядке. Но Миронов счел нужным все дела, связанные с тратами их станичной казны, обсуждать с участием хуторских атаманов и казаков-старожилов.

Первым делом его правления было устройство в степи трех прудов, крайне необходимых «скоту и хлеборобам». Далее, был приглашен мелиоратор «для руководства борьбой общества с овражными размывами плодородных земель». Затем новый атаман установил более высокую плату казакам, нанимаемым «кем-либо для дежурства вместо себя при станичном правлении», но при окружном правлении распопинцам были запрещены подобные замены.

Дежурство при окружном атамане считалось почетным. Каждый казак был обязан сам справлять его с честью и достоинством.

— Хитер, сукин сын,— говорили о Миронове казаки.— При всяком деле на исконные казачьи порядки кивает...

Но всем добрым начинаниям молодого атамана не суждено было увидеть завершения. Началась русско-японская война.

Отправив в положенный срок на станцию Арчеда казаков первого призыва, Филипп Миронов обратился к окружному атаману с просьбой об отчислении его со льготы в действующую армию.

— В лихую годину в тылу атаманы нужны не менее, чем офицеры на фронте,— ответил ему Широков.— Ко всему прочему, остающийся на западе Семнадцатый полк вас не востребовал.

— Я же не в тыл прошусь, а на фронт,— стоял на своем Миронов.— Таким молодым офицером, как я, место на войне.

На войну с Японией Миронов отправился в июне 1904 года в составе 4-й Донской казачьей дивизии. Одну из ее бригад под командованием генерал-майора Абрамова образовали 25-й и 26-й полки. Филипп Миронов был назначен командиром сотни в 26-м полку.

Формирование подразделений и частей производилось из казаков одной станицы, и это условие являлось основой их боевой спайки. Зная друг друга с детства, казаки стыдились выказывать малодушие. Если кто-либо трусил в сражении или оставлял в опасности товарища, то получал наказание в полку, но этого мало: по возвращении домой его еще клеймили позором станичники.

...13 января 1905 года у деревни Чатаузе командир полка полковник Богачев формировал отряд охотников-диверсантов.

— Получен приказ,— сообщил он собравшимся в штабе офицерам части,— усиленным взводом совершить рейд в тыл противника и вывести из строя железную дорогу. Желающих возглавить этот взвод прошу назваться.

Воцарилось неловкое молчание.

— Повторяю,— Богачев сделал паузу,— кто хочет вызваться охотником?

Миронов огляделся и встал:

— Ваше высокоблагородие, я пойду.

В тот же день набирались добровольцы и из низших чинов.

— А не перевелись у донцов-молодцов герои-храбрецы! — сверкал Богачев золотой коронкой.

Но рядовые казаки на его призывы отвечали с неохотой.

— А кто из офицеров туда пойдет? — спросил подхорунжий Паршин.

И когда было объявлено, что охотников возглавит сотник Миронов, людей набралось больше, чем требовалось.

Через двое суток, глубокой ночью, в заданном отряду районе вражеские коммуникации были потрясены «адскими машинами» русских диверсантов.

«Разрушив в 10 верстах южнее Ляояна полотно железной дороги,— телеграфировал 17 января командир дивизии генерал Телешов армейскому начальству,— Миронов вернулся без потерь...»

В начале апреля 1905 года на участке, занимаемом 4-м Сибирским корпусом, находившийся в авангарде 25-й казачий полк попал в окружение. На выручку ему были посланы стрелковые отряды, но и их постигла участь донцов. Тогда уже на помощь пехотным подразделениям генерал Абрамов бросил свой бригадный резерв во главе с сотником Мироновым.

И в момент, когда японцам казалось, что они уже одержали победу над окруженными русскими частями, Миронов, верный тактике наносить удар врагу там, где его ждут меньше всего, внезапным налетом пробил брешь в неприятельском оцеплении, после чего объединенными усилиями удалось взломать японские позиции и вывести полк из окружения...

Очередной подвиг Миронов совершил 8 мая при захвате «офицерского языка» по приказу командующего фронтом.

Для выполнения этого задания генерал Абрамов, кроме мироновской сотни разведки, выделил четыре сотни 26-го полка да шесть стрелковых рот, испрошенных у штаба Сибирского корпуса.

— Противник контролирует предполье хорошо замаскированными наблюдательными пунктами и заставами,— говорил он казачьим офицерам.— Все попытки охотников других частей незаметно достичь вражеских командных пунктов потерпели фиаско. Поскольку основная тяжесть операции ложится на разведчиков, советы их командира считайте боевыми приказами.

Это указание лишало остальных командиров инициативы. Во всяком случае, в разгар операции руководство как-то само собой перешло к Миронову. Левофланговым ротам он поручил атаковать деревню Саняпу, правофланговым — держать под огнем безымянный холм за ее северной окраиной... Когда головные взводы урядников Симонова и Батанкова, демонстрируя «готовность лобовой атаки», вызвали на себя огонь противника, защищавшего холм, группа захвата урядников Землина и Паршина скрытно пробралась в тыл врага.

Не выдержав настойчивых атак, враг под прикрытием подвижных застав начал отход на запасные позиции.

И Миронов подал сигнал:

— В атаку-у!.. Лавой! За мно-о-ой!

Японские заставы были смяты. Правда, вскоре подоспевшие резервы противника оттеснили русских на исходные рубежи, но дело, ради которого разыгрался этот бой, уже завершилось: заказанные командующим «языки» — два японских офицера — были добыты...

Слава о ратных делах Филиппа Миронова гремела по всему фронту. Генерал Куропаткин приветствовал его телеграммой:

«Прошу передать доблестному сотнику Миронову мою душевную благодарность. Орлам его за лихую атаку большое спасибо! Ура ермакам! Доблестному сотнику Миронову, герою Тихого Дона,— ура!»

За последнюю операцию Миронов получил четвертую боевую награду — орден святого Владимира 4-й степени и чин подъесаула. Тогда же ему был вручен и орден святой Анны 3-й степени за диверсию на железной дороге. А еще через полмесяца на зависть многим офицерам-сослуживцам он был удостоен личного внимания командующего фронтом. По окончании полкового смотра генерал Куропаткин, пожимая Филиппу Миронову руку, сказал:

— Вы воскресили славу донского казака, поддерживая его имя. Надеюсь, что в будущих делах вы со своими молодцами окажетесь на высоте!

Русско-японская война, позорно проигранная царским правительством, сделала Филиппа Миронова героем Войска Донского.

После войны Миронов вернулся домой на очередную льготу.

Тихим июльским утром майдан перед Усть-Медведицким атаманским правлением заполнился толпою народа.

— Слушок есть, кубыть не хотят казаки нашего округа мобилизоваться,— говорил местный старожил односуму-клетчанину.— А я чтой-то никак в толк не возьму, как это можно воле его императорского величества противиться?

— Чего ж тут не понять-то? — отвечал собеседник.— Разорила эта треклятая служба нашего брата, считай, до самого корня. Возьми хотя бы последние годы. На японца только четыре полка от Войска Донского ходили, да и те второй очереди, а на коне все равно почти все сидели, внутренних врагов усмиряли. И получается, теперь для того же собирают. И чего не живется людям спокойно?

— Его высокоблагородие станичный атаман приглашает господ уполномоченных в сборную залу! — зычно возвестил сиделец с крыльца правления.

Через площадь прошел Филипп Миронов. Сапоги на нем хромовые, темно-синие шаровары с лампасами, мундир и фуражка с чехлом, хранящим верх от солнечных лучей,— кипенно-белые. На груди боевые ордена, шашка на выложенной серебром портупее.

Почтительно расступаясь, народ пропустил его в зал, забитый до отказа местными и приезжими казаками.

— Господа уполномоченные! — заговорил станичный атаман полковник Сенюткин.— Из нашего округа вызываются на службу три сводных полка. Призыву подлежат казаки переписи тысяча восемьсот девяносто восьмого года. Поэтому станичные и хуторские уполномоченные должны в экстренном порядке проверить их списки и отобрать тех, кто соответствует мобилизации.

— Ваше высокоблагородие! — заявил лысый плечистый старик в чине отставного вахмистра.— Мы, усть-медведицкие уполномоченные, отказываемся проверять списки мобилизуемых и никого на внутригосударственную службу не пошлем!

— Как это не пошлете?! — опешил атаман.— Это же неслыханное дело! Никто не может отказаться от исполнения воинского долга!

— Никого не дадим! — разноголосо зашумели уполномоченные.— Не пошлем!..

С галерки, не спуская глаз с нарушителей порядка, к помосту пробирались помощник пристава и двое полицейских. Их появление только подлило масла в огонь. Несколько уполномоченных решительно преградили им путь. Один из них, указав на входную дверь, сказал:

— Господин пристав, просим добром покинуть сборную залу! Казаки свои дела без полиции справят!

— Атамана тоже удалить! — крикнул младший урядник.— Раз он на казачий сход полицию кличет!

— Здесь присутствует подъесаул Миронов! — кричал с галерки рядовой казак с Георгиевской медалью на груди.— Просим его сказать, правомочен ли сбор решать дела без атамана?

— Пущай растолкует! Он сам в Распопинской атаманствовал!

— Все равно не подчинимся! — галдели казаки.

И Миронов, тоже разгорячившийся, взобравшись на скамью посреди зала, заявил:

— Именно на таких кругах вершили наши предки служивские дела! — взглядом отыскав в зале дьякона Бурыкина, он обратился к нему: — Доведем, Николай Константинович, приговор этого сбора до всей страны через Государственную думу! Казаки обязаны беспрекословно защищать Россию от внешнего врага, а теперешняя мобилизация проводится для подавления крестьян и рабочих, которые на русско-японской войне вместе с казаками поливали кровью маньчжурские сопки...

— Не пойдем! — шумели в сборном зале.

Вспышка неповиновения в Усть-Медведицком округе для донских властей явилась полной неожиданностью. Сход уполномочил Миронова доставить Государственной думе приговор, содержащий ходатайство о возвращении мобилизованных полков домой и отказ казаков от выхода на внутреннюю службу в случае новой мобилизации.

...По возвращении из Петрограда подъесаул Миронов за антиправительственную деятельность был арестован и до окончания следствия посажен на

гауптвахту в Новочеркасске, а несколько других «смутьянов» — в станичную тюрьму.

Тем временем новый окружной атаман — генерал-майор Филенков — пытался убедить продолжавших митинговать станичников в незаконности составленного ими приговора. Однако казаки наотрез отказались слушать эти разговоры и послали войсковому атаману телеграмму, в которой настаивали на немедленном освобождении из-под стражи Миронова и его сподвижников. Для поддержания чести мундира атаман области Войска Донского Одоевский-Маслов требование Усть-Медведицкого сбора посчитал «ходатайством» и решил удовлетворить «просьбу». Но еще до получения этой санкции пятитысячная толпа казаков осадила Усть-Медведицкую тюрьму, и атаман Филенков, «признав себя бессильным противодействовать такому нашествию», освободил мироновских «сообщников».

Филипп Миронов прибыл домой 14 июня и в тот же день на заполненном станичниками майдане, отчитываясь за поездку в думу, сказал:

— На том заседании думы, где оглашался приговор, военный министр Редигер признал, что высочайшего повеления о призыве казаков второй и третьей очереди не было, и, если оно не поступит, казачьи части внутригосударственной службы нести не будут... Но девятого июля Первая Государственная дума была распущена. Вышло высочайшее повеление о мобилизации, несмотря на это, я готов снять с себя мундир и награды, но жандармом не буду!..

Вскоре, закончив следствие об антиправительственной деятельности Миронова, судебная палата испросила разрешения у военного министра на слушание этого дела в судебном заседании.

Запрос застал министра Редигера в раздумье.

— Как бы судом над Мироновым не подогреть страсти донцов,— рассудил он, имея в виду бунтарские настроения в среде донского казачества *.

30 сентября 1906 года начальник Главного управления казачьих войск генерал-лейтенант Щербаков-Неродович поставил в известность войскового наказного атамана Войска Донского о том, что его превосходительство военный министр приказал состоящего на льготе подъесаула Миронова представить к увольнению от службы в административном порядке в том случае, если следствием подтвердится его антиправительственная деятельность...

Вина Миронова была налицо. И он был уволен после непродолжительной службы в Первом казачьем полку за «очередную дисциплинарную провинность», а следовательно, без пенсионного обеспечения.

В одном из дней весны 1907 года усть-медведицкие нагорные улицы проснулись от громкого:

— Кому сад полить? Кому требуется свежей донской водицы? По копейке за ведро! На гривенник — одиннадцать!..

Теперь увидели казаки Филиппа Кузьмича при всех его регалиях, но не на боевом коне, а на бочке отцовской водовозки *. И пошел по Дону ропот людей, возмущенных глумлением над знаменитым казаком.

— Станицы готовы требовать возвращения Миронова в строй,— доложил вновь назначенному окружному атаману полковнику Ружейникову помощник по наблюдению за политическим настроением населения.

— Это должно быть опасно! — встревожился тот.— Сегодня же доложу его превосходительству войсковому атаману.

Наказной атаман Войска Донского вернуть в строй подъесаула Миронова не мог, но и отмахнуться не решился: предоставил Филиппу Кузьмичу должность начальника земельного стола при своем управлении, потом назначил помощником смотрителя рыбных ловль в гирлах Дона.

В этой должности и застала Миронова русско-германская война. Служебное положение позволяло оставаться в тылу, но он тотчас подал рапорт с просьбой отправить его в действующую армию.

— Офицеру с боевым опытом —

---

* В то время в статье «Политика правительства и грядущая борьба» В. И. Ленин писал: «Повторные мобилизации самых «надежных» войск, казачьих, привели к сильному росту брожения в разоренных казачьих станицах, усилили «ненадежность» этого войска».

* Отец Миронова — Кузьма Фролович — был водовозом в станице Усть-Медведицкой.

место на поле брани,— мотивировал Филипп Кузьмич свое стремление на фронт.

Участие Миронова в военных действиях на русско-германском фронте началось 22 сентября 1914 года в должности командира сотни. Нужно отметить, что оперативные задачи сотне ставились с учетом «боевых возможностей ее командира».

Филипп Кузьмич был не только хорошим тактиком, он умел сочетать опыт с инициативой и личной храбростью, что неизбежно приводило к боевым успехам, которые не могли остаться незамеченными.

В феврале 1915 года есаулу Филиппу Кузьмичу Миронову дума пожаловала георгиевское оружие за то, что, «...командуя разведывательной сотней в районе Бартфельд-Змигрод, с боя добыл важные сведения о расположении и движении противника, чем оказал незаменимое содействие успеху наших войск».

15 февраля 1916 года Филипп Кузьмич был произведен в войсковые старшины, а еще через два месяца назначен помощником командира 32-го полка по строевой части.

«...За свое краткое командование полком я успел узнать и оценить по достоинству войскового старшину Миронова,— писал в своем приказе генерал-майор Неклюдов,— как отличного командира сотни и великолепно знающего свое дело офицера, имеющего большой опыт двух войн: русско-японской и настоящей. Очень сожалею, что не пришлось мне более совместно поработать с ним, но чрезвычайно радуюсь, что назначение на должность помощника командира полка откроет его уму, знаниям и опыту более широкие горизонты для их применения и даст возможность шире проявить свою инициативу и энергию, которой у него так много.

От души поздравляю своего собрата командира 32-го полка Ружейникова с таким отличным помощником. С глубоким сожалением расстаюсь с войсковым старшиной Мироновым, искренне желаю ему всего лучшего в новой служебной обстановке».

Хорошо известный Миронову полковник Ружейников, бывший атаман Усть-Медведицкого округа, командиром был бездарным. Такими же оказались его помощники Моргунов и Шляхтин. Службой они руководили неумело. Дисциплина в полку пребывала на очень низком уровне: конский состав нес большие потери из-за хронической бескормицы, да и казаки страдали от плохого питания, частых болезней. Промотавший казенные деньги сотник Наследышев застрелился...

Миронов взвалил всю работу на свои плечи и ценой огромного труда смог поднять боеспособность полка.

Проводивший в июне инспекторский смотр начальник 3-й дивизии генерал-майор Каледин нашел 32-й полк в отличном состоянии и тут же приказал Ружейникову захватить плацдарм в районе деревни Бибрики на левом берегу Двины.

Во избежание излишних потерь Миронов по собственной инициативе привлек внимание противника к ложным переправам через реку, что позволило дивизии успешно форсировать водный рубеж на нужном штабу участке фронта.

«Я очевидец,— телеграфировал он Ружейникову с места маневра,— и считаю, что охотники, выполнявшие здесь боевые задачи, все подлежат награждению».

Сто тридцать восемь представленных им к награде казаков получили Георгиевские кресты и медали. Сам Миронов был удостоен пятой по счету награды — ордена святого Станислава 2-й степени с мечами.

16 декабря 1916 года под румынской деревней Луковицей все атаки частей 3-й казачьей дивизии гасились ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. В одной из атак Филипп Кузьмич был контужен взрывом снаряда и отправлен в госпиталь с «головокружением, болями в левой половине головы, шумом в ушах и некоторым расстройством речи».

В полк Миронов вернулся только после Февральской революции с убеждением, что продолжение войны невозможно.

Офицеры подразделения и штаба части при тайном голосовании избрали его в состав полкового комитета, а там, в свою очередь, он был избран членом

гарнизонного комитета дислоцированных в городе Рени русских войск.

Одну из своих бесед с представителями сотен и батарей на тему: «Государственное устройство некоторых стран» Миронов закончил голосованием о «желательном правлении для России».

Все шестьдесят нижних чинов предпочли «демократическую республику», а восемь из двадцати шести офицеров — «конституционную монархию», несмотря на то что днем раньше все эти восемь «конституционных монархистов» присягнули на верность Временному правительству...

Тайное голосование покрыло лицемеров, но тяготение к ярому монархисту Ружейникову довольно скоро выдало их с головой. И вслед за тем, пресекая всякую деятельность среди офицерского состава, Миронов предложил Ружейникову немедленно оставить полк.

— Я протестую против вмешательства в мои отношения с командирами и буду просить об откомандировании вас от меня! — возмутился тот.

— А я еще раз рекомендую вам,— твердо заявил Филипп Кузьмич,— добровольно уйти из полка. В противном случае вы будете удалены из него комитетом.

Через сутки их конфликт был закончен заменой Ружейникова полковником Моргуновым, а Миронову было предложено продолжить прерванный «лечебный отпуск».

Но подлечиться и отдохнуть Филиппу Кузьмичу не довелось. По указанию полковника Алексеева, окружного атамана, в станицах и на хуторах распространился слух, что Миронов является сторонником большевиков, которые хотят отдать Россию немцам.

Эти свои акции Алексеев вершил, учитывая настроения донцов. Проигрыш войны с Германией они считали недопустимым позором. Точка зрения Миронова на необходимость неотложного прекращения войны и заключения мира без аннексий и контрибуций находила поддержку только у тех, кто вернулся с фронта. Особенно показательна стычка Миронова с генералом Калединым. Она произошла 30 августа 1917 года в станице Усть-Медведицкой. Атаман Войска Донского навестил станицу при объезде северных округов подвластной ему области с целью подготовки казачьих масс к поддержке контрреволюционного заговора генерала Корнилова.

«Я смещен с должности Главковерха,— информировал Корнилов Каледина.— Я отказался сложить с себя эту обязанность... Деникин и Балуев идут со мной... Если вы поддержите меня своими казаками, телеграфируйте об этом Временному правительству».

Торжественная встреча народа с войсковым атаманом происходила в зале заседаний окружного правления, вместившем только представителей местной чиновничьей знати, всех потомственных и некоторых личных дворян, имевших Георгиевские кресты казаков-фронтовиков да посланцев станиц и хуторов. Тысячи зевак толпились под окнами правления. Им хотелось хоть краем уха услышать речь оратора. И они услышали. А некоторые ухитрились даже, забираясь друг другу на плечи, взглянуть на держащего речь Каледина.

— Освободительная Февральская революция сделала власть народной,— говорил он.— До созыва Учредительного собрания ее возглавило Временное правительство. Но бок о бок с Временным правительством объявился Петроградский Совет. По его наущкиваниям власть командира в армии подрывалась учреждением в полках и соединениях солдатских комитетов. А пока внутренние враги творили анархию, внешние — ликовали, засылали к нам агентов для разжигания междоусобицы.

— Изничтожить смутьянов — и делу конец! — раздавались выкрики в зале.

— Борьба с ними начата,— живо откликнулся Каледин.— Заботами Верховного главкома, его превосходительства генерала Корнилова, армия ставится вне политики; собрания и митинги в войсках запрещены, дисциплинарные права начальствующих лиц восстановлены, выборность командиров, подорвавшая боеспособность вооруженных сил, отменена. Мы — за сильную армию! Нам, казакам, не по пути с социалистами, а по пути с армией народной свободы! Сушите походные сухари! Держите порох в пороховницах сухим! Решительно боритесь против тех, кто подрывает единство и боевой дух казачества! Так, с божьей помощью все поправится, и мы выполним свой обет перед союзниками — доведем войну до победного конца!

— Ур-а-а! — неистово кричали де-

ды, хлопая в ладоши.— Не посрамим донское казачество изменой!

— Долой войну! — требовали фронтовики.

— Долой корниловых!

— Слово Миронову!

— Войсковой старшина Миронов не может здесь выступать,— заявил окружной атаман.— Уполномоченным данного схода он не значится.

— Теперь республика-а-а! — не слушали его молодые казаки.— Почему опять, как в девятьсот шестом, затыкаете ему рот?!

— Просим Миронова-а-а! — доносилось в зал с улицы.

Не дожидаясь атаманских позволений, Филипп Кузьмич взбежал на подмостки и заговорил:

— Да, граждане станичники! Трудовой народ России наконец-то сбросил цепи самодержавия, которые носил сотни лет. Но власть осталась у подручных самодержавия — у помещиков, фабрикантов и банкиров. Вот почему крестьяне не получили землю, рабочие — лучших условий труда, а все мы, вместе взятые, мира. Генералам для продолжения войны и учреждения в стране военной диктатуры нужен казак. По наши души и пожаловал сюда атаман Каледин. Потому-то мы,— Филипп Кузьмич указал на толкавшихся неподалеку от трибуны фронтовиков,— и требуем учреждения в стране не военной диктатуры, а подлинного народовластия!..

— Во-он смутьяна-а! — Старики с руганью стащили Миронова с подмостков, а находившийся при Каледине сотник Игумнов подскочил с обнаженной шашкой:

— Сейчас же извинитесь перед его превосходительством! Иначе, честь офицера, зарублю!

— Тише! — Филипп Кузьмич зябко передернул плечами.— Вы не на балу, здесь дамочек нет, и ваши жесты никто не оценит.

Перед трибуной между калединцами и казаками-фронтовиками завязалась схватка. Станичные и хуторские атаманы пытались восстановить порядок.

Вдруг на подмостки выскочил атаман Широков и, заметно волнуясь, протянул Каледину телеграмму:

— Алексей Максимович, весьма срочная! Только что получена из Новочеркасска.

В телеграмме сообщалось о том, что военный министр Верховский приказывает арестовать атамана Войска Донского Каледина за соучастие в корниловском мятеже.

— Благодарю вас.— Каледин торопливо пожал руку Широкову и покинул зал.

17 января 1918 года избравшие Миронова командиром своего 32-го полка казаки по прибытии в слободу Михайловку, ставшую новым административным центром Усть-Медведицкого округа, по предложению Филиппа Кузьмича постановили: «До взятия власти из рук Каледина и передачи ее трудовому народу по домам не расходиться». Тогда же Филипп Кузьмич был введен в состав Окружного ревкома и возглавил его военный комиссариат.

В станице Усть-Медведицкой создавался ревком из представителей Трудового союза, местной команды и других организаций. Но в час, когда ревкомовцы занялись распределением должностей, к ним прибежал старший паромщик с вестью, взволновавшей всех:

— За Доном с отрядом стоит Миронов. Паром требует, а мы его после зимнего разлива на берегу оставили, проконопатить и смолить сбирались. Теперь спускать придется. С полсотни рабочих надобно *.

— Да-а,— раздумчиво произнес кто-то,— старики припоминают, что уже лет сорок такой оттепели не случалось.

— Спросил меня Филипп Кузьмич,— продолжал паромщик,— чья у нас власть. Ну, я и ляпнул, что вы старшего не выбрали...

— А отряд-то у Миронова не белогвардейский? — спросил у паромщика вахмистр Воропаев.

— Чего не знаю, того не знаю,— замялся тот.

Переправа еще не действовала, а берег Дона возле нее, как говорится, уже ломился от народа. Чуть ли не каждому старому и малому хотелось взгля-

* В конце 1917 — начале 1918 года в Усть-Медведицком округе было два центра: один — революционный, советский — в слободе Михайловке, другой — в станице Усть-Медведицкой. По поручению Михайловского ревкома Миронов с небольшим отрядом прибыл в Усть-Медведицкую для установления в ней Советской власти.

нуть на своего станичника, кавалера восьми боевых орденов и георгиевской шашки. В честь такого служивого положено выставлять почетный караул под знаменем и с музыкой, но прошел слух, что Миронов поддерживает Советы. А это стариков настораживало. Впрочем, было известно и то, что далеко не все Советы большевистские... Даже во ВЦИКе много эсеров и меньшевиков...

— По уточненным данным Миронов в большевиках не состоит,— доложил полковнику Алексееву его помощник по строевой части,— и ни к какой другой партии не прибился*.

— Все равно, сам черт свалил этого Миронова на мою голову,— сетовал Алексеев.— Ну что мне делать? Как его встречать?

С большим нежеланием, но решил сделать все положенное для торжественной встречи прославленного казака. На левобережной пристани еще только-только началась посадка на паром, а у правобережной заняли место в парадном строю конные казаки. Позади них растянулись ряды гимназистов, реалистов, семинаристов... Церковники с иконами и хоругвью расположились слева от причала, а любительский духовный оркестр справа... А «просто публика» облепила склон мелового взгорья. Только «знатные дамы» стояли возле оркестра. Когда мужчины, справляя положенный ритуал, возьмут шашки «на караул», займутся отдачей приветствий и рапортов, они, женщины, должны совершить самое сокровенное — забросать путь Филиппа Кузьмича цветами. Ради этого одного стоит месить на берегу паводковый ил...

Плоскодон с полусотней мироновцев подрулил к станичному причалу. И тотчас же, не дожидаясь закрепления брошенных с борта швартовых, красные бойцы, подобно десантникам, сыпанули на берег. Миронов, одетый в солдатскую, без погон, шинель, перехваченную на груди кавалерийской портупеей, последовал за ними по заменявшим трап бревнам. Только после этого, явно с запозданием, потому что станичное начальство не дало нужного сигнала, оркестр заиграл марш.

Стараясь казаться сторонним наблюдателем, атаман Алексеев только и делал, что поглядывал то на выгрузившихся казаков, то на подъезжавший к левобережной пристани конный взвод, то на попадавшихся в поле зрения мироновских пехотинцев, все еще не покидавших задонских перелесков.

— Надо бы не торжественную встречу ему устраивать, а вообще не допускать в станицу,— цедил сквозь зубы стоящий рядом с атаманом командир местной команды есаул Сенюткин.

Филипп Кузьмич, обнажив голову, приветствовал людей, усеявших прибрежный склон.

— Кузьмич! — с оглядкой на Алексеева из толпы «знатных» усть-медведицких дам шагнула жена Миронова — Степанида Петровна.— О-о, госпо-оди! Ты ли это?!

Алексеев подал знак капельмейстеру:

— Прекратить!!

Пристань быстро очищалась от станичной знати. Подбирая подолы юбок, «знатные дамы» удалялись, так и не бросив цветы под ноги Миронову.

Целуя жену, Филипп Кузьмич говорил:

— Стеша, ступай домой, а то как бы тут неладное не затеялось.

Убедившись, что Миронов стоит за большевиков, поспешавшие в станицу деды толковали между собой:

— Вот она, та самая смута, какая столько лет-годов по России скачет. Считай, и в наши хаты застучалась!

— Да еще как! Только и слыхать, что один полк Каледину служит, а другой — супротив, этим... большакам.

Домой Филипп Кузьмич попал только на следующий день. От скрипа калитки и затоптанного в дорожку камешка до самого укромного уголка — все

---

* До середины 1917 года у Ф. К. Миронова не было каких-либо четких и глубоко воспринятых им политических взглядов. Во время первой русской революции и много позже он примыкал к народно-социалистической партии. Одно время Мироновым владели идеи автономии Донской области. В дарственной надписи на фотографии, подаренной им в 1906 году своему другу и земляку, одному из учредителей народно-социалистической партии, казаку станицы Глазуновской, писателю Ф. Д. Крюкову, Миронов писал: «Автономия донских казаков будет нашим девизом, и на этой платформе лягут наши головы». Но затем в горниле революционных событий Миронов пересмотрел свои взгляды и решительно стал на сторону большевиков.

ему здесь было знакомо и близко сердцу. А от встречи с родными он вконец разволновался. Дочери уже невесты, сын тоже подрос *.

Степанида Петровна встретила его с упреком:

— Истерзал ты меня всю. Перед соседями совестно...— опустилась она на стул и отвернулась.

Филипп Кузьмич подсел к ней, попытался приласкать.

— Стеша...

— Уйди!

— За что такая немилость?

— Меня атаман предупредил, что в последний раз платит за тебя деньги... За ордена тоже платить не будет. И все потому, что ты красным стал...

— Атаманы уже доживают свой срок...

— Сам заблудился,— не слушала его жена,— так детей пощади. Четверо их у нас. Христом-богом молю тебя — вернись на прежнюю службу.

— Нет! — отрезал муж.— Только не это.

За дверью послышался шорох. Догадавшись, что их разговором кто-то интересуется, Филипп Кузьмич открыл дверь. Вокруг стола суетилась незнакомая, чопорная с виду служанка. Миронов хлопнул дверью.

— Давно эта прислуга в нашей семье? — спросил он у жены.

— Ныне вторая неделя пошла,— как-то нехотя ответила Степанида.— До этого она у самого Алексеева служила. Языки разные знает. Это тоже детям нужно.

«Неспроста Алексеев с ней расстался! — мелькнула неприятная догадка.— Наверняка ожидал моего приезда в станицу. Вот и потребовался ему свой глаз в доме окружного военкома...»

— Немедленно рассчитай ее.

— И не подумаю! — отрезала Степанида.

— На какие средства ты содержать ее будешь? У меня с жалованьем положение пока неясное.

— Вижу-у! — взорвалась жена.— Чуть не догола разделся в своей бродяжнической гвардии. А я, пока ты войсковым старшиной был, кое-что сумела накопить. Акции торговой компании купила...

— Плакали твои денежки вместе с мироедской компанией,— усмехнулся Филипп Кузьмич.— Если еще не поздно, продай свои акции, даже в убыток себе.

— Нет уж! Сам не заботишься о своих детях, так я их избавлю от навозных куч! Авось не скажут тогда злые языки, что от наших дочек кизяком воняет.

— Ох, Стеша, напрасно ты, как говорится, лезешь из грязи в князи. Не завидуй богатым. Пробил их двенадцатый час.— Он глотнул слюну.— Проголодался я, Степаша. Собрала бы мне закусить чего-нибудь.

— Поди скажи прислуге.

— С ее кухни я и крошки не съем, капли воды не выпью. Повторяю, рассчитай ее немедленно.

— Повторяю и я — не бывать этому! Ни меня, ни дочерей в кухарки не превращай.

— Ну что ж? — Филипп Кузьмич поднялся.— Пойду на казенные харчи.

Он вышел от жены с пустотой в груди.

На веранде ему преградила дорогу Валентина, выбежавшая из-под окон спальни.

— Папа, не уходи! — ткнулась она в грудь отцу мокрым от слез лицом.— Извини маму. Ее на это знакомые подбивают. Я ее тоже попрошу держаться подальше от них...

— Не беспокойся, моя хорошая.— Он прижал к себе дочь.— Я к вам непременно вернусь.

В середине февраля телеграф в Усть-Медведицкую принес хорошие вести. Одна из телеграмм гласила: «Объявив войну Каледину, Донской ревком в последних числах января делегировал своих представителей на Третий съезд Советов.

В другой сообщалось о том, что 29 января Каледин застрелился, считая борьбу с властью Советов безнадежной.

— Да,— сказал Миронов,— информации стоят того, чтобы их поместили в

---

* По приезде в Усть-Медведицкую Миронов провел большую работу по организации органов Советской власти в станице: создал ревком, начал организовывать отряды красногвардейцев, выступал на митингах перед казаками, разъясняя им цели Октябрьской революции, и, призывая покончить всюду с властью генералов и офицеров, организовал посылку делегатов на окружной съезд в слободу Михайловку.

газете. Сегодня же перед строем объявим отряду эти известия, станичное население оповестим завтра на митинге, а на хутора пошлем агитаторов.

— Так-то можно служить,— толковали красные казаки.

— Не война, а сплошная люли-малина!

— За что мы стоим, за то и люди стоят!

— Нет, братцы,— затеял Филипп Кузьмич беседу с группой бойцов.— Если бы казаки не поддерживали старый режим, то революция давно бы победила. А то ведь что получается: казаки-трудовики, хотя, конечно, далеко не все, разбегаются от своих атаманов, а богатеи со всей России прут в Добровольческую армию генералов Корнилова и Алексеева.

...На активную борьбу с Советами белоказаки северных округов поднялись в конце апреля, когда нижнедонские повстанцы начали действовать, опираясь на части Добровольческой армии, приведенной туда с Кубани ее новым командующим — генералом Деникиным.

В то тревожное время Филипп Кузьмич свободные от службы часы проводил дома. Трехмесячный семейный разлад в доме Мироновых был кончен Степанидой по совету служанки.

Хмарным утром первого пасхального дня 1918 года, разговевшись за семейным столом сдобной пасхой, Миронов принялся писать просьбу Окружному исполкому о немедленной присылке воинских подразделений. На хуторе Большом сотник Виденин создал Совет вольных станиц и хуторов, объявивший, что он не против Советской власти, но против Красной гвардии, которая, дескать, ведет себя так же безобразно, как анархисты,— оскверняет церкви, грабит, убивает мирных жителей.

Знал Филипп Кузьмич, сообщила разведка, что Алексеев, Виденин и Голубинцев готовятся напасть на Усть-Медведицу...

Всего десяток слов осталось написать Миронову, когда в комнату буквально ворвалась дочь Валентина:

— Папа, немедленно уходи из дома!

— Почему?

— Я на урок языка шла, а какая-то сестра милосердия, молодая такая, черняевенькая, медленно меня перегнала и сказала: «Тотчас же вернись и передай отцу, что его с минуты на минуту должны захватить повстанцы». И еще сестра милосердия сообщила, что служанка у нас в кладовой затаилась. По условному сигналу она впустит в дом карателей. Я туда не заглянула, но дверь снаружи тихонько на цепочку закрыла.

Торопливо накинув на себя кавалерийскую портупею с шашкой, полевой сумкой и маузером, Филипп Кузьмич распорядился:

— Входную дверь подержи на засове.— Он поцеловал дочь.— Только ты одна знай — если ничего тревожного не произойдет, я на ночь в штабе останусь! — Распахнул окно и выскочил через него в сад.

— Товарищ командир,— отрапортовал ему в штабе помощник дежурного по отряду,— начальник команды к внешним заставам выехал, а товарищ Воропаев дополнительные секреты выставляет. Вроде тревожные слухи ходят, кадеты, дескать, только того и ждут, чтобы на митинге все мы в одной куче оказались.

Быстро дописав начатую дома телеграмму, Филипп Кузьмич кинулся на телеграф.

В это время, окружив двор, белые офицеры вломились в дом. Они перевернули вверх дном все сундуки, обшарили подвал и чердак, накричали за ротозейство на шпионку и на хозяйку.

— Куда делся твой краснопузый? — подступил к Степаниде Петровне сотник.— Почему наш человек оказался взаперти?!

— Я не знаю, как все это произошло...

— Улизнул! Но все равно из станицы не уйдет. Поймаем и на усах повесим!

Он сорвал со стены рамку с фотографией Филиппа Кузьмича и грохнул об пол.

— Простите, господа офицеры.— Валентина набросила на плечи платок и пошла из дому.

Пожирая ее хмельными глазами, сотник звякнул шпорами и услужливо открыл дверь, ведущую в сад. Но двоим, находящимся при нем рядовым, приказал:

— Скрытно наблюдать!..

В разных концах станицы уже началась ружейно-пулеметная перестрелка, рвались гранаты. В одном из садов, ко-

торыми Валя бежала к переправе, следившие за ней казаки были убиты. Сама она укрылась в рытвине.

— Хоронись поглубже! Не выглядывай! — кричали ей отступающие к Дону мироновцы.

Потом, когда стрельба прекратилась, неподалеку, на бровке склона, залегла цепь белоказаков.

— Господин вахмистр! — послышалось оттуда.— В канавке, кубыть, баба копошится. Шляпа мелькнула!

— Э-э, кто там есть? — спросил хриплый голос.

— Я! — отозвалась Валентина.— Местная гимназистка!

— Придется тебе, девка, ждать, пока завечереет. А то как бы случайно на мушку не посадили, ежели вылезешь!

Наступление вечерних сумерек ускорила непогода. Юго-восточный ветер пригнал низкие серые тучи. Начался дождь...

— Эй ты, гимназия! — снова окликнул Валентину едва слышный из-за шума дождя хриплый голос.— Теперича вряд ли попадут. Так что сыпь оттудова шибче!

На пути к дому, в садах, Валя наткнулась на трупы повстанцев, а на нижней площади увидела захваченных в плен красногвардейцев. И услышала радостную весть:

— Миронова упустили. На плоту ушел...

С трудом переводя дыхание, шепотом сообщила Валя эту новость матери.

Летом 1918 года Царицын был бастионом на Волге, мешавшим белому командованию развить планомерное наступление на Москву. Одну из попыток генерала Краснова во что бы то ни стало ликвидировать эту большевистскую крепость сорвал Миронов самовольно предпринятым наступлением на станицу Усть-Медведицкую. Занятие ее создавало угрозу тылу Калачевской группировки врага.

Слух о том, что Миронов захватил хутор Шашкина, вызвал в станице Усть-Медведицкой страшную панику. Богатеи ударили на станцию Обливская, атаманы из казаков, «способных носить оружие», создавали ударные сотни, торговцы для всех идущих на Миронова устраивали бесплатные попойки... Тех же, кто избегал «тотальной» мобилизации, постигла «смерть на месте без суда и следствия...».

События на Усть-Медведицком направлении спутали оперативные замыслы красновцев... Мамонтов был вынужден несколько своих полков отвлечь для борьбы с Мироновым, штурм Царицына не состоялся.

Несмотря на успехи Миронова, войска Сиверса и Киквидзе *, неся большой урон, быстро откатывались к северу. Неотступно преследуя их, противник создал угрозу Балашову. Не устоял и левый фланг. Удар по отряду Алексея Шамова, нанесенный полковником Багратионовым, помог красновцам вытеснить красных с участка: железнодорожная станция Арчада — станция Качалинская — поселок Гумрак.

30 июля Миронов оставил свои позиции, организованно и неожиданно ушел не в северо-западном, как ожидали враги, а в северо-восточном направлении и занял оборону в Сарино-Поросинской волости, на границе Саратовской губернии.

Причиной поражений Красной Армии было то, что в Донской области за дело пролетарской революции крепко стояла лишь беднейшая часть казачества и крестьянства, да к тому же преимущественно на добровольных началах. Основная же масса сельских тружеников — середняки — продолжала колебаться в выборе своего места в происходящей борьбе. В советских зонах они вступали в Красную Армию все на тех же добровольных началах, а во всех захваченных Красновым округах шла поголовная мобилизация по законам военного времени.

Миронов понимал, что время локальных схваток с контрреволюцией минуло, и 4 августа в рапорте военному руководителю СКВО товарищу Снесареву написал:

«Для успешной борьбы с Красновым

---

* Киквидзе Василий Исидорович — командир Красной Армии. В мае 1918 года сформировал дивизию и был ее начальником. Во время наступления советских войск 11 января 1919 года возле хутора Зубрилова (ныне пос. Киквидзе Волгоградской обл.) был смертельно ранен (умер 12 января). 16-й стрелковой дивизии было присвоено имя Киквидзе.

Сиверс Рудольф Фердинандович — командир Красной Армии. С лета 1918 года командир Особой бригады.

необходима армия из мобилизованных; необходимо быстрое вооружение. Я противник частичной борьбы, признаю общность фронта и единство командования. Медлить нельзя».

В середине августа отряд Миронова был переименован в бригаду, имел 3500 штыков, 500 сабель, два десятка пулеметов и 8 орудий...

Мироновская бригада занимала участок Елань — Красный Яр. Сражения на этом участке не прекращались ни днем, ни ночью. При этом к 27 августа бригада продвинулась на десятки верст дальше своих соседей.

Краснов на августовской сессии Войскового круга, взбешенный успехами мироновцев, сказал представителям армии:

— Если Миронова поймаете, то повесьте его без суда! — И учредил приз за голову героя — 400 тысяч рублей.

А бригада Миронова, несмотря на частые неудачи Южного фронта, продолжала пополняться и к началу октября 1918 года выросла в 1-ю Медведицкую стрелковую дивизию под номером 23, вошедшую вскоре в 9-ю армию.

Предупредив ударами на главных направлениях зимнее наступление красных войск, красновцы в первых числах 1919 года заняли Поворино и Борисоглебск, создав тем самым угрозу захвата узловой станции Грязи и города Царицына. На осадном положении оказался и Балашов.

Тем временем Миронов, разгромив противника на своем участке, 11 января повел стремительное наступление на хутор Зубрилов. Именно здесь был убит начдив-16 — Василий Киквидзе. И если бы мироновские части не подоспели к хутору, враг мог завершить разгром всей дивизии Киквидзе.

По окончании боев комиссар Ковалев сообщил Миронову:

— Командующий фронтом приказал оказать помощь Царицыну. Княгницкий *, кроме сведений о тяжелом положении своей армии, ничего сказать не может.

— Да-а...— Филипп Кузьмич нахмурился,— бригады Сиверса, считай, уже нет. Безусловно, отсутствие времени не дало новым начдивам — четырнадцать, пятнадцать и шестнадцать — привести в порядок свои войска. Но выручить Царицын все-таки можно. Сегодня же я подготовлю свои соображения по этому поводу. Вы, Виктор Семенович, отправитесь доложить их армейскому руководству. Оставить войска я не могу.

Реввоенсовет 9-й армии одобрил план образования группы войск, предложенный Мироновым. В группу вошли дивизии — 23-я и 16-я, получившие общее название «16-я имени Киквидзе стрелковая дивизия». Командиром группы утвердили Миронова.

16 января вновь созданная дивизия прорвалась в тыл белых на участке Филоново — Бударино, а еще через двое суток заняла станцию Урюпинская. Затем дивизия вышла на соединение с 15-й дивизией, потерявшей связь со штабом армии, и, имея оперативный простор, безудержно двинулась на юг, в глубь вражеского тыла. Перешла в наступление и соседняя 14-я дивизия...

Для борьбы с Мироновым генерал Мамонтов опять снял из-под Царицына несколько своих полков и батарей, но исправить положение они не смогли. Против «старорежимных порядков» восстал 28-й Вешенский полк, а десять других казачьих частей постановили: «Больше не воевать и посылать к Миронову делегацию для выработки условий сдачи оружия».

25 января 1919 года на многотысячном собрании сдавшихся казачьих полков и населения станицы Краснокутской было принято приветствие Ленину:

«Горячий привет тебе, Владимир Ильич, непреклонный борец за интересы трудящихся народов,— говорилось в послании.— Мы становимся бесповоротно под Красное знамя труда, находящееся в твоих руках.

Да здравствует полное осуществление идей, за которые выступил пролетариат в Октябре!»

Многие пленные казаки просили зачислить их в 23-ю дивизию.

Заболевший тифом комиссар дивизии Виктор Ковалев незадолго до смерти, напрягая последние силы, писал Миронову:

«Филипп Кузьмич, я требую во имя Революции, чтобы Вы не подвергали

---

* Княгницкий Павел Ефимович — командир Красной Армии. С ноября 1918-го по июнь 1919-го был командующим 9-й армией.

себя явной опасности. Прекратите братание с пленными станичниками. Я страшно боюсь, что могут послать какую-нибудь сволочь для выполнения гнусного замысла. Вы же знаете, что Ваша жизнь нужна Революции и народу, поэтому убедительно прошу, как ваш товарищ и революционер, берегите себя...»

За одержанные в те дни победы над красновскими бандами Реввоенсовет армии объявил Миронову благодарность и наградил шашкой в серебряной оправе. Позднее Миронова наградили золотыми часами с цепочкой.

— Поздравляю, Филипп Кузьмич,— вручая часы, сказал член Реввоенсовета.— Кстати, стало известно, что еще в сентябре прошлого года ВЦИК наградил вас орденом Красного Знамени. Надо полагать — номер этого ордена третий. Первым удостоен Блюхер, вторым — Панюшкин, а третьим, Кузьмич,— вы...

Иное мнение по этому поводу имел Всеволодов.

— Мироновский рывок не что иное, как авантюра,— внушал он начальнику политотдела Реввоенсовета Южного фронта Иосифу Ходоровскому *.— В лучшем случае Миронов за Чиром или Донцом попадет в окружение и будет уничтожен, а в худшем — уведет войска на сторону врага. Ценой такой измены он не только получит себе прощение, но и генеральское звание.

Так же как и Троцкий, вполне доверяя Всеволодову, Ходоровский связался с Мироновым по телефону и предложил ему отвести свою группу войск к основным силам армии.

— В данной, благоприятной для нас обстановке выравнивать фронт отводом в тыл ударных соединений преступно,— возразил Филипп Кузьмич.— Наоборот, необходимо развивать наступление самым энергичным образом. Врагу нельзя давать передышки.

Ходоровский прервал разговор, заявив, что об этой мироновской «партизанщине» доложит Реввоенсовету республики.

Миронов продолжал наступление на белоказачьи части, возглавляемые генералом Сидориным. Политработники и командиры его дивизии читали падающим от усталости бойцам приказ Филиппа Кузьмича и политкома Бураго:

«Товарищи красноармейцы! Рабоче-крестьянская революция победоносно идет к основному гнезду контрреволюции — Новочеркасску; еще одно усилие, пусть оно выше сил человеческих, но победа окажется за нами, а за победой — торжество трудящихся масс и светлая жизнь наших детей. О себе забудем для счастья потомства и человечества!»

Очередной удар по врагу Миронов готовился нанести 28 февраля, тем самым обеспечив выход всей группы на Северный Донец. Но за час до объявления приказа к наступлению Филиппу Кузьмичу телеграфировали, что он отзывается с Южного фронта *.

На следующий день, сдав свою 23-ю дивизию и всю группу войск Александру Голикову, Миронов обратился к частям с прощальным письмом, которое заканчивалось словами: «Солдаты молодой Красной Армии! Не судите меня сейчас и не поминайте лихом за характер. За мои требования, за мою ругань, которой я часто вас награждал. Верьте, что я все возлагал на алтарь торжества революции. Да пошлет вам, родные товарищи, революционный бог успехи в битвах с врагом трудящихся масс! Пусть будет крепким ваш штык, пусть будет меткой ваша пуля!»

Летом 1919 года Деникин наступал широким фронтом. Его Добровольческая армия на стыке Украинского и Южного фронтов прорвалась в северные районы Донбасса. Конница Улагая отбросила Красную Армию с реки Маныч к Царицыну. Форсировав Дон у станиц Золотовская — Константиновская — Николаевская, корпус Мамонтова в первой половине июня достиг Волги у Дубовки. Кавалерийская группа Донской армии под командованием генерала Секретёва устремилась на соединение с восставшими станицами Вешенской и Казанской...

«...Южный фронт обезлюдел и раз-

* Всеволодов Н. Д. — начальник штаба 9-й армии. Впоследствии перебежал к белым.

Ходоровский Иосиф Исаевич — начальник политотдела Реввоенсовета Южного фронта.

* Командарм П. Е. Княгницкий почти в течение десяти дней не решался вручить Миронову телеграмму Троцкого: ударная группа Миронова с большим успехом вела наступательные бои против Донской армии.

ложился,— докладывал тогда полевой штаб Совету Труда и Обороны.— Остались лишь штабы с обозами и единичными стрелками. Опьяненный успехами, противник стал крайне дерзок и смел. Его конница глубоко проникает в наш тыл, наводя на обозы панику. Положение фронта в общем катастрофическое».

Наиболее сильно пострадали 8-я и 9-я армии, испытавшие на себе удары повстанцев Верхне-Донского округа и тыла. Руководивший борьбой с белоказаками Хвесин * обнаружил полную беспомощность.

«Решительно предлагаю вместо Хвесина командующим Экспедиционного корпуса назначить Миронова. Имя Миронова обеспечит нейтралитет и поддержку северных округов, если уже не поздно. Командующий 9-й армией согласен», — телеграфировал 10 июня Сокольников.

В Донскую область Миронов прибыл 14 июня **, через 8 дней после того, как Хвесинский экспедиционный корпус, подвергшийся совместным атакам повстанцев и конницы Секретёва, фактически распался. Однако Реввоенсовет Южного фронта, находившийся под влиянием троцкистов, продолжал утверждать, будто этот корпус по-прежнему силен, что он достаточно оснащен артиллерией и пулеметами...

«Если такие же сведения даны Вам,— сообщал Миронов 24 июня В. И. Ленину, М. И. Калинину и Реввоенсовету республики со станции Анна,— то я считаю революционным долгом донести о полном их противоречии истинному положению вещей. Этим псевдоблагополучием мы закрываем глаза на действительную опасность, поэтому не принимаем должных мер или принимаем их слишком поздно. Экскорпус имеет менее трех тысяч штыков, расположенных на протяжении 150 верст по фронту. Части измотаны, изнурены. От пятнадцати тысяч курсантов остались жалкие сотни и десятки. Корпус может играть лишь роль завесы...»

Ленину эту информацию не передали. Позаботился об этом заведующий политотделом Южного фронта Иосиф Ходоровский. Вскоре после этого он же при объезде армейских реввоенсоветов фронта, не скрывая своей неприязни к Миронову, сказал Сокольникову:

— Опять твой Филипп Кузьмич до власти дорвался.— Помолчал немного и добавил: — Вообще-то он твой крестник — тебе за ним и поглядывать. Главное, чтобы он никаких казакоманских фортелей не выбрасывал. Кстати, чем он сейчас занимается?

— Мобилизацией казаков для своего нового кавалерийского корпуса,— ответил Сокольников.— Даже из-за линии фронта умудряется кое-кого переманить. Всех свозит на станции Анна и Хава в Воронежскую губернию *.

— Да, популярность Миронова среди казачества огромна. Но благонадежность весьма сомнительна, поэтому Лев Давыдович ** просил держать этого артиста подальше от линии фронта.

Через несколько дней Реввоенсовет Южного фронта приказал Миронову передислоцировать казаков, собранных в Анне и Хаве, в Саранск Пензенской области, а ему самому было предписано выехать в Москву. Казачий отдел ВЦИК заинтересовался положением дел в корпусе.

... В столице Филипп Кузьмич сообщил Казачьему отделу ВЦИК о состоянии формируемого им соединения и доложил свои соображения по привлечению трудового казачества на сторону Советской власти. Высокий государственный орган, одобрив их, постановил:

---

* Хвесин Тихон Серафимович — командир Красной Армии. В мае — июне 1919 года командовал Экспедиционным корпусом по подавлению восстания белоказаков на Дону. Автор дает несколько неоправданную характеристику известному советскому военачальнику. В 1920 году Хвесин был награжден орденом Красного Знамени.

** С марта 1919 года Миронов был помощником и временно исполняющим дела командующего Литовско-Белорусской армией.

---

* Решительным защитником Ф. К. Миронова, ценившим выдающиеся полководческие способности, не сомневающимся в его преданности революции и знавшим об огромной популярности Миронова среди казаков Дона был член РКП(б), член Реввоенсовета республики Г. Сокольников. В. И. Ленин в шутку называл Миронова «крестником Сокольникова».

** Троцкий.

«...Принимая во внимание полную преданность товарища Миронова Советской власти, наглядно доказанную им кровавыми боями с ее противниками в течение двух лет, кооптировать товарища Миронова в члены Казачьего отдела ВЦИК, использовав его как военного стратега на фронте в действующей армии по усмотрению высших военных властей».

Но главным итогом поездки Филиппа Миронова в Центр стал его неожиданный доклад «О борьбе с контрреволюцией на Дону», сделанный им 8 июля 1919 года В. И. Ленину и М. И. Калинину.

Волнующим было это событие для Филиппа Миронова. Одно дело получить одобрение тактики отрыва рядового казачества от Деникина у таких же, как он сам, деятелей Казачьего отдела, и совсем другое — докладывать об этом Владимиру Ильичу Ленину. Как воспримет его соображения вождь революции? Что же ему, Филиппу Миронову, вожаку донцов-трудовиков, делать, если Ленин не согласится с ним? Уйти с арены борьбы за социальную революцию? Но это невозможно. Немыслимо отступить от своей жизни, отданной борьбе за лучшую долю простых людей.

И вот этот день настал *.

Москва. Кремль. Кабинет Ленина. Всех вошедших Владимир Ильич встретил рукопожатием.

— Прошу садиться,— указал он посетителям на стулья. Затем опустился в кресло за своим столом и сказал: — Казачий вопрос в гражданской войне приобрел большое значение. Попытки Центра и Реввоенсовета Южного фронта быстро решить его, как известно, окончились неудачей.— Ленин пристально взглянул на Миронова.— По рекомендации товарища Макарова просим вас, Филипп Кузьмич, изложить нам главнейшие, по вашему мнению, обстоятельства и высказать свои соображения.

Миронов встал, мельком взглянул на первые строчки своего доклада и подумал: «Только бы не сбиться, не потерять нить». Руки его слегка подрагивали.

— Побеседуем сидя,— сказал Владимир Ильич.— Удобнее будет.

Филипп Кузьмич сел, расслабившись, успокоился и начал свой доклад:

— Революция свершилась, когда фронтовое казачество уже задумывалось о доме, а в некоторых случаях и требовало: «На Дон!»

Генерал Каледин готовил казаков для войны с большевиками, но донцы-фронтовики не поддержали его замыслы...

То, что не удалось генералу Каледину, удалось генералу Краснову и еще в большей степени генералу Деникину. Вернувшись домой, фронтовое казачество попало под влияние отцов и дедов, контрреволюционного офицерства и церкви, вследствие чего вскоре перешло на сторону врагов народа.

И во многом виноваты мы,— говорил докладчик.— Дон был заброшен, предоставлен самому себе, чтобы захлебнуться потом в собственной крови.

Характеризуя то время, Миронов сосредоточил внимание слушателей на происходившем в марте — апреле 1919 года в Донской области безудержном разгуле анархистов, влившихся тогда в красноармейские ряды.

Станичники были бессильны разобраться в событиях, не могли понять, уяснить себе всего размаха пролетарской революции, их пугала реквизиция скота и хлебных запасов, вызванная голодом в стране.

Филипп Кузьмич перелистнул страницу доклада и зачитал тезис, вписанный им по совету Макарова и обсуждавшийся уже на Реввоенсовете республики. Это была рекомендация о проведении съездов по выборам окружных органов власти с участием крупных политических работников Центра. Мотивировалось это тем, что нельзя не обращать внимания на невежественность казачества, которое не видело выдающихся деятелей революции.

Это утверждение Ленин встретил, казалось, с повышенным вниманием — сделал заметку на лежащем перед ним листе бумаги.

— Владимир Ильич,— обратился к Ленину Миронов,— мне поручено формирование Донского кавалерийского корпуса и командование им. Прошу оказать мне всемерную поддержку, чтобы я смог в наикратчайшее время собрать ту силу, которая поможет нам на Донском фронте взять инициати-

* В. И. Ленин вместе с М. И. Калининым и комиссаром Казачьего отдела ВЦИК Макаровым приняли Миронова 8 июля 1919 года.

ву в свои руки. Головой ручаюсь, что через полтора месяца мы выбросим деникинские банды из Советской России.

Поддержка Миронову была обещана, но при условии его работы в контакте с Казачьим отделом, без ведома которого он ничего не должен предпринимать.

Затем, после ухода Миронова, Владимир Ильич сказал:

— Жаль, что в свое время мне всего этого не сообщили. Такие люди нам нужны. Необходимо умелое их использование.

Миронов рассчитывал закончить формирование Донского кавалерийского корпуса к 15 августа; его личный состав, особенно рядовой, быстро увеличивался за счет бежавших от Деникина трудовых казаков и крестьян.

«Все, у кого крепкие руки да меткий глаз, все — под ружье, все — под Красное знамя труда, которое вручает нам сегодня революция. Только дружным усилием и натиском мы сломим тех, кто изгнал нас... Не надейтесь, чтобы кто-нибудь другой сделал это. Цепи рабства уже перед нашими глазами. Жизнь или смерть — другого выбора нет...»

Предполагалось, что появление Донского корпуса на Южном фронте при наличии конницы Буденного гарантирует полный успех.

Но едва ли не за месяц до назначенного срока поступление в корпус Миронова людей, коней и даже продовольствия прекратилось. 31 июля, окончательно убедившись в преднамеренности задержки создания Донского корпуса, Филипп Кузьмич отправил Ленину письмо, где откровенно говорил о злоупотреблениях по отношению к трудовому казачеству.

«Я не могу быть в силу своих давнишних революционных и социальных убеждений ни сторонником Деникина, Колчака, Петлюры, Григорьева, ни других контрреволюционеров,— писал он в конце своего обращения к вождю.— Но я с одинаковым отвращением смотрю на насилия тех, кто его чинит над трудовым народом. В силу чего не могу быть их сторонником. Заслуживаю ли доверия — судите по этому письму. Искренне уважающий Вас и преданный Вашим идеям — командир корпуса, гражданин-казак Миронов».

Это обращение, как и все посланные им ранее корреспонденции, Владимиру Ильичу передано не было.

— Пока Миронов мой подопечный,— сказал тогда Троцкому, находившемуся в Пензе, член Реввоенсовета республики Ивар Смилга,— комкором он не станет и на фронт не попадет. Это по моей санкции политработники Донкорпуса выразили ему недоверие и предложили расформировать уже сколоченные части. Одну дивизию под командованием Булаткина все-таки считаю возможным сохранить. Остальных людей, вооружение, а также сверхштатных теперь политотдельцев, ранее предназначенных для Донского корпуса, отдадим другим соединениям фронта.

«Первопричина недоверия Миронову,— доложил Казачьему отделу ВЦИК ездивший в Саранск Феодосий Кузюбердин,— это вообще его популярность и большое недовольство красноармейцев-казаков членом Реввоенсовета Донкорпуса Лариным, политотдельцами Рогачевым, Болдыревым и еще двумя товарищами — членами военного трибунала Лисиным и Букатиным...

Сам Миронов производит впечатление человека затравленного. Боясь покушения или ареста, он держит возле себя непосредственную личную охрану. Но не только его охрана, все бойцы корпуса пребывают в возбужденном состоянии и каждую минуту готовы к вооруженному выступлению на его защиту... Все донское революционное казачество чутко прислушивается к тому, где он находится и что делает... Миронов непохож на Григорьева * и далек от авантюры, однако григорьевщина подготавливается искусственно, и он может оказаться спровоцированным на свершение отчаянного шага...»

Сам Миронов терялся в догадках: «Почему Сырцов ** прислал мне этих политработников без согласования с Казачьим отделом ВЦИК, ответственным вместе со мной за состояние кор-

---

* Г. Григорьев, — бывший штабс-капитан царской армии. Командовал одной из частей Красной Армии. В начале 1919 года поднял антисоветский мятеж на Южной Украине. Мятеж был подавлен частями Красной Армии в мае 1919 года.

** Сырцов Сергей Иванович — член Реввоенсовета Южного фронта.

пуса? И случайно ли их появление в то время, когда я находился в Москве? Всего немногим больше месяца назад вождь республики обещал мне всемерную помощь и поддержку, а теперь открыто попирается его воля. Что это? Заблуждение или злой умысел?»

Вспомнил Филипп Кузьмич события в Морозовском районе *, связанные с «расказачиванием»: «Нет! Там правильно расстреляли виновных в глумлении над казаками. Значит... значит, доверенное мне соединение надо продолжать создавать, не щадя своих сил».

Но события в корпусе начали стремительно развиваться и в другом направлении. С утра 22 августа к Миронову зачастили делегации полков и команд с просьбой объяснить на митинге, почему не доставляют оружие, продовольствие, фураж...

— Филипп Кузьмич,— возбужденно говорили ему станичники,— мы прибыли к тебе добровольцами, чтобы воевать с генералами, а не ждать голодной смерти. Мало того что атаман Богаевский нас казачьего звания лишил, так теперь еще белогвардейцы вовсе безнаказанно над нашими семьями глумятся!

— Или в бой нас веди, или ослобони на все четыре стороны!..

Но ни того, ни другого Миронов сделать не мог. Особенно страшным бы оказался роспуск казаков. Он мог быть губительным. Разуверившиеся в крепости Советской власти казаки могли захотеть искупить свою вину за пребывание на стороне красных.

Создавалось критическое положение. Миронов хотел действий, согласованных с политработниками соединения, но те еще 8 августа отказались принять его в партию, старались вызвать у бойцов и командиров недовольство, которое могло повлечь за собой «усмирение».

Голова огнем пылала от мыслей: добившись карательных мер против Донского корпуса, ларины и сырцовы с радостью скажут Ленину, что их недоверие к казачеству вполне обоснованно.

— В феврале при участии Ходоровского и председателя Хоперского ревкома Ларина меня спровадили на Западный фронт,— негодовал Филипп Кузьмич в разговоре с начальником штаба Крапивиным и неутвержденным комиссаром корпуса Евгением Ефремовым.— Правда, сделали это под предлогом повышения в должности, но я понимаю, это все-таки была ссылка. Теперь меня вернули на Южный фронт, но в результате я опять отлучен от Дона — в Саранске. Почему политработники корпуса не радеют о его формировании? Если мне не верят, в том числе и вы, станичники-коммунисты, скажите об этом прямо, и я уйду. Мешать не буду. Но не держите меня в неведении.

— Хотя мое назначение здесь не утверждено,— ответил Ефремов,— тем не менее я отправлюсь к руководству фронта с докладом о нетерпимой обстановке в корпусе.

— А я,— добавил Крапивин,— с такой же информацией поеду в Казачий отдел ВЦИКа.

— Поезжайте, прошу вас. Самому мне от войска отлучаться сейчас никак нельзя. В Козлове, Евгений Евгеньевич, постарайтесь найти самого командующего фронтом и поставить его в известность. Я знаю его мнение, что революционную борьбу на Дону следует вести с классовых, а не с сословных позиций. Да еще, пожалуй, Мехоношина *. Он будто бы тоже видит в трудовом казаке нужную республике силу. А ты, Капитон Севастьянович, обо всем здесь происходящем расскажи товарищу Ленину. Думаю, что с помощью комиссара Макарова по такому поводу все-таки можно попасть к Владимиру Ильичу.— Миронов достал из походного сейфа копию отправленного Казачьему отделу письма и подал его Крапивину.— Вручишь адресату, если оригинал им не получен. Главное в нем — просьба развеять нависшую надо мной хмарь. Пора понять, что массы идут не за личностью, а за носителем определенной идеи. Самое лучшее для социальной революции — это замена теперешних политработников новыми, с более широким политическим кругозором. Прошу экстренным поездом доставить

---

* Председатель ревкома станицы Морозовской Богуславский, проводя ошибочные указания из штаба армии, отдал приказ о расстреле группы заключенных местной тюрьмы. Прибывший в Морозовскую штаб 9-й армии по жалобам населения отдал Богуславского и его подручных под суд революционного трибунала.

* Мехоношин Константин Александрович — член РВС Южного фронта.

обмундирование и обувь. Нельзя допускать, чтобы люди оставались раздетыми. Начнутся холода, и ручаться за покой личного состава соединения будет нельзя. К тому же возмущение могут и спровоцировать... Мне кажется, кому-то хочется, чтобы казаки перерезали друг друга начисто, хочется противопоставить казаков всей Красной Армии.

Проведенные в тот же день митинги показали, что выступить на борьбу с Деникиным, несмотря на указания Реввоенсовета соединения, полны готовности не только беспартийные массы, но и многие коммунисты.

Развязка наступила скоро. Корпус Мамонтова, прорвавшийся в тыл советских войск, разграбил и сжег в Тамбове все военные склады, а затем 22 августа взял Козлов. Находившийся там штаб фронта с узлом связи поспешно эвакуировались. Управление советскими войсками нарушилось. Группы Шорина и Селиванова начали действовать в расходящихся направлениях.

Узнав об этом, Миронов немедленно решил «спасать Южный фронт». Он выпустил «приказ-воззвание», в котором сказалась его тревога за судьбу революции, но где он явно переоценил свое в ней значение. В «воззвании» этом звучала обоснованная критика отдельных работников местных, а отчасти и центральных партийных органов за промахи в решении казачьего вопроса, но, к сожалению, им не до конца была осознана диалектика классовой борьбы и политика Коммунистической партии. Как следствие всего этого на знамена Донского корпуса оказались вынесенными политически ошибочные лозунги.

Смилга *, следивший за всем происходящим в корпусе, приказал Миронову немедленно приехать в Пензу.

— Здесь сейчас командующий отдельной группой Шорин,— сообщил он.— Совместно наметим план действий.

От выезда Миронова удержала анонимная записка, в которой сообщалось что «в Пензе его непременно арестуют». 23 августа Миронов телеграфировал штабу 9-й армии:

«Прошу передать Южному фронту, что я, видя гибель революции и открытый саботаж с формированием корпуса, не могу дольше находиться в бездействии и, зная из писем с фронта о том, что он ждет меня, выступаю с имеющимися у меня силами на жестокую борьбу с Деникиным и буржуазией».

Реввоенсовет Южного фронта объявил Миронова вне закона, а уходящий с ним корпус мятежным и двинул против него воинские части.

До фронта Донской корпус не дошел. 13 сентября под хутором Сатаровским Ново-Анненской станицы он без сопротивления сложил оружие перед корпусом Буденного. Миронов и более четырехсот командиров, политработников и красноармейцев были арестованы и привлечены к ответственности.

Предварительное следствие Троцкий поручил вести судебно-следственной комиссии под руководством начальника политотдела 9-й армии Дмитрия Полуяна, а затем превратил эту комиссию в трибунал и приказал Полуяну: «Дело предателя Миронова разрешить в Балашове».

Своей статьей «Полковник Миронов», опубликованной в газете «Известия», Троцкий задал тон всему судебному процессу. В статье утверждалось, что «напрасно изменник Миронов клянется, будто Деникин его враг. Нет! Миронов восстал против Советской власти, стало быть, он Деникину помощник. Деникин воюет против Советской республики, значит, Миронову защитник и опора... В могилу Миронова история вобьет осиновый кол как заслуженному авантюристу и жалкому изменнику».

Суд начался 5 октября в заполненном публикой зрительном зале кинотеатра. В зале было много военных. Обвиняемых оказалось всего полтора десятка человек, остальные арестованные, в большинстве своем даже не допрошенные на предварительном следствии, ждали участи в тюремных камерах.

Миронов выглядел изнуренным, но держался спокойно и с достоинством. Слева на гимнастерке поблескивала эмаль значка красного командира.

— Поймать и расстрелять предателя Миронова сам Ленин велел,— шептались в зале.

— А какой еще приказ может отдать вождь, если ему председатель Реввоен-

* Смилга И. Т. был членом Реввоенсоветов нескольких фронтов, представителем ставки Верховного командования Красной Армии.

совета республики Троцкий доложил, что Миронов свой корпус уводит к Деникину?! — спросил комбриг с рукой на перевязи.

Филипп Кузьмич признал себя виновным в предъявленном обвинении «по всем пунктам, за исключением некоторых деталей...».

Пролетарской революции он не изменял. Неблагонадежным его объявили после того, как он начал критиковать отдельных местных ревкомовцев, и особенно резко Троцкого, за поступки, вредившие Советской власти.

Войска выражали готовность бить Деникина, а это побудило его, Миронова, вести их на передовые, чтобы спасти фронт.

— У меня было сознание,— объяснял свои действия Миронов,— что победителя не судят, что в конечном счете мои действия будут поняты и меня восстановят в правах законного гражданина Советской республики.

Показания Миронова подтверждали и другие подсудимые.

— Миронов разоблачал тех, кто своими действиями толкал трудовое казачество в лагерь белогвардейщины,— сказал комиссар сотни, бывший член Казачьего отдела ВЦИК Данилов.— Я был очевидцем такой вредной политики и в нашем Донском корпусе, поэтому пошел за Мироновым.

С напряженным вниманием слушал зал последнее слово подсудимого Миронова. Казалось, что смертной казни он не страшился. Много лет уже в каждом бою смерть стояла с ним рядом. Но принять ее от братьев по оружию было обидно и нелепо.

— Граждане судьи,— сказал Филипп Кузьмич.— Обвинитель Смилга заявил, что я незнаком с учением Маркса. Да, я его не знаю. Но если бы у меня были такие же наставники, как у товарища Смилги, то я смог бы стать таким же знатоком марксизма, каким являюсь в военном деле. Во Франции были социалисты, озабоченные мыслью о справедливости, всюду искавшие ее. Это люди в высшей степени искренние, они стремились к справедливости душой и сердцем. Называют их социалистами-эмпириками. Таким как раз являюсь и я. В этом мое несчастье. Обвинитель вполне обоснованно настаивает на суровом наказании. Это я должен был предвидеть. Самовольное выступление было совершено в военное время, могло повлечь за собой опасные осложнения. Но ведь я выступил на фронт! Да, суд должен быть строгим. Но, несмотря на это, я все же прошу трибунал сохранить мне жизнь и оставить меня в рядах армии. Только не считайте эту просьбу желанием спасти свою шкуру. Назначьте испытание, которым я могу доказать свою преданность революции. Я буду защищать Советскую власть, не жалея ни своих сил, ни жизни. Но прошу оградить меня от всех, кто по непонятным мне причинам хочет противопоставить казаков и революцию. Я казак и казаком умру. От вас зависит — как умру...

Командира Донского корпуса и десять ближайших его сподвижников Чрезвычайный трибунал приговорил к расстрелу. Остальные были приговорены к различным срокам заключения и к отправке на Архангельский участок Северного фронта.

...Получив от Дзержинского информацию о процессе, Политбюро с участием Ленина 7 октября постановило: дело бывшего командира Донского кавалерийского корпуса Миронова и других, арестованных за организацию мятежа, пересмотреть.

8 октября дежурный по тюрьме открыл дверь камеры и крикнул:

— Филипп Кузьмич Миронов, выходите!

— Пора?!

С тяжелым сердцем поднялся с нар Миронов, накинул на плечи шинель.

— Следуйте за мной!

— Попрощаться с товарищами можно?

— Вас вызывают в канцелярию без вещей,— ответил дежурный.— Идемте!

В тюремной канцелярии находились члены трибунала — Смилга и Крыленко *.

— Я,— Смилга пристально смотрел на Миронова,— я и состав суда склонны обратиться с просьбой о помиловании вас и ваших товарищей. Только сделаем мы это после вашего обяза-

* Крыленко Николай Васильевич — партийный и государственный деятель. В 1919 году председатель Верховного трибунала при ВЦИК, одновременно государственный обвинитель на крупнейших политических процессах.

тельства впредь честно служить Советской власти и революции.

Филипп Кузьмич не поверил своим ушам: ходатайство прокурора и судей после ими же вынесенного приговора — случай небывалый. От сознания того, что все-таки возможно восстановить свое доброе имя, не стыдясь слез, навернувшихся на глаза, сказал:

— Весь остаток своей жизни и сил я отдам борьбе за власть Советов и революцию! Это свое обещание готов изложить письменно и подписать как присягу.

Смилга знал, что в тезисах ЦК партии, опубликованных 30 сентября, Миронов назван «изменником». Остальная часть тезисов посвящалась защите казачества от нарушителей революционной законности. Даже Красной Армии предложено твердо помнить, что в обстановке Донской области каждый инцидент обращается в крупный политический конфликт. Но были предположения, что пересмотр балашовского процесса завершится реабилитацией Миронова.

— Нам достаточно ваших устных заверений,— Смилга поднялся.— Сожалею, но свое первое мнение о вас я создал по информации о речах на корпусных митингах, по «приказу-воззванию» и, наконец, выступлению из Саранска. Вы мне показались человеком, возомнившим себя «спасителем России» от Деникина и Коммунистической партии. Но процесс показал, что многое в ваших рассуждениях и делах происходило от политической незрелости и горячности характера, а не от враждебности.

...Ввиду полного раскаяния и осознания вины ВЦИК 8 октября помиловал Миронова и его сподвижников. Их расстрел был предотвращен, однако помилование не означало признание их полной невиновности и отмены всякого наказания. Политбюро предложило члену ЦК и председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, а также секретарю ЦК РКП(б) Елене Стасовой проанализировать Саранское дело с целью окончательного выяснения содеянного каждым из участников события. Филиппа Кузьмича доставили в Москву. Это позволило комиссии выслушать его лично. Владимир Ильич расспросил о процессе побывавших на нем представителей центральных органов власти.

В те дни, находясь в гостинице «Альгабра» под «мягкой» охраной, Миронов написал «Обращение к донским казакам»:

«Остановитесь! Опомнитесь! Задумайтесь, пока не все потеряно, пока еще можно найти путь к миру с трудящимися массами республики. Бросайте ваших генералов и идите к трудовому народу, чтобы с ним, рука об руку, закончить борьбу труда с капиталом... Коммунистическая партия жестоко расправляется только с врагами трудящихся масс, с врагами пролетариата. Не щадит она и своих членов, если они своим поведением и поступками действуют не в пользу Советской власти, а приносят ей вред. Такие коммунисты, например, в станице Морозовской за творимые ими в казачестве безобразия уже расстреляны. В сентябрьских тезисах ЦК РКП(б) «О работе на Дону» говорится: «Столь же демонстративный характер нужно придавать расправе над теми лжекоммунистическими элементами, которые проникнут на Дон при его освобождении и попадутся в каких-либо злоупотреблениях против казачества...»

Братья станичники! Я глубоко верю, что вы услышите меня, поймете сказанное мною и, покинув генерала Деникина, уйдете в ряды Красной Армии, где будете охотно приняты».

Обращаясь к офицерам Донской белой армии, Миронов писал: «Опомнитесь, остановитесь и вы! Вами уже достаточно пролито крови, чтобы с ужасом отвернуться от ее луж. Вы виновники этой крови и всех ужасов, пережитых Доном. Искренне раскаявшихся офицеров Советская Россия примет как братьев...»

Тогда же, по прочтении статьи Троцкого «Полковник Миронов», Филипп Кузьмич по поводу ее концовки записал в своем блокноте:

«Льстит моему самолюбию, что осиновый кол на моей могиле вбился бы не руками человека, всегда пристрастного, а историей. Этой старушке отказать в искренности и чистоте исповеди преступно. Она-то и покажет, кто из нас прав: Лев Троцкий или Филипп Миронов».

23 октября 1919 года доклад Дзержинского о Миронове был заслушан на заседании Политбюро ЦК РКП(б). Бюро постановило: Ф. К. Миронова от всякого наказания освободить, ввести его в состав Донисполкома, а ввиду высказанного им Дзержинскому жела-

ния вступить в Коммунистическую партию признало, «что он может войти в партию обычным порядком, т. е., побыв сначала не менее трех месяцев сочувствующим...». Все осужденные с ним тоже были освобождены от наказаний и подлежали распределению по войсковым частям и советским учреждениям.

Летом 1920 года Советская Россия вела войну на два фронта — с белополяками и армией Врангеля. Занимая Крым, части генерала Врангеля к началу августа захватили Таманский полуостров и проникли в глубь Кубани, в Северной Таврии достигли рубежа Синельниково — Славгород и со стороны Таганрога нацелились на Дон и Донецкий бассейн. Обстановка требовала более решительных действий против Врангеля. Член РКП(б) с января 1920 года Филипп Кузьмич Миронов откликнулся на эту необходимость желанием вернуться в Вооруженные Силы республики.

«Прошу забыть о недоразумениях прошлого,— написал он Центральному Комитету партии,— и разрешите мне отдать свои военные знания и опыт, а может быть, и жизнь за дело укрепления коммунизма в рядах Красной Армии, первые шеренги которой пришлось мне создавать на севере Дона в 1918 году против Каледина и Краснова...»

30 августа Реввоенсовет республики назначил его командующим 2-й Конной армией. 2 сентября Филипп Кузьмич принял армию, когда она выводилась на ремонт в тылы Юго-Западного фронта. В предыдущих боях 2-я Конная понесла столь тяжелые потери, что Врангель перестал брать ее в расчет как реальную силу. В ней осталось только 1500 сабель, из которых боеспособных было не более 500. Нуждалась она и в улучшении управления частями.

«В последних боях наблюдалось крайне прискорбное явление — отсутствие взаимной поддержки между частями, что влекло за собой поражение одной части, в то время как другие оставались хладнокровными зрителями»,— говорилось в докладе Военного совета Главному командованию.

Плохо обстояло дело и с обмундированием. У многих конармейцев пришли в негодность сапоги, не было нательного белья, шинелей, головных уборов...

Знакомство с армией Миронов начал смотром частей. Настроение у него было приподнятое: бойцы были рады воевать под его командованием. И хотя учение 8 сентября подтвердило недостаточную боевую готовность, все подразделения за свое старание получили благодарность командира. Но только за старание. Ратное умение предстояло обрести в настойчивой учебе.

9 сентября Филипп Кузьмич издал приказ, где напомнил командирам, что долг каждого из них — в кратчайший срок пополнить свои знания и передать их красноармейцам. Противника можно сокрушить лишь организованностью и дисциплиной.

Большое внимание командарм приказал уделять уходу за конем, содержанию в образцовом порядке инженерного имущества, снаряжения и амуниции, артиллерийского, стрелкового и холодного оружия, телефонно-телеграфной связи, подготовке разведчиков и организации санитарно-медицинской службы. А пополнение личного и конского состава прибывало из различных губерний и областей — с Дона и Кубани тянулись к Миронову добровольцы...

Занятия во всех подразделениях армии проходили от рассвета до темна по «Основным указаниям для командного состава», написанного самим командармом.

«Главное назначение конницы,— указывал в них Миронов,— стремительно прорвать оборону противника, ворваться в тыл, вселить панику в его ряды и навязать бой в наименее выгодных для него условиях».

Первая неделя была посвящена обучению бойцов действиям в составе отделения, взвода, эскадрона. Затем Реввоенсовет нацелил командный состав на сколачивание полков, бригад, дивизий. Прочной опорой в решении учебных задач в политическом воспитании являлись коммунисты — на 1 октября в партийных ячейках армии числилось уже до 3700 членов РКП(б) и 800 кандидатов...

Полковые и бригадные учения проводились атаками эскадронов разомкнутым и сомкнутым строем на полигонах с такими препятствиями, как изгороди, копны, рвы...

При этом всегда имелись в виду указания командарма о том, что внезапность атаки, стойкость в бою, взаимная выручка и неотступное преследование

разбитого врага являются главными условиями победы.

Артиллеристы «готовились к смертельному бою с расчетом превзойти в нем стрельбою врага».

В начале октября специальная комиссия и член Реввоенсовета Южного фронта Гусев * отметили, что с приездом Миронова в армии произведена огромная организационная работа. Находясь под неустанным вниманием политработников и командиров, 2-я Конная армия совершенно преобразилась, превратившись в стройную, организационную, спаянную сознательной дисциплиной армию. Ее войска были полны революционного стремления победить или умереть, но не дать врагу сделать и шага вперед.

27 сентября с наказом Ленина — не допустить зимней кампании — в командование Южным фронтом вступил Михаил Васильевич Фрунзе.

Завершал в те дни подготовку к генеральному наступлению и Врангель.

— Ближайшей нашей задачей является разгром противостоящих советских войск прежде, нежели Фрунзе восстановит их боеспособность,— говорил белый главком собранным в ставке генералам.— Стратегический план уже скорректирован и объявлен в моей директиве. Реализация его в конечном счете сорвет советско-польские переговоры о заключении перемирия и развяжет руки маршалу Пилсудскому для продолжения войны до победного конца.

Выполнение этой директивы белые начали на рассвете 8 октября броском через Днепр, у острова Хортица, 1-го армейского корпуса Кутепова и Кубанской кавалерийской дивизии. Сбитые ими позиции частей 13-й армии поспешно отступали в Западном направлении.

— Теперь на вас лежит самая ответственная задача,— сказал Фрунзе по телефону Миронову,— от быстроты выполнения которой зависит вся судьба решающей операции. Сильным и энергичным ударом все, что переправилось, должно быть смято и уничтожено. Надеюсь, что вы и вверенная вам армия с задачей справитесь скоро и решительно. Первую, Третью и Сорок шестую стрелковые дивизии передаю в ваше оперативное подчинение.

— Обещаю разбить врага наголову! — твердо ответил Филипп Кузьмич.

Угрозу ликвидации кутеповского десанта 2-я Конная армия создала уже на следующий день. Но, пользуясь тем, что все ее внимание было сосредоточено на операциях в районе Александровска, 3-й армейский корпус генерала Драценко и конница генерала Барбовича 9 октября форсировали Днепр на участке Бабино — Ушкалка и без боев достигли Грушевки. Затем, расширяя плацдарм, они через двое суток заняли Никополь. Тем же временем 2-й армейский корпус генерала Витковского развил наступление на Каховском направлении.

Фрунзе, озабоченный создавшейся обстановкой на днепровском побережье, 11 октября в 4 часа телеграфировал Миронову:

«Невзирая ни на какие изменения в обстановке в районе Апостолово — Никополь — Александровск, нами не может быть допущен разгром левого фланга 6-й армии и отход ее с линии Днепра, и в частности с Каховского плацдарма. Вторая конная должна выполнить свою задачу до конца, хотя бы ценой самопожертвования».

А положение красных войск продолжало ухудшаться. 13 октября, поддержав конные части броневиками, враг разобщил соединения 2-й Конной армии, отсек от нее и начисто рассеял приданную ей 3-ю стрелковую дивизию, а на участке Александровск — Апостолово захватил бронепоезд, несколько броневиков и артиллерийских орудий. Миронов на некоторое время потерял управление войсками.

«Разгром войск Фрунзе завершается,— радировал Врангель штабу союзников.— 2-я Конная в ближайшие часы будет истреблена кавалерией двух армейских корпусов под общим командованием генерала Бабиева».

Барон просчитался. Именно в те часы, удачно маневрируя, Миронов вывел конницу Бабиева под беглый огонь 28 своих орудий, и она, неся огромный урон, отошла на исходные позиции. На одном из командных пунктов, под селом Шолохово, снарядом мироновской артиллерии был убит генерал Бабиев.

На следующий день, когда сражение достигло своей кульминации, белые вве-

---

* Гусев Сергей Иванович (настоящее имя и фамилия — Яков Давидович Драбкин) — в июне — декабре 1919 года член РВС Южного фронта.

ли в дело даже обозных ездовых; тогда же Миронов повел в атаку последний резерв 2-й Конармии — бригаду особого назначения Алексея Бадина и находившийся при ней эскадрон армейской разведки Дмитрия Фролова. На германском фронте в 32-м казачьем полку Дмитрий был взводным урядником, имел два Георгиевских креста.

Филипп Кузьмич ценил Фролова за умелое командование эскадроном. Увидев заходящую во фланг бригады сотню Туземной дивизии *, Миронов, не задумываясь, послал ей навстречу своих разведчиков.

Сотенный флажок «туземцев» — черный, на рукавах у них символы смерти — череп с перекрещенными костями. «Ал-ла-а!» — уступом вперед сотня ринулась в атаку.

— Колуном хочет врезать,— шепнул Дмитрий. И подал сигнал взводам: «Окружить! Не дать развернуться!»

Стремительны были лавины мироновцев.

— Враг уже схвачен за горло! — кричал Филипп Кузьмич своим воинам. Разорвавшийся рядом снаряд убил под ним коня, но, тут же пересев на другого, он продолжал призывать вперед красных бойцов: — Еще одно усилие! Родные мои, товарищи!

Безрассудно командарму носиться по полю с шашкой наголо. Ему положено войском руководить, а не личный героизм показывать...

Но Миронов знал, что в эти минуты решается судьба не только его армии, сейчас это важнейшая для республики битва. Он выполнял свою клятву — преданно защищать Советскую власть.

И от полка к полку летело:

— Командарм с нами!

— Круши Врангеля!

Не выдержав напора красных, дрогнули, побежали десанты белых, бросая раненых, обозы, броневики.

«Восстановить порядок было невозможно,— донес барону Врангелю заменивший Бабиева генерал Драценко.— На узких лесных дорогах, в плавнях смешались отходившие конные и пехотные части...»

Находившийся тогда в местах, где разыгрались эти жестокие битвы, поэт Демьян Бедный написал стихи:

Где же конная Вторая?
Впереди? — да, впереди!
«Мне ее,— вздыхал вчера я,—
Не догнать, того гляди!..»

23 октября 2-ю Конную армию посетил Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин. Мироновцы преподнесли ему знамя с изображением волчьей головы — это знамя было взято у шкуровцев в сражении за Правобережную Украину. Горячо поблагодарив конармейцев за проявленную отвагу, «всероссийский староста» призвал их не пускать Врангеля в Крым.

— Вы находитесь на фронте, ставшем теперь решающим,— сказал Михаил Иванович на митинге 16-й дивизии.— Ваш ратный труд, ваш беспримерный подвиг на берегах Днепра не только охладил наступательный пыл самозваного правителя юга России, но остановил и маршала Пилсудского. Накопив силы, мы заставили этого правителя белопанской Польши перейти к обороне, а тут еще вы начали трепать его союзника. Вот тогда-то он и согласился заключить перемирие!

Взметнулись клинки:

— Ур-р-ра!

— Даешь наступление!

— Смерть буржуям!

Проиграв битвы в Северной Таврии, Врангель под напором войск Южного фронта, усиленного 26 и 28 октября 4-й стрелковой и 1-й Конной армиями, бежал в Крым. Ворваться туда на плечах врага ни конным, ни пехотным советским армиям не удалось. Только 51-я дивизия Блюхера заняла город Перекоп, но сил для дальнейшего продвижения у нее не хватило.

Генеральное наступление на Крымский полуостров по директиве Фрунзе началось в ночь на 8 ноября. В свое время, посчитав Гнилое море непреодолимым для советских войск препятствием, Врангель главное внимание уделил защите Перекопского и Чонгарского перешейков, Арабатской стрелке.

Фрунзе решил прорваться в Крым через Сивашский залив. Белые ожидали, что ударная сила Южного фронта — Конармия Миронова — с ходу ринется через Сальково и Чонгарский мост, а она оказалась на участке Владимировка — Строгановка, как раз против Литовского полуострова, на который уже проникли части 15-й и 52-й пехотных дивизий 6-й армии.

* Туземная дивизия — дивизия, укомплектованная уроженцами Северного Кавказа.

— Советские десанты немедленно истребить силами укрепрайонов! — потребовал Врангель от своих войсковых генералов.

В противовес его усилиям Фрунзе послал на Литовский полуостров 7-ю кавдивизию, а Миронов три полка подчиненной ему в оперативном отношении армии Махно. Одновременно Фрунзе приказал командарму-6 Корку развить атаку на Перекопском перешейке.

В течение двух часов после этого артиллерия 6-й армии крушила Турецкий вал, затем на штурм его снова поднялись части 51-й дивизии, и к 4 часам 10 ноября эта белогвардейская твердыня пала. Потом, развивая успех с подошедшей Латышской дивизией, через несколько часов достигли Юшуньских укреплений, но преодолеть всю их глубину не смогли, только полки Блюхера к тому времени потеряли более трех тысяч человек... Перешли к обороне в дефиле полуострова без названия 15-я и 52-я дивизии 6-й армии, махновцы и 7-я кавдивизия. Реально помочь им мог только Миронов, и он послал туда свою 16-ю дивизию. Однако ее усилия вскоре разбились о мощное контрнаступление конницы Барбовича, Дроздовской, Корниловской и Марковской пехотных дивизий...

И снова Фрунзе возложил спасение положения на 2-ю Конармию — приказал Миронову форсировать Сиваш всеми подчиненными ему войсками.

«Барбович постарается вывести свой корпус к самому заливу, чтобы ни один красноармеец в Таврию не ушел,— рассуждал Филипп Кузьмич.— Вот там мы и заманим его в «Платовские вентери» *, только не усилием отдельных подразделений, а в армейском масштабе!»

Утром 11 ноября, преодолев вброд восьмиверстную пойму Гнилого моря, восемь полков 2-й Конармии развернулись в лаву буквально на виду у корпуса Барбовича, уже проникшего в тылы 51-й и Латышской дивизий. Но красные конники не перешли в атаку, хотя белые шли походными колоннами и их было удобно атаковать.

Так, на первый взгляд странно красные кавалеристы вели себя, выполняя замысел командарма,— надо было правдиво изобразить нерешительность, чтобы противник поверил в легкую победу. И такая уверенность у белых возникла: с воплями, гиканьем, свистом ринулись части Барбовича на «растерявшихся» мироновцев. И они, обращаясь в бегство, распались на несколько «охваченных паникой» частей.

— Окру-ужа-ай! — Белые ринулись в атаку, стараясь отсечь выделившиеся части и уничтожить их.— Пленных не бра-а-ать!

Шашки белоконников искрились на солнце... Только опуститься им не довелось. Именно в расставленных Мироновым «вентерях» ударили по врагу сто шестьдесят красных «максимов», «гочкисов» и «кольтов», установленных на пулеметных тачанках...

Поздним вечером 12 ноября, приостановив преследование врага из-за крайнего переутомления людей и лошадей, Реввоенсовет телеграфировал Фрунзе о достижении 2-й Конной армией «района восточнее железной дороги Джанкой — Симферополь», о захвате многих тысяч пленных, огромных трофеев и о своем решении продолжить движение в Южном направлении. В том же донесении были запрошены краткие ориентировки о соседних армиях.

Разбитый наголову противник отходил на Керчь и на Севастополь.

Преследуя врага, авангардная 21-я дивизия на другой день заняла город Бахчисарай и двинулась на Севастополь, но вскоре начдив-21 Лысенко получил срочное уведомление наполештарма-2 Погребова о том, что брать Севастополь не придется, так как Советская власть там установлена с 14 ноября.

Полную ясность в боевую обстановку на Южном фронте внесла телеграмма Реввоенсовета 1-й и 2-й Конных армий и начдива-51 Блюхера, посланная 16 ноября из Севастополя командующему Южным фронтом.

«12 ноября,— говорится в ней,— Вторая Конная армия, заняв с боем Джанкой и Курман-Кумельчи, окончательно принудила противника паническим бегством очистить Крым... Всюду организуется Советская власть... Нахо-

* «Платовские вентери» — излюбленный тактический прием казаков в схватках с конными частями. Казаки, делая вид, что бегут, заманивали неприятеля в глубь своих позиций, затем производили охват с флангов и ударяли в тыл противнику.

дим необходимым в кратчайший срок вывести из Крыма 1-ю и 2-ю Конные армии...»

Отмечая заслуги своих войск в ликвидации Врангеля, Миронов писал: «...12 ноября было последним боевым днем в Крыму, и мы вправе сказать, что последними пушками, говорившими в Крыму, были пушки Второй Конной армии. Последний догорающий луч солнца был свидетелем артиллерийского выстрела красных 12 ноября...»

Исключительной наградой за выдающиеся военные подвиги высоким военным начальникам действующей армии в годы гражданской войны являлось Почетное революционное оружие — шашка с наложенным на ее вызолоченный эфес орденом Красного Знамени. 25 ноября 1920 года Президиум ВЦИК удостоил этой высшей награды командующего 2-й Конной армией Филиппа Кузьмича Миронова: «За доблестное руководство войсками армии при разгроме Первого конного корпуса противника, чем решил участь Мелитопольской укрепленной позиции».

И еще одним орденом Красного Знамени Филипп Кузьмич Миронов был награжден по представлению М. В. Фрунзе 6 февраля 1921 года: «За исключительную энергию и выдающуюся храбрость, проявленные в последних боях против Врангеля».

Кроме Миронова, кавалерами ордена Красного Знамени стали около 200 бойцов, командиров и политработников 2-й Конной армии. В их числе был и Дмитрий Фролов.

Эту высокую боевую награду Советской республики ему вручил Михаил Васильевич Фрунзе. И в тот же день Фрунзе приказал ему, Дмитрию Фролову, в составе маршевого конного подразделения в первых числах февраля 1921 года отбыть на Дальний Восток, где еще продолжалась война с японскими захватчиками.

Тогда же, всего за несколько минут до отхода эшелона, увозящего Дмитрия на новое место службы, встретил он на перроне Харьковского вокзала Филиппа Кузьмича Миронова, прибывшего в штаб фронта по делам службы и для получения наград.

— Здравствуй, герой! — первым шагнул к станичнику Миронов.

— Здравия желаю, товарищ командарм! — отдал ему честь Дмитрий.

— Уже не командарм. Наша конная подлежит расформированию. И вообще давай по-землячески.— Филипп Кузьмич обнял его, и они трижды поцеловались крест-накрест.

— До свидания, Филипп Кузьмич! — козырнул Дмитрий, косясь на проплывающий мимо состав с единственным в нем пассажирским вагоном.

— Скорой тебе демобилизации, Дмитрий Николаевич! — Миронов задумчиво помахал станичнику и долго смотрел вслед, пока эшелон не скрылся из виду.

О чем думал в те минуты Филипп Кузьмич? О путях, исхоженных казаками в битвах гражданской войны, или о том, каким нелегким был выбор и какою ценою был оплачен каждый их шаг к истине?..

БОРИС ШЕРЕМЕТЬЕВ



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Сколько воды утекло с тех пор, а вот помню, о чем дед Иван мне рассказывал. Старость ли брала свое, предчувствие ли скорой кончины, но все доверительнее был он со мною: «Где корабль ни рыщет, а у якоря будет». То поверял о старине глубокой, когда Русь была под игом ордынским и княжества страдали от вражеских набегов; то поведывал о славной победе 1812 года

под Бородином, избавившей Россию от нашествия «двунадесяти языков»; то вспоминал годы недавней борьбы с фашизмом. А то вместо книги сказок брал с этажерки потертый фолиант «Задонщины» и, водя пальцем по страницам, читал нараспев. На всю жизнь в память мою врезались отдельные части древней повести, но особо — слова Дмитрия Донского, обращенные к брату Владимиру перед походом на поле Куликово: «...пойдем тамо, укупим животу своему славу, учиним землям диво, а старым повесть, а молодым память, а храбрых своих испытаем, а реку Дон кровью прольем за землю за русскую...»

И однажды, закрыв книгу, дед сказал мне, что общее горе надо всегда считать и своим, но личную печаль никоим образом не отождествлять со вселенской. У каждого в этом подлунном мире есть свой корень, родник; и коли выпадет горькая минута — припади к нему, испей ключевой водицы, и дух займется, плоть воскреснет к жизни. И невыносимо тяжко, если корень твой, подрубленный огненным смерчем на чужбине, сгинул в немереном поле человеческих горестей. Безгласно и мертвенно над неродящим посевом войны: ни слез, ни воздыханий, ни причитаний, ни теплового тока, исторгнутого из переполненного тоской и тревогой сердца, которое живо на изначальной отчей земле, и по стрежню помыслов наших, неприхотливых желаний течет родничок памяти.

И не зря бытует молва, что река зачинается с «копытца коровьего». Так и жизнь пускает новые побеги, и оскудевший было род продолжается.

В недавние века враги не раз зорили огнем и мечом нашу землю. И от деда я впервые услышал, что в некоем далеком Берлине есть Трептов-парк, где захоронен его старший сын, а мой, стало быть, дядя, а под Лейпцигом стоит памятник «Битвы народов», с коим рядом в часовне-склепе русских героев лежат останки и нашего сородича.

Давно ушел в землю пращуров дед Иван, а заветный ключ-родничок, у которого словно бы совершаю омовение души, цел и невредим.

...Ранней осенью по путевке ЦК ВЛКСМ поехал я в Германскую Демократическую Республику. Вместе с делегацией молодых писателей объезжал немецкие города и веси, ходил по старинным улицам, площадям, дышал воздухом, пахнущим железом. И, глядя на дома с темно-серым шинельным налетом, с тяжелой рябью черепицы на остроконечных крышах, с крестообразными переплетами окон, с мрачными двориками, невольно ощутил давление вековой казарменности, совершенно несвойственной нашим древним белокаменным городищам с золочеными куполами.

Так же как после бывания в диковинных замках, готических храмах, музеях, парковых ансамблях окрепло мое убежденье, что российские мастера творили благолепней, пригожей, отточенней мыслью. И мало-помалу вселилась в сердце тоска по отчему краю, особенно когда узрел на опустелых полях торжественно высившиеся ометы, проселочные дороги, обтрушенные соломой, зазубрины березовых рощиц на вечереющем небе — очень знакомые, но лишенные простора и потому не трогающие душу пейзажи. И понял: какие бы красивые места, картины ни видел, всегда думал с ревностью — на Родине и краски ярче, и воздух ядренее, и дали привольнее; что бы ни ел, ни пил, а все равно вспоминал, как хлебосольно, радушно потчевали меня этим летом земляки на Кубани; с какими бы интересными, добрыми и сильными людьми ни встречался — скучал о своем: «Маму повидать бы! Здорова ли?..»

Но когда при въезде в Лейпциг увидел гигантский памятник, издали похожий на мрачный набатный колокол, когда вокруг верхнего венца обнаружил каменных бородачей, закованных в латы, опирающихся на многопудовые мечи, застывших с непокрытыми головами в почетном карауле, будто какая-то неведомая сила подхватила меня, подвела к подножию монумента, возведенного в начале века как символ власти, которой ничто не может противостоять... В Купольном зале органная музыка Баха, полная возвышенного покоя, лирической средоточенности, звучала отовсюду. Густое неземное гудение вызывало в сердце скорбь о давно утраченном, подавляло могучим многоголосием, возносящимся под высокий каменный свод.

И вслед за печальными звуками ноги сами понесли меня вверх по винтовой лестнице, истертой, скользкой и такой узкой, что едва расходился со встречными посетителями. Пятьсот ступенек до смотровой площадки, расположенной

почти на стометровой высоте памятника, дались нелегко. Чем выше поднимался, тем теснее становилось дыхание, тяжелее шаг. Колени дрожали от напряжения, учащенно билась в висках кровь, пот застил глаза. И все это както неожиданно соотносилось с тем, что было в том незабываемом 1813 году, с теми, кто участвовал в Лейпцигском сражении, со всей землей и небесами.

Под самым куполом реквием павшим гудел еще яростнее. Казалось, ревел, раскачивался сам памятник.

А ступив на обзорную площадку, я оробело замер, каждой клеточкой ощущая величие небес, затянутых облаками. Они плыли на восток, медленно, зная свой недолговечный срок, постоянно меняя обличье. То становясь зверем, то диковинной башней, то какойнибудь фигурой.

Я подошел к каменному парапету, глянул вниз — и волновавшееся людское море у подножия монумента, тысячи крестов над могилами павших солдат точно бы пробудили в душе чувства, о которых я раньше и не подозревал,— защемило в сердце, заволокло глаза блестящей пеленой.

Перед взором моим всплыло дождливое октябрьское утро 1813 года, сполохами молний высветилась холмистая равнина, рассеченная мелководными речками Эльстер, Плейссе, Партой на четыре огромных поля, с рощицами и деревушками: Вахау, Клеберг, Мейсдорф, Гюльденгоссе...

Война! И это не зарницы раздвигают горизонты, а выстрелы далеких орудий.

Всплывает густой пороховой дым, сквозь который можно различить, как, намереваясь отрезать французов от Рейна, где находятся их запасы и склады, сосредоточиваются войска России, Австрии, Пруссии, Великобритании, Швеции, чтобы дать бой Наполеону. Полки союзных армий, точно море в штормовую погоду, сливаясь и тревожно трепеща своей серовато-черной массой, охватывают Лейпциг в тиски.

И, припоминая рассказы деда Ивана, я как наяву представил величественную панораму такой далекой, но памятной сердцу русского человека битвы народов, когда войска России перешли через границу, чтобы и прочим европейским народам помочь свергнуть тяжкое иго французского владычества...

Чудился блеск огней, треск ружей, свист пуль. Все куда-то бежали с оружием наперевес, кричали. Через беспрерывный гул до слуха долетало протяжное «ура-а-а!» сотен голосов.

Вахау и Клеберг уже были взяты русскими войсками. Однако неожиданно обнаружилась опасность. Наполеон, разместив свои боевые порядки так, чтобы иметь возможность во всякую минуту сосредоточивать их на том пункте, какой представится более удобным для нанесения решительного удара, тотчас же на высотах у Вахау выставил более ста орудий.

Звуки стрельбы слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Едкая гарь капустными лохмами зависла над изрытым грязным пространством — линиями траншей, насыпями, погребами, платформами, землянками. Мелькали вспышки, и накаты дыма шли на город.

В одно мгновение почти все русские орудия, находившиеся в первой линии, были подбиты, батальоны потеснены с позиций. Центр боевых порядков оказался в самом затруднительном положении: не имея возможности идти вперед против французской артиллерии, наши войска были вынуждены оставаться под градом неприятельского огня.

Почувствовав, что можно нанести мощный удар по главным силам русской армии, Наполеон бросил в южный прорыв конницу маршала Мюрата, вслед за ней пустил пехоту.

Французские эскадроны шли через русские боевые порядки, как нож сквозь масло. Обогнув слева и справа Вахау, они увеличили аллюр, с ходу овладели несколькими батареями и, изрубив орудийную прислугу, окружили нашу арьергардную дивизию.

Довольный прорывом центра союзных армий, Наполеон так поверил в их разгром, что даже послал королю саксонскому, в Лейпциг, поздравление с победой.

И что же? Вся начертанная им картина враз поменялась. От молодецкой фланговой атаки казачьего полка неприятель настолько растерялся, что на несколько минут приостановился. И этого времени оказалось достаточно, чтобы казаки с гиком, держа наперевес длинные копья, пронеслись через обстреливаемую вражескими батареями равнину и ринулись на кирасиров...

Страшна казачья пика-дончиха при дружном ударе. Да и как ей не быть страшною, когда на ней все донское: и

древко и железка... По рассказам деда Ивана, многие казаки этим видом оружия владели безукоризненно. Дед с гордостью показывал Георгиевские кресты своего деда, отличившегося в той битве...

Французы не выдержали, дрогнули и повернули назад.

Много тогда пик переломали. Гнали кирасир долго, до самой пехоты, пока та не ударила картечью.

И вскоре по тому, с какой лихостью по дороге проскакали казаки, с какой поспешностью проехал командующий Барклай-де-Толли со свитой в сторону фронта, многие угадали — случилось что-то очень важное.

— Знамя взяли! — сказал один офицер.

— Не может быть! — удивился другой, наводя подзорную трубу на неприятеля.

— Ну, видишь?! Французское!

— Молодцы ребята! Теперь веселее пойдет дело...

Четыре дня шло это грандиозное кровавое побоище, ставшее самым крупным сражением эпохи наполеоновских войн. Под Бородином русская армия, показав образец активной героической обороны, сохранила свою боеспособность и лишь по приказу Кутузова отошла к Москве. Год спустя, откатившись до Лейпцига, нечто подобное попыталась осуществить армия Наполеона. Но безуспешно. Потери ее оказались неутешительными: убито — 60 тысяч, пленено — 20 тысяч.

...Какая тут была теснота от орудий, взрывов и людей. И, может быть, вон в том самом месте, где сейчас стоит неподалеку от памятника «Битвы народов» белокаменная православная церковь, построенная на средства потомков погибших солдат, главным образом донских казаков, скакал, подбирался к врагу мой прадед. А может быть, и кровь его там пролилась. Нет тут наверняка клочка, не обагренного кровью двадцати двух тысяч русских солдат.

Люди правят миром. Средоточием их интересов, альфой и омегой вековых распрей всегда была земля. Но если во времена наполеоновских войн враг лишь подводил страны под свою тяжелую руку, обращал народы в подданных и, удовлетворившись, не доводил дело до абсурда, вновь приникал к теплой привычной жизни, то в годы фашистского нашествия захватчики, возведя злодеяние в ранг политики, сделав его основой своей нравственности или, точнее, безнравственности, оборотились убийцами-параноиками.

Мы посетили мемориал жертвам фашизма в Дрездене, в Веймаре — концентрационный лагерь Бухенвальд, где поплатились жизнью 56 тысяч человек, в Берлине — памятник жертвам фашизма и милитаризма... И там, на Унтер-ден-Линден, когда мы наблюдали за разводом почетного караула, снова вспомнился мне памятник «Битвы народов», перед мысленным взором воскресали русские воины девятнадцатого столетия, чьи сердца были искренними в борьбе, чей разум искал истину, справедливость. И в который раз я приходил к убеждению, что благодаря их страданиям и героизму, их неимоверным усилиям в сердцах поколения советских людей эпохи Великой Отечественной войны еще крепче и сильнее была воля, устремление к правому делу и подвигу во имя защиты своего Отечества, человечности от посягательства убийц.

И как символ этого священного боренья — над убитыми и вечно живыми, над пепелищем и возрождением, над ржавеющим кладом войны вознесся памятник воину-освободителю в Трептов-парке, рядом с которым суета, мелкие заботы казались зряшными, пустячными. Курган его напомнил мне стародавний могильник в Донской степи. А на этой владычествующей высоте стоит цилиндрический мавзолей с богатырской фигурой солдата. На лице глубокая гордость: он оберег победным боем от смерти невинную детскую душу. Кто этот воин-избавитель, чьи большие руки, очевидно, привыкшие оживлять землю трудом, поддерживают малыша, прильнувшего к его груди с такой доверчивостью, сжимают меч, придавивший, будто гадюку, обломки разбитой фашистской свастики? Из каких краев прибыл он сюда, в срединную Европу, чтобы своим поступком открыть всем тайный смысл победы и смерти?

Может, это старший сержант Лукьянович Трифон Андреевич, спасший немецкого ребенка от выстрела эсэсовца на перекрестке улицы Эльзенштрассе и проспекта Пушкин-аллея 29 апреля 1945 года? Может, это рядовой 220-го полка Николай Мосолов, который день спустя, услышав на развалинах Тиргартена плач ребенка, с риском для жизни пробрался через минное поле к Пот-

сдамскому мосту и вынес в безопасное место маленькую трехлетнюю девочку? А может, это мой дядя, сражавшийся за Берлин? А может... Впрочем, трудно сейчас доподлинно установить фамилию солдата. Важно, что это был один из красноармейцев, которых фрицы всегда называли Иванами. Важно, что русская женщина его родила. Важно, что, прошагав пол-Европы, через сотни деревень, поселков и городов, потеряв в боях великое множество своих товарищей, будучи не единожды раненным, голодным, холодным, он сохранил свое душевное величие, тепло сердца.

Линия фронта тогда в Берлине проходила через площадь: с одной стороны наступали советские войска, с другой — упорно оборонялись остатки фашистской части. В центре площади — развороченная взрывом клумба с цветами. Около воронки лежала убитая молодая женщина, а рядом — копошилась маленькая белокурая девочка. В редкие минуты затишья, когда умолкал треск перестрелки, оттуда отчетливо доносился плач.

Иван укрывался с бойцами за насыпью разрушенного дома, он накинул на ствол автомата пилотку, поднял над бруствером — и тотчас несколько пуль сбили ее. Спасать ребенка — значило идти на верную гибель.

Плач ребенка становился все слабее, все жалостней.

Иван почувствовал холодок под лопаткой. Обвел взглядом свое отделение. Кого ни пошли, все готовы пойти на смерть ради спасения ребенка. Однако раздумывать было некогда. Всем телом приник Иван к брустверу и вымахнул через него на брусчатку площади.

По обе стороны передовой наступила тишина, будто бившиеся люди вдруг разбрелись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда... Во всех окнах дома напротив вылепились недобро наблюдающие физиономии врагов, следивших за тем, как русский солдат подползает к цветочной клумбе.

Наконец, встав на колени, Иван поднял девочку, прижал к груди худенькое восковое личико.

Назад он возвращался тем же путем. Только теперь ползти было гораздо труднее.

У кирпичного бруствера он остановился и, не выпуская из рук ребенка, поднялся в рост. В это время с вражеской стороны грянул один-единственный выстрел, и Иван понял, что смерть настигла его; однако не испытывал ни страха, ни сожаления. Он упал вниз, за бруствер, на руки своих товарищей. Только и успел сказать:

«Я, кажется, готов... Возьмите девочку».

Трептов-парк... Покрытый мутно-голубым пологом неба, он в центре города, точно зеленый островок, образовавшийся при разливе реки. Ветер шелестит листвой высоченных тополей, легонько клонит к ногам стебли трав.

Каждый день к «Ивану», воину-освободителю в берлинской мемориальной роще, приезжают люди со всего мира, чтобы поклониться подвигу советских солдат.

Я неспешно бреду по широкой аллее мимо двух пилонов в форме знамен, выложенных красным гранитом, мимо бронзовых скульптур коленопреклоненных воинов-красноармейцев, без касок, с опущенными автоматами... По ступенькам, ведущим вниз, выхожу к центральной части мемориала. Вдоль средней оси пять газонов. На каменных постаментах пять литых венков.

Прошлое... Оно в нас и, стало быть, еще не потеряно, живо; и память старших поколений, и понимание ими истины, и подвиг солдат мы обязаны донести до своих детей, внуков.

И во мне вдруг родилось ощущение огромной важности трептов-паркового кургана для всего человечества.

В зале мавзолея с купольным сводом взору моему открылось мозаичное панно великой печали советских людей, свято чтущих память своих погибших героев. На потолке сверкал хрустальный орден Победы, на постаменте из черного камня лежала Золотая книга с именами захороненных воинов. Отыскалось среди них и имя моего дяди.

...Вот и побывал там, куда влекла меня таинственная родовая память. Словно бы наяву я угадывал в незнакомых, никогда не виданных прежде краях дела и события давно минувших дней, которые были причиной моего волнения и без осмысления которых, как теперь понимаю, душа была бы сиротой.

СЛУЖИМ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

МИХАИЛ НОРДШТЕЙН

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

•••

То было первое учение командира саперного взвода лейтенанта Владимира Демина. Ему с пятью солдатами было приказано имитировать артиллерийский огонь. Имитировать для участников учения, создавая полную видимость огневой подготовки. Для саперов это реальная боевая работа с реальными взрывчатыми веществами, а стало быть, с реальной опасностью.

Они отрыли укрытия, поставили оградительные вешки, прикрепили к ним шпагаты с красными флажками. А потом самое ответственное: установка в указанных местах зарядов — целой системы проводов, тротиловых шашек, электродетонаторов.

Шесть часов они просидели в укрытии в ожидании сигнала. Начало имитации перенесли на два часа позже, потом еще на два часа и еще на два... От неподвижности ныла спина, затекли ноги.

Демин побывал на каждой «точке», все проверил. Однако главная проверка — сами взрывы. Бывает, что внешне вроде бы все нормально, но какая-нибудь невидимая мелочь — и нарушен контакт. Это, пожалуй, самое неприятное в работе минера. Ты своими руками подготовил взрыв, а его почему-то нет и нет. И надо снова возвращаться к заряду, снова проверять. А это небезопасно.

Наконец-то поступил приказ: ровно в полночь там-то и там-то произвести 20 взрывов. И когда они прогремели один за другим, на душе стало спокойно. Значит, все сделано правильно, значит, можно положиться на работавших с ним солдат.

Утром ему приказали начать основную имитацию. И будто разом загрохотали десятки орудий. Летели вверх комья земли, к небу потянулись темно-серые шлейфы дыма. Со стороны казалось, что забушевал ураган. А те, кто сидел в укрытии рядом с огнедышащим клочком полигона, испытывали ни с чем не сравнимое чувство причастности к этой громовой симфонии. Уж они-то различали в ней каждую ноту.

Просчитали все взрывы, все до единого. Отказов нет.

Потом пошли в атаку танки, за ними — боевые машины пехоты. Через десяток минут опорных пунктов «противника» не стало.

Было обыкновенное полигонное поле, почерневшее от тротиловой гари, исполосованное гусеничными траками. И мало кто обратил внимание на группу саперов, устало шагавших к машине.

Владимир приехал домой через две недели, похудевший, пропахший дымом, но в отличном настроении.

Так началась саперная служба лейтенанта Демина. В ноябре — снова на учение, в декабре — то же самое. А между выездами на полигон — политзанятия, огневая, строевая, наряды...

С весны Демина стали посылать на разминирование. У деревенских маль-

чишек кто-то увидел взрыватели от снарядов. Взрослые в конце концов допытались, откуда они.

Небольшая лощина, затопленная водой. Возле нее — любопытные селяне. Говор негромкий, будто люди собрались у постели больного. Преисполненное особой значимости, неприступно суровое лицо участкового.

Демин взглянул на часы. Начало второго. Половина дня прошла в дороге. Значит, в их распоряжении четыре-пять часов светлого времени. «Не густо,— вздохнул лейтенант.— С обедом придется повременить».

Первое распоряжение Демин отдал милиционеру: не допускать людей ближе чем на пятьсот метров. Взял миноискатель. В наушниках характерный звук. Есть металл! Его наличие подтвердили и щупы.

Вместе с лейтенантом работали ефрейторы Андрей Крайнев, Александр Виноградов и водитель — рядовой Евгений Петрашко. Солдаты, которых он «гонял» на занятиях, теперь словно перешагнули какую-то невидимую грань, отделявшую их от командира. Они называли его «товарищ лейтенант». Но опасность сблизила их настолько, что все они стали прежде всего соратниками. И понимали друг друга, что называется, с полуслова. Короткий жест, кивок, две-три фразы, и снова работа, порой монотонная, но всегда опасная.

От лощины прорыли канаву и спустили воду, затем лопатами стали выбрасывать грязь. Наступил момент, когда и лопаты уже не могли помочь: можно было доверять только собственным пальцам. Из-под ила извлекли первый снаряд. За ним еще и еще... Делали это Демин и Крайнев. Остальные грузили снаряды в кузов машины. Кабину прикрывали две бревенчатые стенки. Между ними — песок. Снаряды по пять-шесть штук осторожно клали на песчаную подушку и вывозили в лесной овраг, где и взрывали.

За трое суток саперы извлекли и уничтожили около сотни снарядов. Покинули яму лишь после того, как убедились: чисто!

Чаще всего приходилось выезжать на разминирование весной. Сходил снег, начинались полевые работы, и то из одного, то из другого места поступали заявки: пришлите саперов. На многих заявках командир ставил резолюции: «Лейтенанту Демину. Выехать с группой и обезвредить», «Демину. Исполнить». И просто: «Лейтенанту Демину».

Особенно много опасных находок было на пашнях. Земля словно выжимала из себя зловещие остатки войны. Снаряды разных калибров, мины минометные и противопехотные, а то и противотанковые, авиационные бомбы — с чем он только не сталкивался!

...Добывали торф. Машина широким ножом оголила головку крупного снаряда.

Демин тщательно осмотрел взрыватель. Так и есть: поврежден, видна трещина. Кто знает, какие изменения произошли в его механизме за три с лишним десятилетия! Иногда достаточно незначительного толчка, даже прикосновения, и — взрыв. Самое надежное — подорвать снаряд тут же. Но это исключалось. Рядом жилой поселок, цех по ремонту машин.

Лейтенант взялся за лопату, потом, как всегда, стал осторожно работать руками... Снаряд издали напоминал древний сосуд, а сам лейтенант — археолога, вырвавшего из пластов истории еще одну тайну.

Да, похоже. Только археолог не рискует ежесекундно жизнью.

Снаряд от немецкой шестиствольной реактивной установки, определил Демин. Некоторые параметры снаряда ему были известны: длина — 1,5 метра, вес — около 80 килограммов, из них 36 — взрывчатки.

«Ахнет такой, и на соседние дома обрушится град осколков, не говоря уже о выбитых стеклах...»

Он привык мысленно примерять взрывы на все, что находится поблизости. Это помогало предупредить их возможные последствия, входило в его профессию. Что будет с ним самим, если все-таки «ахнет», об этом Владимир старался не думать. Это тоже было правилом его профессии. Начнешь бояться, задрожат в самый ответственный момент пальцы, и тогда, считай, уже нет сапера. Вспомнились слова их училищного ротного: «Оставь страх за порогом работы. Если не можешь — лучше откажись от нее. Для дела это будет лучше».

Отказаться не позволяли его про-

фессиональный долг, его совесть. Что касается страха — грешен человек. Единственное, что он мог,— подчинить его своему самому испытанному, самому надежному союзнику — воле.

Демин жестом подозвал троих солдат.

— Будем грузить на машину. Другого выхода нет.

Как они поднимали из ямы этот адский груз, как его несли четыре метра к машине, с какой нежностью укладывали на песок — лучше всяких слов могли бы рассказать их напряженные потные лица да побелевшие пальцы, намертво обхватившие отнюдь не бесстрастный металл.

Однажды ему со своими саперами пришлось работать чуть ли не в центре города, возле одной из школ Могилева. Там во время рытья траншеи рабочие наткнулись на противотанковую гранату.

Открытая траншея. Школа. Дети... Опять дети! Теперь уже Демин не мог избавиться от мысли: вся его работа «по заявкам» так или иначе связана с детьми. И страх за себя сразу же отступил, а ему на смену пришло привычное состояние настороженной собранности.

Лейтенант тщательно обшарил руками каждый сантиметр траншеи, разрывая ее и вглубь и вширь. Нашел еще несколько ручных гранат. Наши РГ-42. В некоторые из них вставлены запалы, причем не полностью. Владимир смотрел на них и словно видел другое: усталых, израненных советских солдат, принявших на этом рубеже свой последний бой.

Возможно, тот, кто снаряжал гранаты, был смертельно ранен и слабеющие пальцы уже не слушались его. Упал на дно траншеи, и в глазах его постепенно меркла, расплывалась узкая полоска неба.

Теперь это небо, эти облака над головой лейтенанта Демина. И земля, многострадальная и прекрасная белорусская земля, которую прикрыл собой тот солдат из сорок первого года, стала родной и Владимиру, уроженцу Курской области. Ему тоже спасать ее, прикрывать от беды. Траншеи, где он сейчас работает, для него — та же огненная черта, откуда нельзя отступать, где нельзя смалодушничать. В этой траншее он тоже принял свой бой, решительный, но, по всей видимости, далеко не последний.

Запалы в гранатах, запалы россыпью... Изъеденные ржавчиной, тонкие, неприметные стерженьки особенно коварны. Да и трудно порой отличить, что это: запал или просто обыкновенная железка, бог весть какими судьбами попавшая сюда.

И опять чуткие руки сапера осторожно разгребали землю, и все, что грозило взрывом, поднимали на-гора. А там другие, такие же надежные руки укладывали гранаты и запалы на песок в кузове. И снова за городом гремели теперь уже никому не опасные взрывы. Глухо вздрагивала земля, словно вздыхала с облегчением.

Потом Демин по выработанной им привычке придирчиво разобрал свои действия. Погрешностей не обнаружил. «Ну что ж, Владимир Константинович,— мысленно сказал сам себе,— вроде бы вы и в самом деле кое-чему научились. Только, чур, не зазнаваться...»

Насчет зазнайства — это он так... Зазнайство ему не грозило. Скорее имелось в виду другое — привычка. Минеру опасно привыкать к тому, что все в конце концов удается и все взрывоопасные предметы, которые он извлекает на свет божий и затем вывозит куда намечено, ведут себя тихо-мирно. Считать, что ты уже набил руку в минном деле, что стал в нем докой,— значит притупить бдительность. Нет двух одинаковых снарядов, как нет двух абсолютно одинаковых ситуаций, в которые попадает сапер. Обезвреживает ли склад боеприпасов или только один снаряд,— нельзя ни на секунду расслабиться, снебрежничать даже в мелочи.

Сапер ошибается только раз...

Позднее Демин попытается передать свои ощущения, когда он выезжает по очередной заявке. С одной стороны, это его будни, его работа. Если не он, то кто же? Не зря же носит саперные эмблемы, в которых, между прочим, есть изображение и мины!

Он привык к стуку посыльных («Вас срочно вызывает начальник штаба!»), привык к выездам, к загустевшей тишине, когда остается один на один с опасностью. Но с другой стороны... Как бы ни старался хоть на время отрешиться от мыслей о предстоящем, они не поки-

дали его до тех пор, пока он не прибывал на место и не проделывал то, что в тактике называют оценкой обстановки.

Такая работа. Кто-то из саперов полушутя-полусерьезно назвал ее исследовательской. Дескать, сплошные поиски оптимального решения, но без права эксперимента. Думай сколько угодно, но действуй наверняка.

Захотелось посмотреть, как он работает.

Проделав полсотни с лишним километров, мы прибыли в деревню, откуда поступила заявка. И тут лейтенант несколько смущенно заявил, что ничего особенного не предвидится. Надо обезвредить один артиллерийский снаряд.

...Снаряд лежал на поле метрах в пятидесяти от крайних домов. Обычная история: лемех плуга сковырнул его, бросив на пашню.

Владимир опустился возле снаряда на корточки и долго осматривал. Он еще ничего не сказал, но и так уже было ясно: находка «с приветом». Взрыватель настолько окислился, что побелел, потеряв свои обычные контуры. На корпусе — желобки: снаряд прошел через орудийный ствол.

Такой по инструкции положено подрывать на месте.

Но ведь невдалеке дома...

Поскромничал лейтенант: «Ничего особенного...» Да, тут не склад боеприпасов, не запалы россыпью. Всего один снаряд. Но как трудно было Демину принять решение! Может, не стоит рисковать? Может, насыпать возле снаряда защитный земляной вал и подорвать?

— Нет, не пойдет,— отверг мое предложение Владимир.— Часть осколков перелетит через стену. Стекла в домах вылетят.

Он постоял возле снаряда еще с полминуты, что-то обдумывая. И снова опустился на корточки.

...Нес снаряд бережно, словно ребенка. Водитель завел двигатель. Это был все тот же рядовой Евгений Петрашко, с которым Демин уже десятки раз выезжал на разминирование.

В глухом лесном овраге лейтенант так же осторожно положил снаряд на землю. Я смотрел на его руки, стараясь не упустить ни одной подробности. Вот он обрезает огнепроводный шнур, готовит зажигательную трубку. Вот вставляет ее в отверстие толовой шашки... Движения уверенные, точные. Работа в общем-то несложная. Когда-то в училище и нас этому учили. Взрывали мы тогда какой-то пень...

Здесь не пень, здесь снаряд. Он еще жив, его взрыватель может сработать в любую секунду.

Лейтенант достал спичечный коробок.

Юркий светлячок с легким шипением побежал по шнуру...

Когда мы возвращались в часть, я спросил Владимира, сколько взрывоопасных предметов он обезвредил за два года своей офицерской службы.

— В первый год считал. Когда перевалило за тысячу, бросил. А сколько всего?..— Владимир задумался.— Всего, пожалуй, будет больше трех тысяч.

За стеклами автомобиля проплывали прогретые щедрым солнцем поля и перелески, мачты высоковольтных линий, деревушки и поселки, скорбные пирамидки со звездочками, Земля, которую спасали не только солдаты из тех грозных лет, но и парни, никогда не видевшие войны.

Не видевшие... Они воюют и поныне.

●●●

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ

ПОДВОДНЫЙ БОЙ ЧЕМПИОНА



Кому только мне не приходилось рассказывать историю неоднократного чемпиона Европы по подводному плаванию, обладателя множества мировых рекордов Шаварша Карапетяна! Историю его возвышения в спорте и трагического расставания с ним слушали по-разному. Большинство воспринимали этот рассказ с удивлением, поражаясь мужеству и стойкости Карапетяна. Но некоторые — их, впрочем, было немного — скептически переспрашивали: «Что же здесь необычного? Человеку его физических возможностей совершить такое было не очень-то и сложно».

Ну что ж, в те трагические минуты отличная физическая подготовка действительно помогла Карапетяну совершить то, что любому другому человеку из многотысячной толпы свидетелей, собравшихся на берегу Ереванского озера, было не по силам. Но, связывая воедино блестящие победы чемпиона в бассейнах всего мира и подвиг, совершенный им теплым сентябрьским вечером, не попадаем ли мы под гипноз его громких спортивных титулов?

Главным в любом поступке человека является внутренняя готовность к действию. Физические кондиции лишь в известной мере облегчали то, что предстояло совершить молодому чемпиону. Но если уж говорить о «прикладном» применительно к подвигу Карапетяна значении спорта, то в первую очередь надо сказать следующее: в решающий момент он умел мобилизовать волю, все свои силы, все свое мужество. Этому научил его спорт, и это было необходимо чемпиону в минуты испытания.

От слишком частого употребления наступает девальвация понятия «подвиг». Но то, что совершил Карапетян, нельзя не назвать подвигом, даже по самым строгим меркам. Чемпион действовал на пределе своих возможностей. Достичь этого предела, познать то, на что способен перед лицом смертельной опасности, помогли ему годы, предшествовавшие трагедии. Годы, не отмеченные героическими свершениями...

В семье Карапетян, что является предметом особой гордости отца — Владимира Самсоновича, рождались только мальчики. На долгих семейных советах не спеша обсуждали, на кого из многочисленных родственников больше всего похож новорожденный. Слово брали строго по старшинству. Вопрос заключался не в том, чтобы этим зарегистрированным сходством польстить кому-либо из взрослых.

По семейной традиции таким необычным способом определяли имя малыша — вместе с именем, как полагали, наследуются и достоинства крестного. В первенце Владимира и Асмик все единодушно отметили поразительное сходство с дедом — Шаваршем. Он был гордостью семьи, отличным спортсменом, чемпионом по плаванию. В 1941-м Шаварш ушел добровольцем на флот. И через два года героически погиб под Керчью. Состарившиеся друзья деда до сих пор приходят в дом этого щедрого и удивительно доброго человека.

Когда мальчику исполнилось пять лет, Владимир Самсонович рассказал ему о деде. «Будь достоин его имени. Пусть дед всегда будет для тебя примером»,— сказал отец сыну.

У Карапетянов был небольшой домик на окраине Кировакана. Быт жителей провинциального городка давно устоялся, события, выходившие из круга привычных представлений, случались крайне редко. Ежедневно по нескольку часов ухаживали здесь за садами, высаженными на каменистой почве, и

радовались тому, что год от года урожай собирают все богаче. Свободного времени практически не оставалось. О спорте в те годы забывали, расставшись со школьным учителем физкультуры. Не оставляли детского, «несерьезного» увлечения лишь немногие чемпионы да всем известные чудаки.

Отцу трех братьев Карапетян — Шаварша, Камо и Анатолия — такое невнимание к регулярным физическим упражнениям казалось недопустимым. В молодости он сам страстно увлекался гимнастикой, тренировался вместе со знаменитым впоследствии гимнастом Альбертом Азаряном. Потом «заболел» футболом. В 1947 году в составе юношеской сборной Закавказских республик выиграл важный турнир в Москве.

И вот однажды, к изумлению соседей, во дворе Карапетянов, людей уважаемых, достойных, началось необычное строительство. Соорудили — как в школе! — гимнастический городок, зачем-то снесли теплицу для цветов, выкопали на освободившемся месте десятиметровый котлован. По слухам — для плавательного бассейна! Самое поразительное, что глава семейства — степенный и немногословный сапожник Самсон, известный своим ремеслом всему Кировакану, взирал на затею молодого, горячего сына своего Владимира явно благосклонно и даже принимал некоторое участие в странном строительстве.

Плавание для здешних мальчишек, выросших вдалеке от рек и озер, было развлечением незнакомым и потому особо притягательным. Взрослые еще только удивлялись столь непривычной забаве Карапетянов и обсуждали ее последствия, а ребята сразу же определили свое отношение к плаванию. В бассейн, открытый для всех, приходили мальчишки со всего района — кто сосчитает, скольким из них в жизни пригодились те первые уроки в самодельном бассейне?!

Что касается братьев Карапетян, все они впоследствии стали известными спортсменами, мастерами спорта по подводному плаванию. В семейном архиве Карапетянов хранится замечательное фото: на пьедестале чемпионата Армении — три широкоплечих, могучего сложения брата-победителя. Подобная ситуация повторялась на различных соревнованиях неоднократно.

В минуты триумфа сыновей отец испытывал ни с чем не сравнимую родительскую гордость. Он не отдавал предпочтения тому, кто оказывался чуть быстрее своих братьев,— доли секунды, по его мнению, не дают человеку преимуществ. Быть может, он и прав. Но стоит все же сказать: верхнюю ступеньку неизменно занимал старший брат — Шаварш. Он не был физически сильнее Камо и Анатолия. Тренировались они вместе и в одинаковых условиях. Но обогнать Шаварша на соревнованиях было невозможно. Как никто другой, он умел превозмочь усталость, умел терпеть боль, отдавал для достижения победы все силы — даже чуть больше, чем мог.

«Если родился мальчик, еще не значит, что из него вырастет мужчина»,— гласит армянская поговорка. Отцу братьев Карапетян пришлось решать эту непростую педагогическую задачу трижды. Благодаря дружбе со спортом сыновья росли сильными и смелыми. Тихонь дружно не любили. Сами же в мальчишеских уличных столкновениях бесстрашно защищали справедливость, старались вступиться за слабого. Отец никогда не ругал сыновей за синяки и шишки, но строго выспрашивал у них подробности всех столкновений, учил ребят размышлять о своих поступках, честно признаваться в ошибках. Несмотря на необычайную физическую одаренность, в семье Карапетян не было культа силы. И если уж говорить о какой-то высшей ценности Карапетянов, то это был труд. Глава семьи, любимый внуками дед Самсон, прошедший войну, говорил мальчикам: «Мужчину создает отношение к его главному делу. Какое бы ни было это дело. Трудишься изо всех сил, не щадишь себя — значит, ты настоящий мужчина. Отступил, смалодушничал — мужчиной назвать тебя нельзя».

Шаварш учился во втором классе, когда однажды в отсутствие дома взрослых к воротам подъехал грузовик с углем. «Отца дома нет? — спросил шофер.— Тогда приеду завтра». Но мальчуган быстро вооружился лопатой, залез в кузов и в одиночку разгрузил четырехтонную машину.

В 15 лет Шаварш вместе с Камо приехал на летние каникулы в деревню к деду. Увидел: старый дом совсем обветшал, надо ставить новый. Братья успели закончить работу за два летних

месяца. Знали: их помощь нужна — и никто ни разу не слышал от братьев жалобы, что вот одноклассники гуляют, а мы...

Все годы занятий подводным плаванием у Карапетяна был один-единственный тренер — Липо Алмасакян. Не раз Шаваршу предлагали перейти к более именитому наставнику, утверждали, что научится он тогда плавать еще лучше, еще быстрее. Но таким уж человеком вырос Карапетян — верным, преданным, неспособным покинуть ради личной выгоды своего товарища. Он считал, что если уж они с Липо начали восхождение к спортивным вершинам вместе, так им и идти вдвоем, радуясь победам и огорчаясь неудачам. И всегда Карапетяну были не по душе спортсмены-летуны, легко, без сожаления меняющие города, команды, тренеров. Спорил до хрипоты, когда слышал, что все это, мол, делается ради повышения спортивного мастерства. Конечно, и для Карапетяна победа значила очень многое. Но путь к ней он наметил прямой, хотя, быть может, и не самый легкий. Кто сосчитает, сколько километров набегал Липо вдоль дорожки, где тренировался его ученик! Их трудолюбие было вознаграждено — они достигли вершин спортивной славы. И путь этот был пройден ими вместе.

Долго можно было бы рассказывать о спортивных победах Шаварша Карапетяна. Тринадцать раз он становился чемпионом Европы, одиннадцать раз превышал мировые рекорды. Победы его были убедительны и красивы — со стороны казалось, что все ему дается легко. Веселый, открытый для всех Карапетян казался счастливчиком, баловнем судьбы.

Даже на выручку попавшим в беду он приходил легко, как будто играючи. Как-то в Цахкадзоре, где тренировалась сборная страны, автобус, неосторожно оставленный водителем, быстро набирая скорость, помчался к горному обрыву. Шаварш первым опомнился от шока. Вскочил с заднего сиденья, добежал до кабины водителя, перепрыгнул через перегородку, в последний момент нажал на тормоза, обернулся к пассажирам и весело рассмеялся. Автобус остановился в метре от края обрыва...

Об этом случае под рубрикой «Смелый поступок чемпиона» написали газеты. А Шаварш быстро забыл о нем, не сохранил даже газетной вырезки. Считал — ничего особенного не сделал. Просто вышло все внешне эффектно.

Лишь несколько лет спустя у него в памяти всплыл этот эпизод. И подумалось: не потому ли судьба предложила ему гораздо более серьезное, ни с чем не сравнимое испытание, что к тому первому он отнесся с вызывающим легкомыслием? Если разобраться, такие мысли, конечно, мистика, фатализм. Но все-таки не стоило тогда так дерзко улыбаться пассажирам — честно говоря, у самого поджилки тряслись.

Немногие друзья знали: за веселостью и беззаботностью Карапетяна скрывается горячая забота о популярности в Армении подводного плавания. Самым серьезным своим делом он считал работу с юными спортсменами, которые занимались на базе ДОСААФ, расположенной на берегу Ереванского озера. Как бы ни был он занят, как бы ни устал после трудных соревнований, Карапетян каждый вечер спешил сюда. Тренировался с молодыми ребятами, отдавал им свой богатейший опыт чемпиона.

В тот вечер Карапетян, как обычно, пришел на базу ДОСААФ. Вечер, ставший поворотным в счастливой до той поры судьбе чемпиона, не был примечателен никакими особенными деталями. Стоял сентябрь. Ранняя осень в Армении — продолжение лета, лишь вода в озерах начинает понемногу отдавать тепло. Мягкими, приветливыми выдались и те дни.

...Шаварш заканчивал тренировку. Пробежал свои двадцать километров по берегу Ереванского озера. Как всегда, в полную силу. Возле дамбы остановился, чтобы подождать молодых ребят из секции подводников,— его быстрый темп они пока не выдерживали.

И вдруг увидел: переполненный троллейбус потерял управление, резко свернул с дамбы, сшиб ограждение и с пятиметровой высоты упал в воду. Все случилось в какие-то секунды — из троллейбуса успели выскочить лишь несколько человек. Шаварш, словно не было позади изнурительной тренировки, рванулся вперед, на ходу сбросил тренировочный костюм, прыгнул в воду и поплыл к бурлящей воронке.

Рядом с ним был брат Камо. Доплыли до места, где пузырьки воздуха

со свистом вырывались из-под воды. Шаварш крикнул брату: «Оставайся на поверхности. Будешь принимать людей!» В ближайшие полчаса Камо руководил работой спасателей, без которых все совершенное Шаваршем оказалось бы напрасным.

Говорят, случай слеп. На этот раз его волей на месте происшествия оказался, быть может, единственный в миллионном городе человек, способный помочь людям, попавшим в беду. Но и ему, опытнейшему подводнику, едва хватило воздуха, чтобы нырнуть на десятиметровую глубину, выдавить ногами стекло, пробраться в троллейбус, схватить захлебнувшегося человека и вытащить его в окно. Оттолкнулся от крыши и, ускоряя движение ногами, поплыл вверх.

На поверхности он передал спасенного Камо и вновь погрузился на дно. Там, в сплошной темноте, действовать приходилось на ощупь. В троллейбусе двигались люди, похожие на тень. Удар при падении оказался столь сильным, что почти все пассажиры потеряли сознание — немногие сохранившие волю не могли найти выход из троллейбуса, который все глубже проваливался в вязкий ил.

— Дайте акваланг и ласты! — крикнул Шаварш спасателям, ожидавшим его в лодке.

— Сейчас подвезут,— ответили они.

Терять время на ожидание? Воздуха в утомленных легких хватало на то, чтобы отыскать на дне троллейбус,— пробирался в салон Карапетян уже задыхаясь. Один раз Шаварш, поспешив, вынырнул с троллейбусным сиденьем. До сих пор не может простить себе ту ошибку — кому-то она стоила жизни.

На берегу собралась тысячная толпа. Останавливались машины, спасенных отвозили в больницы. Врачи прямо на берегу оказывали неотложную помощь.

Шаварш торопился. Он знал: никто другой не сможет заменить его. Движения сковывала резкая боль в животе.

...Он вновь надолго исчез под водой. Томительно тянутся секунды. Его друзья тоже ныряют на дно, но разыскать в темноте троллейбус им не удается. Но вот вздох облегчения. Карапетян опять на поверхности. И не один — сразу с двумя спасенными.

— Где троллейбус? — кричат с лодки молодые парни.— Покажи, где нырять.

Шаварш и сейчас не может ответить на вопрос, что указывало ему путь к троллейбусу. Какие ориентиры находил он на холодном, илистом дне? Быть может, дело не только в интуиции пловца-подводника — в минуты наивысшего духовного подъема, когда чемпион спешил на помощь попавшим в беду людям, помешать ему не могли никакие препятствия.

Карапетян вновь погружался на дно. На воде остаются пятна крови. Пробираясь сквозь разбитые окна, Шаварш сильно порезал плечи, живот, руки. Пока холодная вода омывает раны, он не замечает боли...

Двадцать раз без акваланга, без ласт, без всякого снаряжения уходил под воду Карапетян. Двадцать жизней спас. Подоспела помощь — подъемный кран. У Шаварша сильно кружится голова, он потерял много крови, он замерз. Но заменить его некому... Сил, чтобы самому нырнуть на десятиметровую глубину, уже нет. На дно он опускается с тяжелым камнем в руках. Отыскивает в темноте троллейбус, выдавливает ногами оставшиеся стекла и крепко обвязывает машину стальным тросом.

Все. Чемпион сделал все, что было в его силах. Когда он вышел на берег, его, как в лихорадке, била крупная дрожь. Кто-то массировал его замерзшие плечи, кто-то обвязывал раны, порвав на ленты рубашку,— ничего этого Шаварш не помнит. Он надолго заболел — воспаление легких, заражение крови... Сквозь порезы в кровь попала грязь из городского стока — это вызвало тяжелые осложнения.

— Какое качество самое важное в человеке? — спросил я у Шаварша.

— Доброта,— не задумываясь, словно давно уже решил этот вопрос, ответил он.— Доброта. Но не такая, знаешь, тихая, незаметная, которую держат в себе. Такого человека не добрым, а просто незлобивым считаю. По-настоящему добр тот, кто свои самые важные дела отложит, на помощь придет и о благодарности думать не будет. Одним словом, добрый человек — тот, кто нужен людям.

В Ереване мы переговорили с Шаваршем о многом. Я узнал, что он меч-

тает о возрождении в Армении интереса к подводному спорту, что ищет талантливых ребят, которые сумели бы перенять известные ему секреты скорости. Узнал о его «внеспортивных» увлечениях. В свободное время Шаварш любит покопаться в автомобильных моторах. Вместе с братьями он из списанных деталей собрал «Волгу» и подарил ее отцу к юбилею.

Отец, как и все отцы, считал своих сыновей мальчишками и когда они давно повзрослели. Он понял, что сыновья стали настоящими мужчинами, но цена этому знанию была такова, что он предпочел бы заблуждаться и дальше.

В тот вечер Владимир Самсонович шел по дамбе и стал свидетелем аварии. Словно почувствовав, что в воде оказались близкие ему люди, сквозь плотную толпу он пробрался к берегу. В спасателях узнал своих сыновей. Отец молча стоял у самого берега, а когда Шаварш вышел из воды, отдал ему свою куртку. Асмик рассказала то, о чем умолчал муж: на следующее утро Владимир Самсонович проснулся поседевшим.

Асмик всю ночь не отходила от сына. Он метался в бреду, вскрикивал, пытался вскочить с постели. Заболевание оказалось очень серьезным, но спорт дал Карапетяну крепкое здоровье, прекрасную закалку. Через два месяца он стал поправляться, ходил по комнате и мечтал о новых победах.

В доме родителей на широкой бархатной подушке приколоты многочисленные спортивные награды трех братьев Карапетян. Если попросить, отец с гордостью поведает о каждой: «Это — Шаварш, это — Камо, это — Анатолий...» Лишь две награды не имеют здесь отношения к спорту — медаль «За спасение утопающих» и орден «Знак Почета», которыми был награжден заслуженный мастер спорта Шаварш Карапетян за свой подвиг.

После болезни Шаварш пробовал вернуться в спорт. Очевидцы рассказывают: чемпион Европы в ту пору тренировался так неистово, что его прежние тренировки показались бы легкой разминкой. Липо Алмасакян вспоминает, что Шаварш накануне старта не разрешал себе выпить стакана воды: боялся набрать лишний вес, который помешает рекордным скоростям. Он добился почти невозможного — после годичного перерыва вновь завоевал место в сборной. На чемпионате Европы в Венгрии Карапетян уверенно лидировал на своей любимой дистанции 400 метров. Долгие годы он не знал здесь равных. До финиша и победы оставалось всего 50 метров, но вдруг резкая боль в животе парализовала движения. Как и тогда, на дне Ереванского озера, Карапетяну удалось пересилить боль. Дистанцию он закончил, но выбраться из бассейна ему помогал уже новый чемпион...

Жизнь Шаварша Карапетяна обычной не назовешь — она была заполнена яркими событиями, принесшими ему, еще молодому человеку, широкую известность. И завоевал он ее во многом благодаря умению рисковать, пересиливать себя, свое предательское «не могу».

Что же заставило Карапетяна сделать шаг, отвергающий всякое самосохранение? Объяснить это вряд ли сумел бы и сам Шаварш. А иначе смог бы он без колебаний, в единый миг принять решение, ставшее самым значительным в его жизни?

Карапетян прекрасно знал, что с каждым погружением в подводный мир теней, где он, единственный представитель жизни, вел бой со смертью, шансы спасти человека катастрофически уменьшаются, а риск расстаться с собственной жизнью возрастает неимоверно. Но для него не существовало черты, за которую согласно малодушному благоразумию не следовало переступать. Он помнил заповедь деда Самсона: «Мужчина в любом деле обязан совершить все, на что способен. И нет такого препятствия, перед которым ему позволительно остановиться». И в тот сентябрьский вечер чемпион был верен этой заповеди.

Карапетян, опытнейший спортсмен-подводник, не мог не понимать: спасая незнакомых людей, он навсегда расстается со своей самой главной мечтой — мечтой о спортивных победах. Дома, во время тяжелой болезни, он лежал на постели, а на стене блестели все его спортивные награды — было их более 130. Каждая давалась тяжким трудом, о каждой он мог рассказать увлекательную историю. Но что значат все его кубки и трофеи в сравнении даже с одной спасенной жизнью! А ведь он спас не одного человека — двадцать. У них будут дети, внуки...

Получив столь щедрую награду, можно ли сожалеть о незавоеванных медалях и непокоренных рекордах?

Да, он жил спортом, мечтал о победах, бредил рекордами. Но он никогда не считал, что спорт — это самоцель, что рекорды — это лишь способ удовлетворения собственного тщеславия. Скорее так: вся его предшествующая жизнь, все его громкие победы на водных дорожках были для него подготовкой к испытанию — и когда он оказался перед лицом этого испытания, то не дрогнул.

Сомнений нет, он с грустью размышляет о преждевременном расставании со спортом, но о совершенном не сожалеет. Более того, Карапетян уверен: не в минуты своих самых громких побед, а именно тогда, на Ереванском озере, он доказал, что не напрасно посвятил свою молодость спорту.

Мы шли вдоль дамбы, где сидели безмятежные рыбаки и загорелые мальчишки кидали камушки-голыши в воду. Карапетян остановился у того места, где когда-то бросился в холодное озеро.

Шаварш молча смотрел на спокойные воды Ереванского озера. А я вспомнил, что у его родителей на стене висят фотографии двух Шаваршей Карапетянов — деда и внука.

ЮРИЙ ПОПОВ

„ПРЕЗРЕВ ЛИЧНУЮ ОПАСНОСТЬ...“

* * *

«Таран — русская форма ведения воздушного боя...»

Эти слова Алексея Толстого вспоминаются всякий раз, когда думаешь о подвигах наших летчиков-фронтовиков. Действительно, русская.

А писатель имел в виду штабс-капитана русской армии Петра Николаевича Нестерова, который в августе 1914 года первым в истории авиации совершил воздушный таран. Вот где истоки подвигов наших воздушных героев, светлые их начала...

Сегодня П. Н. Нестеров воспринимается нами как историческая личность. А ведь по складу характера, по духу этот сверстник первой революции, мировой войны, первого самолета, электродвигателя, радиоприемника, кинематографа вполне современен. Кстати, когда он погиб, ему было только двадцать семь лет! А как много уже оказалось сделанным...

Самостоятельный проект самолета с оригинальным расположением стабилизаторов и рулей высоты... Ночные полеты... Первый в мире групповой перелет... Рискованные опыты связи самолета с артиллерийской батареей...

Обаятельная и всесторонне развитая личность!

«Когда птицы вылетают освежиться в воздухе, повеселиться и поиграть, они радостно реют, полные грации и красоты. И это естественное проявление эстетического чувства. Когда я гляжу на танцующих (я тоже танцую), то мне бывает иногда дико смотреть на странные движения многих пар... Когда я лечу на большое расстояние, мне никогда не придет в голову выкинуть что-нибудь необыкновенное. Но на аэродроме, при настроении, я танцую...» Это Нестеров.

«Петлю я действительно задумал совершить очень давно для доказательства своих принципов управления аппаратом, в корне расходящихся с господ-

ствующими взглядами... По какой-то ошибке человек позабыл, что в воздухе везде опора...»

И это тоже Нестеров.

Газеты того времени называли его «крылатым человеком», «витязем неба». Некоторые из них не забывали укусить: «Он рисковал собой и казенным аппаратом без разрешения начальства».

В журнале «Вестник воздухоплавания» за 1911 год в заметке «О бое и воздухе» летчик-инструктор, член Петроградской организации РСДРП Николай Александрович Яцук впервые теоретически предсказал применение таранного удара.

Его идеи, как семена в благодатную почву, запали в душу молодого Нестерова.

И вот — война... То, что на «казенном аппарате» нельзя делать в мирные дни, можно на фронте.

18 августа 1914 года началось наступление русской армии под командованием генерала Брусилова. Обеспечивая ее действия, авиаотряд штабс-капитана П. Н. Нестерова вел интенсивную воздушную разведку. Немецкие авиаторы занимались тем же. Особенно старался один австриец, летавший на самолете типа «альбатрос».

Их встреча в воздухе произошла в районе небольшого городка Жолкева (ныне г. Нестеров), что неподалеку от Львова. Петр Николаевич вылетел навстречу австрийцу на своем быстроходном «Моране». О том, что случилось дальше, свидетельствует специальный акт, составленный после боя комиссией под председательством капитана Генерального штаба Лазарева:

«...5. 26 августа (8 сентября по новому стилю.— *Ю. П.*) штабс-капитан Нестеров для преследования неприятельского аппарата поднимался два раза; при первом подъеме догнать не удалось, кроме того, при подъеме еще на земле оборвался трос с грузом, после чего штабс-капитан Нестеров опустился и поехал в канцелярию, велев сообщить, если появится неприятельский аппарат.

Вскоре вновь появился тот же аппарат, штабс-капитан Нестеров поехал на аэродром на автомобиле, спешно сел на свой двухместный аппарат системы Моран-Сольнье... поднялся, быстро выиграл высоту и нагнал неприятельский аппарат в 3,5 верстах северо-западнее деревни Липина в 12 часов 5 минут дня. Здесь, будучи значительно выше неприятельской машины, он спланировал на нее...

10. Осмотр обломков «Морана» указывает на то, что шасси прогнулось или подломилось уже в воздухе, нижние тросы ослабли, а в момент касания земли аппарат сложился так, что концы крыльев смотрели в одну сторону.

Из всего вышеизложенного надлежит вывести заключение, что штабс-капитан Нестеров, сознательно презрев личную опасность, преднамеренно поднялся, настиг и ударил неприятельский аэроплан собственной машиной...»

Весть о подвиге русского авиатора быстро облетела страну и весь мир. Газеты крупным шрифтом описывали бой, восхищаясь мужеством Нестерова. Поэты, композиторы, художники посвящали ему свои произведения.

Один из французских журналистов опубликовал стихотворение о воздушном таране. Вскоре оно было переведено на русский язык, и композитор Бормаков написал песню, ноты которой ныне хранятся в Центральном доме авиации и космонавтики.

Посмертно награжденного офицерским Георгиевским крестом 4-й степени П. Н. Нестерова похоронили в Киеве. Здесь же было решено поставить памятник герою.

Военный летчик поручик Е. Н. Крутень писал тогда в газете «Новое время»:

«...Все мы, военные летчики, уверены, что Нестеров не просто воткнулся, зажмурив глаза, своим аппаратом в неприятельский, как казалось из первых сообщений. Для Нестерова это было слишком просто. Он не стал бы так тратить аппарат. Он знал себе цену, знал, что нужен авиации общественной и военной как летчик и как конструктор. Нет, он выполнил свою идею, которую высказал на товарищеском обеде в Гатчине после своего замечательного перелета Киев — Петербург, совершенного всего за 18 часов. Он сказал: «Я не фокусник. Моя мертвая петля — доказательство моей теории: в воздухе везде опора. Необходимо лишь самооблада-

ние. Перелет такой, как мой, без всяких предварительных подготовок, сами знаете, какое имеет значение у нас в военной авиации. Теперь меня занимает мысль об уничтожении неприятельских аппаратов таранным способом...»

Мы, участники обеда, были захвачены его идеей. Так просто!.. 12 мая этого года он сказал о бое, а 26 августа это и было им приведено в исполнение...»

Так совершился первый таран. Он действительно стал «русской формой воздушного боя». Второй, третий и все последующие также на счету наших летчиков. Их было много, но о некоторых хочется рассказать более подробно.

...Антон Алексеевич Губенко. За воздушное мастерство, отвагу при испытании новой техники его при жизни называли «вторым Чкаловым».

Короткая жизнь Губенко напоминает стремительный взлет. 1927 год — курсант Военно-теоретической школы летчиков в Ленинграде... 1938-й — полковник, заместитель командующего авиацией Белорусского военного округа... 1939-й — за образцовое выполнение заданий правительства удостоен звания Героя Советского Союза... Ему тогда шел тридцать первый год!

В мае 1935 года, во время парада, над ярко расцвеченной Красной площадью пронесся самолет новой, непривычной формы. Истребитель И-16. Управлял им Валерий Чкалов: он демонстрировал принципиально новую боевую машину.

Отстаивал ее Валерий Павлович не только в воздухе, но и в горячих спорах — у новой машины были сильные противники. Последнее слово было за войсковыми испытаниями. Провести их поручили авиационному подразделению Антона Губенко.

Труднейшая программа испытаний новой боевой машины закончилась раньше намеченного срока — у правительственной комиссии претензий не было. Антона Губенко наградили орденом Ленина. В те годы такой наградой мог похвастаться не каждый военный летчик!

Восхищенный мастерством нового друга, Валерий Чкалов после одного очень трудного испытательного полета подарил Антону портрет П. Н. Нестерова с надписью: «Нет равных ему».

А в мире пахло гарью. Над апельсиновыми рощами Испании ревели моторы немецких бомбардировщиков.

Антон Алексеевич не мыслил себя в стороне от важнейших событий. Он писал рапорт за рапортом, просился в республиканскую Испанию. Безуспешно. Но Губенко продолжал настаивать.

В начале 1937 года вместе с группой летчиков-добровольцев капитан А. Губенко отправляется в Китай. Здесь он выполняет свой интернациональный долг и принимает самое активное участие в воздушных боях с японскими оккупантами.

С опозданием приходят письма и газеты. С большим интересом читает Антон Алексеевич сообщения о событиях в Испании. Радуется, узнавая об успехах республиканцев, о героических поступках друзей. Так услышал он о таранах летчиков Е. Н. Степанова и Н. П. Жердева в небе Испании... Вот они, последователи русского героя Нестерова, достойная его смена!

А вскоре врагам стало известно и имя Губенко. Сам японский император, узнав, что русский ас 31 мая 1938 года совершил воздушный таран над аэродромом Ханькоу, спросил:

— Он, конечно, поплатился жизнью?

— Летчик благополучно приземлил свою машину,— ответили ему.— Это первый такой случай в мире!

Да, одни называли таран актом безумия. Другие — следствием неумения вести воздушный бой. Были и такие, которые говорили: «А что им оставалось делать? Их подбили, они горят. Все равно падать!» — «Все дело — в азарте боя»,— теоретизировали иные.

В дневнике участника Великой Отечественной войны старшего лейтенанта Леонида Савченко-Львовского нашли такую запись: «Если боекомплекты израсходованы, необходимо идти на таран. Не дать уйти врагу. Победить или погибнуть».

Герой сделал эту запись задолго до своего последнего боя, в котором он таранил фашистский Ме-109.

Так рассуждал и Антон Губенко. В основе совершенного им тарана лежал точный расчет. Мысленно поступок этот был продуман до мельчайших деталей, применен как последнее средство. Ведь в начале боя Антон Алексеевич уже сбил один вражеский самолет!

Об истинной природе воздушных таранов говорят признанные авторитеты воздушного боя.

Трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин: «...Где, в какой стране мог родиться такой прием атаки, как таран? Только у нас, в среде летчиков, которые безгранично преданы своей Родине, которые ставили ее честь, независимость и свободу превыше всего, превыше собственной жизни».

Трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб: «Я встречался с фашистскими асами и в воздухе, и, с пленными, на земле. Среди них было немало отлично подготовленных летчиков. Но у них не имелось главного, того, что отличает советского аса: преданности общему делу, умения пойти на смертельный риск ради победы.

Каждый из нас, советских летчиков, защищал правое дело. Я вспоминаю товарищей по полку. Они были большими оптимистами и жизнелюбами. Но ради победы не щадили своих жизней. Вспомните, применил ли хоть один гитлеровский летчик таран? Я не знаю таких случаев. Таран называют оружием смелых».

Вот всего несколько примеров тарана:

1914 год — П. Н. Нестеров — первый случай в мире.

1937 год — Е. Н. Степанов, Н. П. Жердев — Испания.

1938 год — А. А. Губенко — Китай.

1939 год — М. А. Ююкин — Халхин-Гол.

И это, конечно, неполный перечень.

Грозное утро 22 июня 1941 года... Из истории 124-го истребительного авиационного полка:

«22 июня 1941 года немецкие захватчики произвели свой первый бандитский налет на аэродром. В первом воздушном бою были сбиты вражеские самолеты: один заместителем командира полка капитаном Крунловым и второй — Ме-110 — командиром звена младшим лейтенантом Кокоревым». Это был первый таран в Великой Отечественной войне, произведенный летчиком 124-го полка младшим лейтенантом Кокоревым в пять часов утра 22.6.1941 г. в районе Замбров».

...Дмитрий взлетел по сигналу тревоги. Застегивая шлемофон, подумал: «Началось!» Приказ командира полка краток: разведать обстановку на земле и в воздухе в приграничной зоне.

Безрадостная картина открылась взору летчика... На некоторых направлениях прорвались механизированные и танковые колонны... Виднелось зарево разгорающихся пожаров... Сомнений не было: война началась!

Дмитрий развернулся в сторону аэродрома: надо скорее доложить об увиденном. Но что это? Над летным полем «каруселило» много самолетов! Немцы бомбили аэродром, взлетевшие однополчане отражали напор врага.

Дмитрий решительно направил самолет в гущу воздушного боя. Атака... Вторая...

Из истории 124-го истребительного полка:

«Героический поступок Кокорева показал, что, несмотря на попытку германских воздушных пиратов сломить боевой дух советских соколов, бандиты, воспитанные Гитлером, жестоко просчитались. Когда у Кокорева отказали пулеметы, на своем самолете он врезался в хвост Ме-110 и вогнал его в землю. Д. Кокорев благополучно приземлил самолет».

Спустя несколько минут неподалеку от того места, где совершил таран Дмитрий Кокорев, направил на вражескую машину свой горящий истребитель коммунист Степан Гудимов... Имя героя установили в 1974 году следопыты пружанской средней школы № 1.

Командир звена истребителей 46-го авиаполка старший лейтенант И. И. Иванов, возвращаясь с боевого задания ранним утром 22 июня 1941 года, обнаружил самолет противника. Боеприпасы расстреляны, горючее на исходе. Оставалось одно: таранить. И Иванов направил свой самолет наперерез врагу.

В послужном списке И. И. Иванова записано: «Погиб во время тарана фашистского самолета Хе-111 в 4 часа 25 мин. утра 22 июня 1941 года». Следовательно, Д. Кокорев совершил свой таран на 35 минут позже...

Эстафета подвига продолжалась. За первое полугодие войны нестеровский прием уничтожения врага применили более ста летчиков. Таран — и это знали все — делал победу нашей. Не слу-

чайно о каждом факте воздушного тарана докладывалось лично рейхсмаршалу авиации Герингу!

...Восемь неприятельских бомбардировщиков при поддержке двух Ме-109 произвели налет на аэродром Рожкополье. Наши самолеты в это время заправлялись горючим после выполнения боевого задания.

Навстречу противнику вылетел летчик 158-го истребительного полка старшина Николай Яковлевич Тотмин. «Мессершмитты» устремились на него... Один стал заходить с хвоста... Тогда советский летчик развернулся и лобовым тараном отрубил плоскость вражеского самолета.

Однако и машина героя, совершившего первый в истории авиации лобовой таран, получила серьезные повреждения. Недалеко от земли Тотмин выпрыгнул с парашютом. Во время приземления парашют накрыл куполом пылавшую машину. Тотмин едва успел отстегнуться и отбежать в сторону.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года летчик был удостоен звания Героя Советского Союза.

Когда-то П. Н. Нестеров говорил своим друзьям по отряду: «Уверен, что в воздушном бою неприятельский аэроплан можно таранить по-разному: и колесами, и винтом, и крыльями... Надо только рассчитать все и быстро совершить нужный маневр».

Своим подвигом Тотмин доказал жизненность этих слов. Спустя три недели его однополчанин Герой Советского Союза Петр Тимофеевич Харитонов винтом истребителя повредил рули глубины бомбардировщика противника и благополучно приземлился в районе аэродрома с убранными шасси.

При совершении второго тарана П. Т. Харитонов применил для удара уже плоскость истребителя. И опять остался жив, успешно воевал до окончания войны.

Екатерина Зеленко... Ее именем названа далекая загадочная звезда, открытая недавно советским астрономом Тамарой Михайловной Смирновой. И теперь на звездных картах мира записано имя советской летчицы, комсомолки, единственной женщины в мире, совершившей таран в воздушном бою.

Одиннадцать раз выходила она победительницей из воздушных боев, победила и в двенадцатом, таранив вражеский самолет.

Судьба Екатерины Зеленко похожа на судьбы многих комсомольцев тридцатых годов. Многодетная семья, где она была десятым ребенком, семилетка в Курске. Переезд в Воронеж. Аэроклуб. Мечта стать военным летчиком. Установление мирового рекорда в полете на многоместном планере. Воронежский авиатехникум. Оренбургская военная авиашкола. Назначение в полк. Освоение нескольких типов боевых машин. Испытание бескислородного прибора на бомбардировщике, новых образцов авиационной техники.

Такое не каждому сделать и за долгую жизнь! Комсомолка Зеленко стала военным летчиком в девятнадцать.

Катя летала почти каждый день. Единственная женщина в полку, она не отставала от мужчин. Больше того — хотела быть первой.

Рассказывает бывший комиссар эскадрильи 135-го бомбардировочного полка гвардии полковник Ф. Руденко:

«Мы, однополчане, признавали в ней летчицу высокого класса. Не было ли тут преувеличения? Поверьте, никакого. Перед войной проводились соревнования по технике пилотирования, и первое место в нашем округе присуждено было старшему лейтенанту Е. Зеленко. Помню ее на спортивной площадке: бежит стометровку — быстрее всех, метает копье — дальше всех. На аэродром она являлась первой, ее вылет и посадку даже самые придирчивые командиры оценивали «отлично».

Из дневника летчицы: «Клянусь, моя любимая Родина, что я буду служить тебе как верная дочь».

Война с белофиннами. Катя много раз вылетала на выполнение сложных боевых заданий. Единственная женщина-летчица на Карельском перешейке, она работала мастерски! Свидетельство тому — орден Красного Знамени. В 1940 году его вручил Кате Михаил Иванович Калинин. «Будут фотографировать, садись рядом со мной»,— сказал он ей тогда.

«Мы любовались Катюшей. Невысокого роста, стройная, с короткой прической, она напоминала парнишку. И одевалась по-мужски: темно-синие бриджи, френч, сапоги — форма воен-

ного летчика. Три «кубика» в петлицах, на груди орден Красного Знамени. Впечатляло. Катя была очень скромной. Никогда не забудешь ее улыбку — открытую, добрую, ясную. Шутку любила...» — вспоминает Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации А. И. Пушкин.

В первые дни Великой Отечественной войны ей, как опытному летчику-инструктору, предложили отправиться в тыл для подготовки молодых летчиков. Она наотрез отказалась.

Выписка из представления к награждению старшего лейтенанта Е. Зеленко:

«...В июле месяце в районе Пропойска она вела группу бомбардировщиков на фашистскую колонну танков... Смелым и решительным налетом было уничтожено до 45 танков противника и 20 автомашин с пехотой... В районе станции Быхово, в августе 1941 года, группа бомбардировщиков попала под сильный огонь над скоплением войск противника. Несмотря на артиллерийский обстрел, т. Зеленко задание выполнила на «отлично», уничтожив батальон немецкой пехоты, не потеряв ни одного своего самолета... Зеленко посылалась на самые трудные задания, в воздушных боях участвовала 12 раз, за период ее боевой работы имела 40 боевых вылетов... За боевые заслуги перед Родиной, за проявленное мужество и героизм в борьбе с германскими захватчиками представляем Екатерину Ивановну Зеленко к званию Героя Советского Союза».

Представление подписали командир 16-й авиационной дивизии Янсен и командующий ВВС 21-й армии Зайцев.

«12 сентября 1941 года свой аэродром Катя Зеленко покинула в паре с самолетом капитана Лебедева. Через некоторое время машина Лебедева, пробитая во многих местах пулями и осколками, едва дотянула до соседнего аэродрома. В донесении вышестоящему командованию штаб полка сообщил: «Судьба летчицы неизвестна».

На третий день отступавший полк догнал раненый лейтенат Павлык, летчик-наблюдатель в экипаже Зеленко. Он рассказал:

— Мы уже возвращались с разведки, как неожиданно на нас свалилось семь «мессеров». Один Катя подбила. Потом и наша машина задымила. Зеленко приказала: «Прыгай!» Пришлось подчиниться...

Но были люди, которые наблюдали за последним боем Кати Зеленко,— жители Анастасьевки. Колхозники В. Будко, В. Петриченко, И. Сильченко, С. Балыкин рассказали о прощальном пике краснозвездного бомбардировщика, таранившего фашистский самолет. Обломки двух вспыхнувших машин падали на притихший, по-осеннему убранный лес...

Ее комсомольский билет № 7463250 много лет хранила местная учительница А. П. Марченко. Он был пробит и сильно залит кровью. Теперь билет находится в Мемориальном зале ЦК ВЛКСМ.

А на небе горит звезда комсомолки Екатерины Зеленко. Ведь свет истинного подвига вечен!

Если бы знал П. Н. Нестеров, как подхвачена его мужественная наука! Есть что-то родственное между героями России всех времен...

●●●



Очень странно, но на вершине вершин Земли — на самой макушке Эвереста — мы оба, я и Олег, чувствовали себя превосходно. Было прохладно, но дышалось легко, и мы уже собирались начать работу. Ждали только команды.

В репродукторе громкой связи щелкнуло, потом прозвучали слова: «Товарищи испытатели, доложите о самочувствии». Мы аккуратно — каждый сам — измерили свое кровяное давление — лежа, сидя и стоя, пульс и сообщили все руководителю эксперимента, которого иногда видели в иллюминаторы термобарокамеры, где мы с Олегом имели удовольствие сидеть. Естественно, по нашему собственному желанию.

Руководитель эксперимента — немолодой уже, огромный, грузный мужчина, известный ученый, лауреат Ленинской и Государственной премий,— часто подходил к пульту управления, о чем-то спрашивал кого-нибудь из группы дежурных врачей, и иногда, как подглядывающий нетерпеливый мальчишка, прикладывался к иллюминаторам камеры. Уж и не знаю, зачем ему это было нужно: нас прекрасно было видно и на телеэкранах, установленных в зале.

Я подумал тогда: «Напрасно он так о нас беспокоится. В самом деле — совершенно напрасно. О себе бы лучше подумал...»

Незадолго до нашего эксперимента он перенес тяжелый сердечный приступ и едва отбился от своих коллег-клиницистов, считавших, что ему нужно отлежаться в больнице. Дал слово, что вылежится дома, что не встанет с постели, а сам — вот он, здесь, в испытательном центре...

Атмосферное давление в нашей камере было как раз такое, как на самой высокой точке нашей планеты, на высоте 8.848 метров, а хитрость состояла в том, что в кислородной среде это совершенно не чувствовалось. И вообще все было у нас распрекрасно, если не считать довольно-таки неприятных ощущений кожи под множеством наклеенных датчиков. Но с этим уже ничего не поделаешь, приходилось терпеть.

Первые сутки эксперимента прошли очень быстро. Наверное, такому впечатлению способствовала непривычная для меня обстановка, да и времени свободного у нас практически не было: то непосредственно сама работа, то медицинские обследования, то всевозможные тесты... И когда нам подали команду ложиться спать, я удивился, что день уже закончился.



Свет в камере погасили, но он все равно проникал через иллюминаторы, и мы видели, как по залу бесшумно двигались фигуры в белых халатах. Эти люди будут всю ночь следить за данными телеметрии. Гулко выли мощные компрессоры, стены барокамеры мелко дрожали, и дрожь передавалась нарам, на которых мы с Олегом лежали.

Во время этого эксперимента мы с Олегом подружились, он много рассказывал о себе и своей работе. В общем-то, он довольно неохотно говорил обо всем этом, но мы были только вдвоем, и деваться ему было некуда. Поневоле разговоришься.

Испытателем он работал уже давно. В первый эксперимент пошел, когда ему было девятнадцать лет, и вот пятнадцать лет, как испытания стали его профессией.

Дома о его работе ничего толком не знали — предпочитал не говорить, чтобы не волновать маму. Всего ей не объяснишь, да и, наверное, не нужно, а она так спокойна: работа как работа... А то, что он каждый раз рискует в эксперименте — осознанно, расчетливо, но все же рискует — иначе и быть не может, об этом и вовсе не нужно ей знать.

Когда Олег уходил в эксперимент, длившийся несколько дней, он говорил, что уезжает в командировку, и мама терпеливо ждала его, не подозревая, что сын не так уж далеко от нее — всего в нескольких минутах езды на метро. Он возвращался усталый и делал вид, будто сумел неплохо отдохнуть в поездке, отоспаться в дороге, и ухитрялся рассказывать что-то о местах, где ему якобы довелось побывать, вспоминая когда-то услышанное или прочитанное.

«Наверное, я нехорошо поступал? — спрашивал он меня.— Ведь в сущности я обманывал...»

Честно говоря, я не знал, что ответить.

Я тоже о многом его расспрашивал и видел — он любит свою работу и, если случается долгое время жить без эксперимента — бывают такие периоды, чувствует: чего-то не хватает в жизни. Вот я и спрашивал — чего?

Он рассказывал, пытался мне что-то объяснить, чего я, наверное, не понял бы никогда, если бы не оказался с ним рядом, во время эксперимента.

Не хватает, наверное, вот этого ощущения предельной внутренней собранности. И другого — что ты самая главная фигура в важном деле, сознания того, что от тебя зависит очень и очень многое. И конечно, мысль, что ты идешь впереди. И чувство особой ответственности перед теми, кто верит и надеется на твою волю, силы во время эксперимента, и перед теми, кто пойдет в такой эксперимент за тобой.

Я беседовал об этом и со многими другими испытателями, и большинство из них говорили об этой притягательной стороне работы, которая заставляет человека чувствовать себя особенно нужным, поддерживает состояние полной готовности и, конечно, доставляет радость, испытываемую только во время эксперимента.

Наверное, я никогда не забуду новое, совершенно неожиданное для себя чувство, пришедшее во время испытания нового скафандра для защиты от радиации. Создатели его называют, правда, скромнее и проще — пневмокостюм. Я знал, что в аэрозольной камере, построенной специально для таких испытаний, в новом скафандре можно чувствовать себя спокойно, уверенно — все продумано, все предусмотрено, но ведь эксперимент остается экспериментом, и ощущение близкой опасности все-таки не покидало, и первое время мои движения были нерешительны. Я сам это отлично чувствовал, но ничего не мог поделать с собой.

Однако человек привыкает ко всему, и к опасности тоже.

И совершенно другие чувства были во время испытаний новой модели космического скафандра. Конструкторы долгое время бились, создавая его, старались достигнуть максимальной подвижности во всех сочленениях, чтобы космонавты чувствовали себя не только удобно, но могли бы свободно работать.

Конструкторы тщательно изучили доспехи средневековых рыцарей и потом — шаг за шагом — пришли к современным звездным доспехам.

Когда я впервые в них облачился, возникло чувство, будто приходится нести довольно большую тяжесть, но при этом каждый шаг, каждое движение помогает сделать кто-то невидимый: целая система внутренних тяг, тщательно продуманная и ювелирно исполненная, служила этой задаче.

Есть категория испытателей, которые не работают с техникой. Они испы-

тывают, если так можно сказать, самих себя — предельные и резервные возможности человека. Нужно это для того, чтобы мы могли лучше узнать себя и выработать полезные рекомендации, как быть, что делать, если кто-то окажется наедине с природой — во льдах, в пустыне, в дремучих лесах или в открытом море, ничего не имея для поддержания жизни. Кроме, конечно, знаний, полученных во время таких вот экспериментов.

Иногда говорят: но все-таки это эксперимент! В жизни, оказавшись в подобной ситуации, человек психологически настроен совершенно иначе. Во время эксперимента знаешь, что в случае необходимости придут на помощь, пропасть, во всяком случае, не дадут, а в жизненной ситуации на эту помощь рассчитывать не приходится.

Все это так. И не совсем. Оказывается, испытатели во время эксперимента настолько вживаются в образ и в стоящую перед ними задачу, что практически делают все так, как делает человек, волей судьбы попавший в опасное положение.

О психологическом состоянии испытателей во время эксперимента говорит такой случай. Проигрывалась ситуация потерпевших кораблекрушение. Уже несколько дней люди сидели на небольшом надувном спасательном плоту. Все это происходило в Индийском океане, и эксперимент близился к концу. Оставались считанные часы. Да что часы — минуты считали! Уже стали собирать и укладывать вещи, когда по радио пришло распоряжение с базы продлить опыт еще на сутки. Связь была громкой, и все это отчетливо слышали.

Тут же, не сговариваясь, испытатели дружно закричали: «Нет! Что они там, с ума посходили?!» Самое забавное, первым и громче всех закричал человек, который знал, что распоряжение это ложное и заранее обговорено.

Это был своеобразный психологический тест. Человек знал, что на самом деле никто не собирается продлевать опыт, но разве не удивительно: в трудную минуту сам он воспринял заведомо ложный приказ как полную для себя неожиданность! В стрессовом состоянии, когда все мысли и чувства нацелены к одному — избавлению от долгих мучений, человек даже и в эксперименте может утратить — да и утратил! — контроль над собой.

Именно потому, что профессия испытателя требует особых человеческих качеств, выдержки, умения владеть собой, не каждый человек может стать испытателем. Далеко не сразу можно выяснить это, но в ходе работы, во время эксперимента все непременно станет на свои места.

Все мы люди разные — к счастью, разные, иначе нам было бы невообразимо скучно жить на свете и вряд ли захотелось общаться с кем-либо, кого мы знаем как самих себя. Но в эксперименте — не как в жизни — друзей не выбирают, приходится, и иногда очень долго, жить бок о бок с людьми, которых ты не знаешь, а по мере узнавания не испытываешь к ним симпатии... Такое в жизни испытателей нередко случается. И от этого трудный эксперимент сам по себе становится во сто крат труднее. Но через все надо пройти.

Вспоминаю один эксперимент, о котором мне рассказывал молодой тогда еще врач Виталий. Их было десять испытателей, но Виталий, помимо всего прочего, участвовал в эксперименте и как специалист.

Накануне начала опыта, который должен был длиться по программе четыре месяца, каждого из них медики осматривали заботливо и придирчиво, как если бы готовили к полету в космос. Три недели — с утра до вечера — молодых, здоровых людей «терзали» врачи, обследуя и пытаясь узнать все, что только может узнать современная медицина с помощью новейших средств и электронных приборов. Записывались биоритмы испытателей, досконально исследовался состав их крови, был сделан подробнейший рентген, изучался обмен веществ, работа сердца в различных условиях — ну, словом, все. Это нужно было, чтобы потом сравнить данные измерений до и после эксперимента. Только так можно узнать, как повлиял эксперимент на организм человека и на каждый из его внутренних органов.

Все десятеро знали, что их ожидают и неожиданности и случайности — и вовсе далеко не приятные. Они знали, что в эксперименте таится и немалая доза опасности, потому что и современная медицина, увы, далеко не всегда всесильна...

Итак, очередной эксперимент... Они ждали дня, когда он начнется, как ждут спортсмены выстрела, дающего начало бегу. Но бега и выстрела не было. Их

просто взяли и уложили в постели. Эти молодые, идеально здоровые люди должны были пролежать, не поднимаясь, сто двадцать суток.

Трудно представить: ты здоров, в тебе кипит жизнь, требует движения, требует, наконец, перемены обстановки — требует всего привычного, а надо от всего этого отказаться. Да, верно, сколько угодно печальных случаев — больные люди годами прикованы к постели.

У больного человека меняется и сама психология — ее вырабатывает болезнь: он знает, что иного выхода нет. Он, безусловно, надеется — и правильно! — на выздоровление, но у него меняется даже ход физиологических процессов, организм приспосабливается к непривычному, неестественному образу жизни.

И совсем другое дело — здоровый человек. Резко вырванный из обычного цикла жизни, он тяжело переносит состояние неподвижности. Все в нем протестует, активно борется с навязанным ненормальным положением. Вот почему именно медикам, занимающимся изучением воздействия неподвижности на здоровых людей, этот эксперимент был особенно важен и нужен. Нужен не только ученым. В конце концов, все делается для нас с вами. Чем бы мы ни занимались в нашей обыденной жизни, нужен тот эксперимент, нужны те десятеро, которые ради нас подвергли себя труднейшему испытанию.

Опыт, поставленный советскими учеными, по трудности, задачам, по продолжительности, наконец, по результатам — уже можно твердо сказать — действительно выдающийся эксперимент. Да, верно, его можно было провести и сто лет назад, но был ли он нужен тогда? Перед человечеством еще не стояла столь остро проблема гипокинезии — проблема неподвижности. Да и что могли бы сделать коллеги современных ученых без нынешних тонко работающих, чутких приборов и установок, способных прослушать и даже увидеть практически любой наш внутренний орган... Говорят, что открытия чаще всего делаются именно в тот момент истории, когда человечество в них наиболее остро нуждается. Вероятно, то же самое можно отнести и к выдающимся экспериментам.

...Когда они вошли в палату, где им предстояло провести столько времени, и за ними захлопнулась дверь, каждый особенно остро понял, что там, за этой дверью, осталось все, к чему они привыкли и что любили. Нет, они не были лишены контакта с внешним миром — им разрешалось слушать радио, читать, писать близким письма, но все равно они уже не принадлежали себе, потому что именно с этой минуты и начался эксперимент.

Да, каждый оставил за этой дверью свое...

Виталий, прощаясь с женой, сказал: «Улетаю на четыре месяца. Куда — пока сказать не могу. Пиши на адрес больницы...» Он имел в виду больницу, где работал.

Сергей Михайлович, самый старший из испытателей — ему сорок четыре тогда было,— человек многоопытный. Воевал, был командиром артиллерийского дивизиона. Теперь — испытатель. Глава большого семейства. Пятеро детей. А дочь как раз в те дни заканчивала десятилетку. Конечно, ему хотелось быть дома...

У каждого оставалось что-то свое, и от всего пришлось отрешиться. Но и не думать о том, что осталось, они не могли. Слишком многое оставляли надолго.

Самым трудным был первый месяц. Подниматься с постели не разрешалось, они не могли даже поднять головы с подушки. Делали все лежа — брились, умывались, ели, читали, играли в шахматы. Медицинские обследования...

В те первые недели эксперимента у некоторых начались резкие боли внизу живота. Потом они прошли. Организм с трудом вживался в непривычное состояние. Виталий говорил потом:

«В те дни мы узнали, какой твердой может оказаться постель...» Виталию, наверное, было труднее всех: он был еще и врачом-экспериментатором. Он еще и работал лежа. Каждый день не менее четырех часов напряженной работы. Обрабатывал медицинские показатели каждого из десятерых и на каждого вел медицинский дневник.

Впрочем, всем было трудно. Каждый в любое мгновение, по своему желанию, мог выйти из эксперимента, и, признаться, были моменты, когда приходила в голову такая мысль, но они гнали ее прочь от себя, потому что знали, как важно в эксперименте участие каждого. Они шли первыми и не могли отступить.

На третьем месяце Виталий получил

письмо от жены. Она писала: «Я чувствую, что тебе сейчас очень плохо. Напиши, что с тобой...» Он не мог написать, но именно в те дни ему действительно было очень тяжело. Именно тогда подкрадывалась робкая, дрожащая мысль: может, бросить все поскорее? Встать и уйти? Но он пересилил себя. А что касается письма, то как после этого не поверить в женскую интуицию?

Испытатели уходят из дома, как уходили во время войны разведчики, как уходили в полет космонавты. И тех, и других, и третьих впереди ждало неизведанное, поэтому лучше, конечно, если дома ничего не узнают, по крайней мере, будет меньше поводов для беспокойства.

Они изменились во время эксперимента. Хотя слово «изменились», наверное, не выражает точно их состояния. Правильнее, вероятно, сказать — стали немного другими. У некоторых появилась вспыльчивость и раздражительность, и настроение могло мгновенно испортиться из-за малейшего пустяка, на который в обычной жизни никто не обратил бы внимания. Или, наоборот, на всех находила почти беспричинная веселость, и они могли хохотать до упаду. А если спорили, то спор становился яростным, бескомпромиссным.

Однажды такой спор длился часа полтора, и сами уже забыли, из-за чего он разгорелся, пока не наступила разрядка. Тогда пришли к джентльменскому соглашению: если один из них просит чего-то, например говорить тише, просьбу все обязаны выполнить. Может быть, это и странно, но именно после той своей договоренности они научились лучше понимать не только друг друга, но и самих себя.

...Испытатели — это люди, которые ставят эксперимент на себе. И для этого тоже нужно иметь призвание.

Так кто они, испытатели? Люди, рожденные исключительно нашим временем? Почему их не было прежде? Да нет же, конечно, были!

Октябрь 1892 года. В Гамбурге и Париже — эпидемия холеры. Это сейчас с холерой официально покончено раз и навсегда, а в те времена одно слово «холера» вселяло ужас. В Европе она за год уносила несколько сотен тысяч человеческих жизней.

И вот старый мюнхенский врач Макс Петтенкофер налил в стакан культуру холерных бацилл и выпил до дна. Ополоснул стакан водой, чтобы не оставить бактерий на стенках, и снова выпил. Потом сказал: «В одном кубическом сантиметре я, очевидно, принял миллиард этих внушающих страх микробов». Петтенкофер поставил этот опыт, чтобы доказать верность своей теории, согласно которой носителем холерных бацилл может быть только почва.

Он ошибался и не умер лишь по счастливой случайности. Роберт Кох полагал, что Петтенкоферу нарочно прислали ослабленную культуру бактерий, поскольку предполагали, что такой человек может поставить эксперимент на себе. Разве не был Макс Петтенкофер испытателем? А его поступок — подвигом?

Наш великий соотечественник Илья Ильич Мечников и выдающийся врач-исследователь Николай Федорович Гамалея несколько позже приняли внутрь культуру холерных вибрионов. Но полученных наблюдений оказалось мало, и примеру Мечникова следует еще один врач. На этот раз болезнь проявила себя: доктор при смерти. Мечников мучается, полагая, что врач погибает из-за него. Мечников заявляет, что, если этот человек умрет, он покончит с собой... Врач, по счастью, выжил.

Разве не подвиг совершили и эти люди? Ради науки, ради жизни других людей. И о них тоже можно сказать, что они — испытатели. Тогда испытатели, наверное,— это люди, обладающие особыми свойствами души, характера, люди высочайших моральных убеждений и качеств? Вероятно, это существо человека, его свойство, его особый дар. Это второе «я» человека. Но раньше испытателями были одиночки, теперь это профессия. Теперь испытатели, можно сказать, династия, клан сильных, смелых людей, идущих в авангарде науки. На них обычно фокусируется внимание многих ученых, когда идет эксперимент. Но когда он кончается, испытатели чаще всего остаются «за кадром». О них не пишут, газеты не печатают их портретов. Испытатели скромны и, конечно же, не ради славы избрали эту профессию.

...Месяца через полтора после начала опыта Виталий ощутил невесомость. Тело, казалось, потеряло вес, и он почти наяву парил в воздухе. Три дня непрестанно парил. Когда он закрывал глаза,

подступала тошнота и начинало казаться, что кровать покачивается. Тогда против воли подумалось: «Наверное, сильно ослаб. Теперь-то уж точно выведут из эксперимента...»

У них уже пропало всякое желание двигаться. Стали гораздо меньше читать. И если в самом начале предпочитали романы, то теперь выбирали что-то попроще. Особенный спрос появился на детективы.

Четвертый месяц был уже на исходе, и все они знали теперь, что успешно дошли до конца. В последние дни эксперимента больше молчали. Можно было подумать, что каждый замкнулся на себе, но так только казалось. Они уже не умели думать лишь о себе. Позже выяснилось, что всех беспокоило в основном одно: скоро конец, как встать на ноги? Испытатели совершенно забыли, что это значит — ощущать собственный вес.

Первое время после эксперимента Виталий ходил с палкой. Он был здоров, но сильно ослабел.

На обследовании его навестила жена с сыном. Увидела — и в лице изменилась. Виталий был похож на человека, только-только перенесшего болезнь — тяжелую, долгую. А он в это время думал: «Упаду или нет, если возьму Вадика на руки?» Виталий опустился на колени и прижал сына к себе. Можно сказать, что только с этой минуты эксперимент для него кончился.

А через некоторое время, он, отводя глаза в сторону, опять говорил жене, что ему надо снова уехать. Она прекрасно все понимала, лишних вопросов не задавала, спросила только: «Когда вернешься?» И он бодро солгал, не желая волновать ее, и почувствовал, что успокоить так и не смог.

Я рассказал об этом эксперименте с единственной целью: показать внутреннее состояние людей, добровольно идущих на трудное испытание и знающих, что оно может дорого стоить. Затраты моральные, полная мобилизация всех внутренних сил, сдерживание эмоций, жесткие психологические рамки — и все это от минуты к минуте, от часа к часу, изо дня в день, из месяца в месяц... Согласитесь: далеко не каждый на это способен.

Вспоминается другой эксперимент, который готовился несколько лет и длился 366 дней. Трое молодых испытателей провели год в гермообъеме, полностью изолированные от внешнего мира. Целый год они не видели солнца, близких людей.

Наверное, надо сказать о смысле этого научного опыта. В последние годы ставилось множество экспериментов, чтобы выяснить максимум и минимум возможностей нашего организма.

В 1962 году молодой французский спелеолог Мишель Сифр провел в пещере под землей два месяца. На поверхность его подняли в бессознательном состоянии. Через четыре года англичанин Дэвид Лэфферти провел под землей вдвое больше времени — 127 дней.

Очередной эксперимент — новый рекорд. Да, рекорд, потому что задачи науки в тех опытах оставались как бы второстепенными. Жан-Пьер Мэрте, молодой французский спелеолог, просидел под землей уже полгода. После опыта он был настолько слаб, что без посторонней помощи не мог сделать ни шага. Потом — эксперимент югославского исследователя Милутина Вельковича, прожившего более года под землей в одиночестве,— 463 дня.

Безусловно, все четверо спелеологов, имена которых я только что назвал, люди отважные, отчаянные смельчаки. Они рисковали ради науки, и каждый из них добавлял что-то к тому, что мы знаем о резервных воможностях человеческого организма. Честь и хвала им за это.

Эксперимент советских ученых строился на принципиально новой основе. У него были совершенно конкретные научные задачи и цели. Ученым необходимо было узнать, как будут себя чувствовать люди в космическом корабле.

Перед длительным космическим полетом необходимо было, насколько возможно, проиграть его на земле. Ведь, в сущности, и сейчас мы еще так мало знаем о специфике жизни в космосе... Только недавние полеты советских космонавтов приподняли завесу неизвестности, и только после них стало кое-что проясняться, а в те годы, когда ставился эксперимент с земным звездолетом, как стали его называть, все было внове, все делалось впервые. И никто не мог сказать с полной уверенностью — под силу ли людям жить так долго в тесном, замкнутом пространстве, забитом приборами, ограниченном, в общем-то, тонкими металлическими стенами, за которыми простирается опасный и враждебный для человека мир...

Итак, трое парней, которые 366 дней не видели солнца.

Герман Мановцев. Когда эксперимент начался, ему был тридцать один год. Врач. Светлые волосы, очень серьезные глаза, даже строгие.

Андрей Божко. Тогда ему было двадцать девять лет. Биолог. Многим он казался сдержанным, человеком, который превосходно себя контролирует. Возможно, так и есть. Однако те, кто знает его поближе, говорят о нем как о человеке, умеющем и радоваться и огорчаться.

Борис Улыбышев. Двадцать четыре года было ему к моменту начала эксперимента. Техник. В группе, пожалуй, самый общительный и самый веселый. На редкость «удачная» ему попалась фамилия. Очень подходит к нему.

После напутствия. Испытатели входят в камеру. За ними закрывается массивная герметичная дверь, которую сразу же опечатывают. Только через год пломбу сорвут. Ведущий инженер застыл у пульта управления взволнованный, с побледневшим лицом.

Все. Эксперимент начался.

Несколько месяцев спустя один из сотрудников лаборатории рассказывал: «Фактически все началось на несколько дней раньше. Пятеро суток испытатели обвыкали — жили в камере с открытой дверью. А когда эксперимент начался, все мы так волновались... Каждый прекрасно знал свои системы — что надо включать, а что выключать, а тут смотрю и себе удивляюсь: руки дрожат... Знаете, мы поначалу не верили, что они смогут просидеть хотя бы пять месяцев...»

После этого разговора прошло еще пять месяцев, и лишь тогда дверь, ведущая в отрезанный мир, распахнулась, и они перешагнули через порог. Через порог камеры, бывшей им целый год и домом и лабораторией. Многое, очень многое из того, что для всех нас, живущих в привычном нам мире, обычно, естественно и потому часто незаметно, для них превратилось в недосягаемую мечту. И главное, пожалуй, было желание простора, движения.

Они никогда не говорили о доме, о близких — просто условились не делать этого. Так мечтающие о капле воды в пустыне, если это по-настоящему сильные люди, стараются не говорить о жажде.

Каждый день психологи посылали испытателям карту опроса, и всегда ответы были такими: «Настроение хорошее, сон хороший, ощущения утомления не было».

Они никогда ни на что не жаловались. Но иногда вопреки желанию прорывалась грусть. Как-то раз, в конце апреля, через полгода после начала эксперимента, Герман спросил задумчиво: «На улице как сейчас?» Связь с ними осуществлялась по видеотелефону. Ему ответили, растерявшись немного: «Да так... ничего особенного...» Ответили так, потому что не хотели рассказывать о буйной весне, о том, что сошел снег, вышла свежая зелень травы и вот-вот обнажатся клейкие листья.

Герман почувствовал какую-то недоговоренность и задал новый вопрос: «А в чем вы сейчас ходите?» И всем в дежурной бригаде сразу стало неловко оттого, что, закончив работу, они выйдут на улицу, вдохнут запах весны, увидят ее свежие краски, от которых отвыкли за зиму, а те трое еще долго не вдохнут свежего воздуха и не увидят иного света, кроме света электрических ламп.

Эксперимент этот был нужен не только врачам, биологам и психологам. Испытывались системы жизнеобеспечения, системы регенерации воды, кислорода, очистки воздуха. Ведь дышали они своим же воздухом, только бесконечное количество раз очищенным здесь же, в камере, и воду пили ту же, что до того пили бесконечное количество раз... Ученым нужно было знать, как будет чувствовать себя человек в искусственной атмосфере, похожей на земную, но все же в искусственной.

Трудно найти машину, которая бы в течение года работала без ремонта, но системы их земного звездолета так же, как и люди, выдержали испытание временем. В этом опыте каждый день и каждый час могли таить в себе неожиданности. Никогда прежде человек не жил так долго в подобных условиях и в полной изоляции от внешнего мира.

За работой им казалось, что время летит быстрее. Другое дело — воскресные дни. Вот как они потом рассказывали о своих выходных, хотя само слово «выходной» в данной ситуации звучало скорей иронично, поскольку выходить-то им было некуда. «Выходные дни мы обычно заполняли чтением и спортивной тренировкой...» И признавались, что упражняться с гантелями, подтягивать-

ся и крутить педали велоэргометра, «пожалуй, самая большая радость и развлечение...».

Было ли нечто такое, что отличало бы их поведение во время эксперимента и до него? На этот вопрос ответил один из тех, кто работал на командном пункте: «Пожалуй, нет... Впрочем, они всегда каким-то образом чувствовали, что за ними наблюдают по видеоканалу, и, видимо, это их сильно смущало. И еще, мне кажется, у них очень обострился слух. Стали моментально схватывать малейшие оттенки в голосе. Был такой случай: Татьяна, начальник одной из смен, пришла на работу немного нездоровой. Однако голос ее, поверьте, был совершенно обычным. А Мановцев сразу спросил: «Ты что, простудилась?» Но это, как говорится, любопытные детали. В целом же никаких отклонений от нормы мы не наблюдали. Вели они себя молодцом...»

Что стоит за этой фразой, знают только они, испытатели...

Может возникнуть вопрос: нужно ли в эпоху бурного развития научно-технического прогресса, когда человек давно уже покорил высочайшие горные вершины Земли, глубочайшую океанскую впадину, когда он пересек все пустыни, дошел до полярных макушек планеты и выбрался в космос,— нужно ли сейчас рисковать жизнью, собирая по крупицам такой трудный опыт?

Конечно же, нужно. Именно сейчас и нужно, как никогда прежде. Раньше, когда мы только-только познавали свою планету, лишь одиночки, отчаянные смельчаки пускались в рискованный путь — на поиски новых земель, и, если случалась беда, они могли рассчитывать только на самих себя. Как мог погибающий в пустыне сообщить о беде? Где-нибудь на видном месте — да и что это такое в подобных условиях, «видное место»? — оставить в банке записку в надежде, что когда-нибудь ее найдут и она расскажет людям о трагедии, которая здесь разыгралась...

Как мог рассказать о себе терпящий бедствие в море? Разве бросить в волны бутылку с такой же запиской...

Современные средства связи позволяют подать сигнал бедствия из любой точки Земли. Там, куда раньше могли добраться лишь отважные искатели приключений, сегодня проходят на океанских судах и пролетают на самолетах многие и многие тысячи людей, совершающих обычные деловые поездки. Кажется, они в безопасности... Безусловно. Но, увы, нет стопроцентно надежной машины — и велосипед нередко ломается, а ведь чем машина сложнее, тем труднее ждать от нее этой самой стопроцентной надежности.

И вот человек, еще несколько минут тому назад сидящий в удобном кресле с газетой или чашечкой кофе в руках, оказывается в спасательной шлюпке, на плоту или возле самолета, совершившего вынужденную посадку в безлюдной местности...

Существует множество профессий, представители которых и по самому роду своей работы часто, если не постоянно, оказываются лицом к лицу с природой. Геологи, рыбаки, водители автомобилей, работающие на Крайнем Севере или в пустыне, летчики, космонавты, совершившие посадку в океане или в глухом лесу,— такое тоже случалось, ученые, работающие во всевозможных экспедициях, туристы, наконец. Все они должны знать, что нужно делать, чтобы отстоять свою жизнь.

Исследования показали, что человек в неожиданной ситуации ведет себя неправильно. В пустыне, к примеру, вместо того чтобы поставить самодельный тент и переждать дневной зной, он отправляется на поиски воды и через три часа получает тепловой удар. На севере в пургу бредет, плохо сознавая куда, и погибает. В океане, встретившись с акулой, кидается прочь от нее, вместо того чтобы пойти навстречу и, как показывает опыт, тем самым использовать свой шанс на спасение. Но ведь, чтобы так поступить, надо обладать хотя бы самыми элементарными знаниями...

Так возникла новая наука. Я уже говорил, что профессия испытателей сформировалась недавно. То же самое можно отнести и к науке. Особого названия у нее нет, поэтому можно попытаться сформулировать его, скажем, так: «Наука, занимающаяся проблемами выживания человека в экстремальных условиях природы». Она возникла на стыке многих других наук, что тоже можно назвать явлением времени.

Обо всем этом мы говорили с Виталием Георгиевичем Воловичем — врачом, ведущим нашим специалистом, защитившим докторскую диссертацию по проблемам выживания.

С чего и когда началась для него эта

наука... Наверное, в тот день, когда он, совсем молодой врач, высадился на дрейфующем льду и стал участником экспедиции «Северный полюс-2», а чуть позже и «Северный полюс-3». Или 9 мая 1949 года, когда он вместе со спортсменом-парашютистом А. П. Медведевым совершил первый в истории парашютный прыжок на Северный полюс? Дело вовсе, разумеется, не в установлении точной даты, когда именно все было, а в том, что человек почувствовал свою причастность, возможно, даже ответственность за судьбы людей, которым он может помочь как врач и как человек, имеющий собственный опыт борьбы за жизнь.

Волович был участником многих десятков экспериментов на выживание, поставленных в океанах, в горах, в пустыне, в лесах и джунглях Юго-Восточной Азии. Он и те, кто был вместе с ним, шли на риск ради того, чтобы узнать, где та грань, за которой человеку грозит гибель, и что надо сделать для ее предотвращения.

Было много сомнений. Нет, не у него. У его коллег. Находились люди, которые говорили, что нельзя заведомо подвергать риску жизнь людей. Он убеждал, от опыта к опыту доказывая: для подготовленного человека риск не так уж велик. Ему говорили, что с сугубо научной точки зрения эксперименты нельзя считать достаточно чистыми: нет фактора неожиданности — человек, внезапно попавший в катастрофу, испытывает огромное нервное, психологическое напряжение, которого нет, да и не может быть в тщательно подготовленном эксперименте.

Он доказал, что и это не так. Судя по дневникам испытателей, их нервное напряжение в опыте нарастает изо дня в день, и практически их психологическое состояние не отличается от состояния человека, случайно попавшего в беду.

А бывает, и в опытах случается непредусмотренное.

Как-то раз, во время эксперимента в Тихом океане, приблизительно в двух тысячах километров от ближайшего берега двенадцать человек в спасательной шлюпке отрабатывали очередной эксперимент. Они были одни: судно, их высадившее, дрейфовало где-то за горизонтом. Все шло хорошо, пока внезапно не налетел тайфун. Шлюпку оторвало от буя и понесло по бушующему океану. Только через сутки их смогли отыскать. Неизвестно, как могла бы закончиться эта история, если бы вместо испытателей, вооруженных опытом и знаниями, оказались случайные люди...

Наверное, можно возразить: постойте, но зачем ставить рискованные эксперименты, если их ставит сама жизнь? Сколько мы знаем случаев, когда волей судьбы человек оставался один на один с природой и выходил победителем! Начиная от Александра Селькирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо, и кончая подобными случаями, которые и в конце двадцатого века не редкость. Разве нельзя уже на основании приобретенного опыта выработать необходимые советы и рекомендации?

Можно. Да только далеко не все. Во время тщательно продуманного и подготовленного опыта проделывается множество всевозможных измерений, наблюдений, исследований, анализов. Это делается изо дня в день. Поэтому после окончания опыта ученые получают полную картину состояния функций внутренних органов и постепенного изменения психологического состояния человека. Кроме того, только эксперимент дает возможность сравнить физиологическое состояние человека до и после опыта. Вот почему опыт, приобретенный в результате одиночных, пусть и во всех отношениях удивительных, случаев, не может дать того, что дает науке эксперимент.

Помню, с каким интересом изучали медики меня и моих товарищей после эксперимента на выживание на необитаемом острове и в другой раз — после такого же эксперимента в тайге, сравнивая данные измерений, полученные перед экспериментом и после того, как мы вернулись. Для них это были очень ценные данные.

Я часто вспоминаю людей, с которыми меня связала судьба. Вспоминаю бледное от волнения лицо руководителя одного из экспериментов, в котором я принимал участие, вспоминаю, как он тайком глотал валидол и думал, что никто этого не видит. Вспоминаю лица товарищей — усталые, напряженные, измученные... И не могу не думать: а ведь они не для себя это делают — для всех.



ИВАН АПАНОВИЧ

ПЛАЦДАРМ ЗА ОДЕРОМ

1

Преследуя отступающие немецкие войска, наш 218-й гвардейский стрелковый полк под командованием Героя Советского Союза полковника И. С. Евстигнеева 3 февраля вышел к реке Одер в семи километрах южнее города Франкфурта-на-Одере. До этого гитлеровцы успели отвести остатки боевой техники и взорвать заминированные мосты и переправы.

В двух километрах от реки мы остановились на опушке леса и окопались. Бойцы, обессиленные переходом, приспосабливались в вырытых щелях на ночной отдых. Кухни отстали в пути, но об ужине никто и не думал. Темнело, огромное зарево пожарищ освещало небосвод.

Три недели беспрерывных боев, бессонные ночи, полные тревог и неожиданностей, недоедание и адская усталость как-то сразу сказались во всем теле. Трудно было представить, чтобы после такого изнурительного перехода командование могло решиться на форсирование водной преграды. «Скорее всего встанем в длительную оборону»,— думал я.

Где-то за рекой проскрежетал шестиствольный миномет-скрипун. Невыносимые звуки, казалось, заполнили собой все пространство. И вслед за ними по эту сторону реки сверкнули огненные вспышки. Я успел заметить смутные контуры какого-то населенного пункта.

Из темноты появился связной.

— Вызывает комбат!

Я устало последовал за ним.

Комбат Иванов рассматривал лежащую на коленях карту. Тут же находились командиры стрелковых рот.

Я доложил о своем прибытии.

Иванов прервал беседу с офицерами и обернулся.

— Перебросишь связь на тот берег. Как это сделать, думай сам. В помощь возьмешь Богданюка и Облогина.

Он говорил, а я слушал и думал, что все же принято решение форсировать реку с ходу.

— Младший лейтенант Онищук покажет место переправы. Приготовьтесь, и в путь.

— Разрешите идти?

— Иди,— сказал комбат. И незнакомо-низким голосом добавил: — Иван, идешь на великое дело и не должен погибнуть.

Он еще что-то хотел сказать, но смолчал и только махнул рукой. И когда я отошел, окликнул:

— Апанович! Тебе ясен приказ? Повтори!

— Ясен, товарищ гвардии капитан! Перебросить через Одер связь. Выполнить задание и не погибнуть.

— Правильно. Теперь иди.

Я направился к связистам, с которыми предстояло первыми форсировать реку. Останемся ли живыми? Там, за



Одером, начинаются предместья Берлина. Близок конец войны. Никогда прежде не ощущал я в себе такого желания жить. Это чувство росло по мере приближения к вражеской столице.

Из глубины щели, в которой спали Богданюк и Облогин, доносился мерный храп. Вместе мы прокладывали связь через Турью, Буг, Вислу. Мы давно научились без слов понимать друг друга и знали, что в случае опасности никто из нас не будет покинут в беде.

Андрей Богданюк, неунывающий весельчак, уроженец Полтавской области, весной 1941 года окончил десятилетку и мечтал о филологическом. Однако война перевернула все планы. В день начала учебного года он сделал первый шаг по многолетней дороге войны. Воевал неплохо, о чем свидетельствовали два ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу».

Часы досуга Андрей заполнял сочинением стихов. Писал их на клочках бумаги, написанное рассовывал по карманам, за обшлага шинели, в шапку или пилотку, и в конечном итоге они неизменно терялись. Это была мешанина из русских и украинских слов. В них он беззлобно и, бесспорно, талантливо высмеивал недостатки сослуживцев. Сочинения Богданюка ходили по рукам бойцов, офицеров, проникали даже в штабы полка и дивизии. Ему прощалось многое.

Алексей Облогин был иным. До призыва работал бригадиром в колхозе. Серьезный, хозяйственный и трудолюбивый. В боях, под обстрелом, полз по-пластунски исправлять поврежденную связь, говоря при этом, что «провод требует срочного ремонту». Во втором эшелоне ни минуты не оставался свободным. Ремонтировал телефоны, оружие, одежду, обувь свою и друзей. На вопросы, чем займется после войны, Облогин задумчиво отвечал:

— Дел много. Отремонтирую хату, сменю нижние венцы. Потом колодезь перестрою, деревянную кладку заменю цементными кольцами.

На стихи Богданюка Алексей не обращал внимания, даже когда они касались его. Все хохотали от души, а лицо Облогина оставалось непроницаемым. И все же оба были связаны дружбой, большой, самоотверженной. Когда в районе Буга на поле боя кровью истекал Андрей, на поиски его ночью ушел Облогин, нашел и принес в траншею...

— Ребята! — позвал я. Богданюк зашевелился и застонал как-то жалобно.— Андрей, вставай! Идем на Одер — я, ты и Алексей. Связь нужна.

Богданюк ничего не ответил. Подняв голову, он как зачарованный смотрел на зарево, в момент разрыва снарядов как бы вспыхивающее протуберанцами. Это была потрясающая, страшная красота.

...Минут через десять мы были готовы. Подошел Онищук. Гуськом тронулись в сторону деревни. Ориентируясь на огонь, шли прямиком. Чем ближе подходили к пожарищу, тем лучше освещался путь.

Выйдя на развилку, Онищук остановился.

— Эта дорога через деревню приведет к реке. За последним домом сверните вправо. На переправе увидите лодку. В домике на косогоре ждут саперы, они и перебросят вас на ту сторону.

Пока Андрей заменял катушку, я осмотрелся. Огонь пожирал дома шумно и деловито. Он как бы спешил закончить свое зловещее дело. Артиллерия врага молчала, и хотелось думать, что до рассвета будет спокойно. Я повернулся к товарищам:

— В путь!

Мы вошли в клокочущий океан огня, в тучи черного и едкого дыма. Шли молча. Далеко за рекой послышался выстрел орудия. И вслед за ним низкий, еле слышный гул. Он нарастал, повышаясь в тоне, и наконец дошел до самых высоких нот.

— Ложись!

Совсем рядом раздался оглушительный взрыв. Волны сжатого воздуха хлестнули по огненной массе. Взметнулось пламя и горящими кусками обломков кирпича, осколками стекла рассыпалось по сторонам.

Я вскочил. Не слыша своего голоса, подал команду:

— Вперед, бегом!

Надо уходить из зоны обстрела. Богданюк бросился бежать по дороге. Облогин продолжал лежать неподвижно, уткнувшись лицом в землю.

— Леша! — позвал я, и по тому, что рука, державшая автомат, была разжата, а нога неестественно подогнута, понял: Облогин не отзовется.

Снова глухие выстрелы заставили прильнуть к земле, и опять мощные

разрывы. Когда пронеслись осколки, приподнявшись, повернул голову Облогина. Лицо было мертвым. Из полуоткрытого рта змейкой вытекала кровь.

Схватив в руки провод, я бежал по дороге, догоняя ушедшего вперед Богданюка. Последующая серия разрывов была уже позади. Вот и последний дом.

Провод привел к Андрею. Тяжело дыша, я сел рядом с ним и в течение нескольких минут приходил в себя. Богданюк молчал, но его пытливый взгляд спрашивал: «Где Алексей?»

— Убит.— Я отвернулся.

II

На песчаной отмели под высоким берегом, у перевернутой лодки, возились два сапера. Я спустился к ним. Рослый сержант затыкал пробоину в борту, второй, с нашивками ефрейтора, подсвечивал карманным фонариком. Лодка была старая, с изношенными уключинами. Здесь же валялись два непарных весла.

— Думаете, доберемся на этой рухляди?

— Если она не окажется подводной,— буркнул сержант.

Послышался вой летящих снарядов.

— Идут! — закричал ефрейтор, и мы растянулись на песке. Оглушительные разрывы потрясли берег. Осколки прошили наш участок, и один из них, с низким жужжанием, зарылся у самого носа лодки.

— Добраться-то доберемся, только скорее всего в преисподнюю,— поднимаясь на ноги, мрачно сказал сержант.

Спустился вниз и Богданюк. Взрыв в середине реки поднял столб воды; сильная волна хлестнула по берегу, накрыв нас. Ефрейтор разразился бранью, грозя кулаками в сторону невидимого врага. Новый взрыв разрушил домик на косогоре.

— Бьет по нашему берегу, надо уходить.— Сердитый сержант выжимал полы шинели.

Мы перевернули лодку, стащили ее в воду. Сержант сел за весла, Богданюк — на носу, я — на корме. Ефрейтор снял каску и вычерпывал воду, которая сразу же стала просачиваться в щели.

Охватил нестерпимый холод. Ветер насквозь пронизывал мокрую одежду. Плыли в абсолютной темноте. Западный берег не просматривался. Но вот вдали вспыхнула ракета, я успел заметить, что плыть оставалось метров семьдесят. Берег низкий и голый. Правее по ходу высоковольтная мачта, за ней чернел лес.

От близкого разрыва лодку швырнуло в сторону, и огромная волна прокатилась через нас. Залитая водой лодка тяжело заколыхалась и стала заметно оседать. Когда до берега оставалось метров восемь, она, как-то всхлипнув, затонула. Мы оказались по грудь в ледяной воде.

Саперы уже были на берегу, а я и Андрей еще барахтались в реке, распутывая провод. Руки омертвели от холода и не слушались.

Несгибающимися пальцами подключили телефон. Иванов ожидал от нас известий. Прерывающимся голосом я доложил:

— Задача выполнена. Расположились у мачты. Со мной Богданюк и саперы. Облогин погиб. Противник примерно в 100 метрах, на краю леса слышен разговор и треск сучьев.

...С прибытием первой группы наших на душе стало спокойнее. Рядом со мной расположился младший сержант Токпаев, командир пулеметного расчета. Глядя на него, я недоумевал, как можно юноше, которому на вид не более 16 лет, доверять станковый пулемет «максим». Позже узнал, что однажды, отрезанный от своих, Токпаев в течение четырех часов огнем пулемета сдерживал гитлеровцев, пока контратакой они не были отброшены на исходные позиции.

К шести часам бойцы двух батальонов форсировали Одер.

Наступал серый рассвет. Все явственнее стали вырисовываться контуры леса. Внезапно на переправу обрушилась сплошная завеса орудийного огня. Оставалось действовать без поддержки. Батальоны изготовились к бою.

...И все ожило. Автоматная трескотня слилась с пулеметными очередями. Вскоре пулеметы умолкли, солдаты уходили вперед. Они пробегали десяток шагов, падали, стреляли, снова поднимались, пробегали и опять вели огонь.

— Вперед, гвардейцы! Вперед! За Родину!

Я бежал за командиром шестой роты Халдеевым, повторяя все его действия. Он падал, и я падал. Он посылал автоматную очередь — я тоже. Фашисты, отстреливаясь, углублялись в лес. Все дальше уходила линия боя. Застучали минометы противника. Мины, не доле-

тая до земли, разрывались на сучьях деревьев. Рота отклонилась вправо и вышла к железнодорожной насыпи.

Бойцы спешно окапывались. Горел лес. Немецкая тяжелая артиллерия била по берегам реки. Снаряды с гулом проносились над головой. Враг расположился на равнине метрах в трехстах от железной дороги. Дальше опять начинался хвойный лес, из которого доносился шум моторов.

— Танки,— предположил бронебойщик Петрушев.

Контратака немцев началась в 10.00. Без единого выстрела, словно из-под земли, они поднялись стеной и в полный рост двинулись на наш батальон. Шли, как на параде, человек по пятьдесят в ряд.

— Приготовиться к отражению! — передали приказ по цепи.

Комбат сообщил Евстигнееву:

— Психическая атака. Идут развернутым строем. Прошу артогня. Ориентир — вокзал.

Немцы шли размеренным шагом. Позади атакующих послышалась команда, и заработали «шмайссеры». В ответ застучали наши пулеметы, образуя кинжальный заслон. Гитлеровцы залегли.

«На проводе» офицер Семенов. Он оставлен на восточном берегу для снабжения нас боеприпасами и провизией, а также для связи со штабом полка. Семенов потребовал от меня беспрерывной информации, подтвердив, что с минуты на минуту мы получим артиллерийскую помощь.

Стоя на коленях в неглубокой щели, я следил за поведением немцев.

Прошелестел крупнокалиберный снаряд. Раздался глухой взрыв.

— Радуга! — позвал я.— Кто стреляет?

— Наша тяжелая,— ответил Семенов.— Как ударили?

— Хорошо. Только надо метров на 50 дальше, иначе нас перебьете.

Через минуту из-за реки пронеслась уже серия снарядов. В разрывах мы слышали крики атакующих. Некоторые вскакивали и бежали в оставленную траншею, но огонь опять прижимал их к земле. Контратака была отбита. На нейтральной полосе остались вражеские трупы и тяжелораненые.

Атаки немцев продолжались до самого вечера.

В первых боях на плацдарме артиллерия и танки противника участия не приняли. Мы гадали, будут ли к рассвету нам в подкрепление переброшены из-за Одера орудия и минометы.

На Одер ложилась ночь, а вместе с ней пришло и затишье. Стороны прекратили перестрелку, однако посылали осветительные ракеты.

Старшины рот ушли к реке в надежде переправиться на другой берег за продуктами. Бойцы окапывались. Семенов известил о начавшейся переправе минометов и пушек.

Переправа артиллерии была делом нелегким. Саперному батальону пришлось поработать. Под огнем валили и обрабатывали лес, сносили бревна к реке, там скрепляли металлическими скобами. Иванов выслал на берег 20 бойцов помочь откатить сорокапятки к месту установки.

Несмотря на пронизывающий ветер, утомленные бойцы валились с ног и засыпали. Только часовые вели наблюдение за противником.

Из-за реки прибывали старшины с хлебом и вареной свининой.

III

И опять наступило пасмурное утро. Редкий туман скрадывал очертания станционных зданий и леса. Воздух был пропитан сыростью. Дышалось тяжело. В щель просачивалась каплями из глинистых стен вода и многочисленными ручейками стекала вниз. Мне надоело за ними наблюдать и не хотелось ни о чем думать.

Я давно утерял всякое представление об уюте. Не верилось, что когда-то спал в постели, гулял в березовых рощах, подсекал окуней, ходил в кино и театры. Казалось, что вся жизнь прошла в вечном движении по дорогам войны, под артиллерийские канонады.

В детстве я мечтал побывать в зарубежных странах. И вот шагаю по чужим землям. Но не туристом, а солдатом.

Я вылез из своего сирого убежища и пошел к месту расположения КП батальона. Иванов и телефонист сидели на катушках с проводом. Телефонист, придерживая рукой наушники, вслушивался в чей-то разговор на линии. Комбат не то спал, не то глубоко задумался. Я присел рядом. Иванов шевельнулся:

— Что скажешь?

— Тишина, как на море перед штормом.

— Думаю, немец готовится к атаке. Всю ночь там какое-то движение.

Я смотрел на комбата. Смертельно уставший человек, он был моим другом. Наша дружба сцементировалась на пути от Сталинграда. Я знал о нем все, кроме того, чего в это время не знал и он,— о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

11.00. Воздух пронизал скрежещущий звук, он заполнил собой все пространство, поглотив тягостную тишину. Какой-то омерзительный скрип прополз по равнине, лесу и растворился в мертвенных водах реки. Со стороны немецких окопов заклокотали артиллерийско-минометные выстрелы. От разрывов снарядов все вокруг забурлило, слилось в сплошное месиво из огня, стали и земли. Противник начал артподготовку.

Я приник к земле и замер, сжавшись в комок. Лежать было неудобно — автомат врезался диском в живот. Над головой проносились раскаленные куски металла. Разрывами снарядов меня несколько раз оглушало, и я на время терял слух.

Двадцать минут длился губительный дождь, и эти минуты казались вечностью. Тишина наступила неожиданно.

Телефонная связь была перебита. Некоторые окопы были разрушены прямыми попаданиями. В щель, вырытую под прямым углом, угодил снаряд, четверо санитаров погибли.

Появились танки. За ними шла пехота. Это была ватага головорезов-эсэсовцев, переброшенных из Берлина.

Танки повели бой веерным обстрелом из мелкокалиберных автоматических пушек. На расстоянии около 200 метров от наших траншей эсэсовцы вышли из-за укрытий и открыли частую пальбу. Маневр был ясен — прижать нас к окопам и заутюжить гусеницами танков. Времени для обсуждения вариантов защиты не оставалось.

— По эсэсовской гадине, из всех видов оружия — огонь!

Команда понеслась в роты. Взлетела зеленая ракета. Залпом ударили по среднему танку 45-миллиметровые орудия. И маленькая, но грозная артиллерия, которую любовно называли «Прощай, Родина», сделала свое дело. Танк стал забирать вправо и, чтобы не передавить своих солдат, остановился. Эсэсовцы обошли его с обеих сторон и устремились вперед, продолжая стрелять. Между тем два танка, изменив направление, пошли на фланги расположения батальона. Когда один из них оказался в пятидесяти метрах, грянул мощный взрыв, ослепительный огонь вырвался из бронированной машины и как бы разрезал ее на куски.

Третий танк с ходу повернулся на 180 градусов и загрохотал назад в лес.

Позади вражеских пехотинцев стали разрываться мины, посылаемые с берега реки, и теперь атакующие не шли — они бежали к нашим траншеям. Первым поднял своих бойцов командир роты лейтенант Дворядкин:

— Все из окопа! Коммунисты и комсомольцы, вперед!

Командир взвода лейтенант Миронов вскочил на бруствер с пистолетом в поднятой руке:

— Второй взвод, за Родину! Смерть палачам! — И стал медленно оседать, колени его подкосились, и лейтенант рухнул в траншею.

— Взвод, слушай мою команду! — взял командование на себя ефрейтор Подкопаев.— За смерть командира фашистской нечисти нет пощады! За мной!

Я уже не слышал выстрелов. Справа и слева бойцы выскакивали из окопов и, что-то выкрикивая, бежали навстречу колышущимся светло-серым пятнам. Бежали, спотыкаясь о неровности, сталкиваясь друг с другом. Страха не было, было какое-то зловещее спокойствие. Мелькнула перед глазами серая шинель, узенькое, с выпученными глазами, потное лицо врага, державшего на изготовку карабин с примкнутым штыком. Я вскинул автомат и бросился на него. Сталь штыка скользнула по локтю правой руки...

— А-ах!!

Крича, я ударил его прикладом по голове. Все вложил в этот крик и в этот удар.

Справа великан Петрушев, держа в руках ствол противотанкового ружья, бьет им, вращаясь по кругу, с ожесточением, исказившим лицо. На нем нет шапки, голова в крови. И последнее, что помню,— недвижимые тела вражеских солдат, поверх них, сраженный, лежал сам Петрушев.

На уровне глаз появилась широкая спина немца и рядом наш боец, падающий на своего убийцу. Инстинктивно я нажал на спуск. По шинели вражеского солдата забегали горошинки... а

потом все стало расплывчатым, и наступила удивительная тишина.

Я совершенно одинок, и около меня нет ни единой живой души. Решив, что все пережитое было кошмаром, я облегченно вздохнул и улыбнулся. Издалека доносилась музыка и звенел колокольчик.

А потом наступила ночь с яркими движущимися звездами. Они постепенно ускоряли движение, как бы стараясь обогнать одна другую, и вот превратились в слабо видимые прямые линии, сложились в замысловатый орнамент, а он распался громадными хлопьями, растворился в небе, и наступила аспидная темень...

Со звоном колокольчика ко мне вернулось сознание. В голове стоял невероятный шум, сильно ныло плечо. Тяжело открыл глаза. Где я? Почему так много кроватей? И что за люди рядом? Почему некоторые стонут? Ощущение боли в спине пришло позже. Медсестра с изможденным лицом возилась над одним из раненых и что-то говорила ему успокаивающе-тихим голосом. Появился страх. Целы ли руки, ноги? Под одеялом пошевелил руками, вытащил их и прижал к лицу. Потом началось обследование ног. Пошевелил пальцами, согнул ноги в коленях.

— Как самочувствие? — подошла медсестра.

Я узнал, что в бессознательном состоянии был переброшен на восточный берег и уже вторые сутки нахожусь в санбате.

— Здесь безопасно,— сказала сестра,— отдыхайте. У вас контузия.

Когда сосед по койке повернулся ко мне, я не сразу поверил.

— Младший лейтенант? Это вы?

Онищук закивал головой. Он, раненный в ногу, выбыл из боя, когда с криком «ур-ра!!» гвардейцы перешли в наступление и находились на пути к траншеям врага.

— Очевидно,— заключил Онищук,— траншеи мы заняли.

— Жертв много?

— Много.

IV

У железнодорожной насыпи группа солдат внимательно слушала комбата. Одни сидели на земле, свесив ноги в щели, другие полулежали. Офицеры прислонились к лафету орудия. Царило затишье.

Последнее время гвардейцы экономили боеприпасы, переброску их через реку наладить не удавалось из-за обстрела переправы. Патроны и ручные гранаты были строго распределены между ротами.

С вражеской стороны послышался разноголосый вой снарядов. Противник обстрелял угловой участок леса. Иванов прервал разговор, наблюдая за разрывами. Я подошел к нему:

— Товарищ гвардии капитан, из санбата по выздоровлению вернулся в строй гвардии старший сержант Апанович!

Взглянув мне в глаза, командир сказал:

— Хорошо. Сейчас ты нам очень нужен.

Затем он продолжил прерванный разговор:

— Обстановка тяжелая. Патроны на исходе, их может оказаться недостаточно. Гранат у нас не больше десятка, снарядов мало. Единственное противотанковое ружье разбито. Помощь ожидать неоткуда. Если не найдем выход из положения, плохо нам будет.— Он сделал минутную паузу.— Командование требует во что бы то ни стало удержать этот клочок земли, и мы должны справиться с боевой задачей. Посмотрите на этот предмет. Это фаустпатрон. Обладает большой разрушительной силой. Детонирует снаряды в танке, применяется и против пехоты. Фаустпатроны рассекречены, а Богданюк уже опробовал их. Задача — обеспечить себя ими в достаточном количестве, и тогда не страшны будут ни танки, ни пехота противника. Где возьмем? Скажу. Сейчас ознакомьтесь с техникой его применения в бою. Богданюк, продемонстрируй!

— Товарищ гвардии капитан, разрешите стрельнуть?

— Только отойди подальше. Выстрелишь — падай.

Все предусмотрительно залегли. Раздался негромкий хлопок, длинная огненная струя вырвалась из трубки фаустпатрона, и мы увидели полет булавы по параболической кривой. Последовал оглушительный взрыв. Белый дым окутал место падения заряда, когда он рассеялся, Иванов призвал к вниманию:

— Вы увидели, что собой пред-

ставляет оружие, которое немцы начали применять. Наша задача — повернуть его против врага. О плане действий. Командирам рот выделить по пять человек, отважных, физически сильных. Ночью группа во главе с Халдеевым зайдет в обход и, действуя холодным оружием, врасплох захватит домик, который стоит за платформой с правой стороны. Это склад невывезенных фаустпатронов, если верить «языкам». Взять как можно больше. А сейчас все по местам. Отдыхайте!

...Наступила темная, хоть глаз выколи, ночь. Плотный слой низких облаков скрывал звезды. Царила тишина, нарушаемая лишь шелестом вспыхивающих ракет. Передвигались на ощупь, натыкаясь на кустарник и замирая, когда под ногами хрустела ветка.

Поляна.

— Вперед не выходи,— шепчет командир. И этот шепот слышат все.— При ракете осмотрись! Наш объект — крайний справа.

Последние слова глушатся пулеметной очередью, посланной из-за железнодорожной насыпи, а взлетевшая ракета освещает местность. Метрах в пятидесяти отчетливо обозначилось двухэтажное здание. По обеим сторонам — два низких домика, правее еще один, цейхгауз.

— По-пластунски — за мной! — тихо командует Халдеев.

Цепочкой ползком пересекаем поляну. От холодной земли коченеют руки. И наконец мы у цели. Старший лейтенант в поисках двери сворачивает влево.

От окон веет нежилым холодом. Обнаруживаем спуск в подвал. За створчатой, плохо пригнанной дверью — слабый свет.

Кто в подвале? Сколько? Правдивы ли показания «языков»? Надо действовать. Командир роты поднимается в рост. В одной руке граната, в другой — пистолет.

Сильный удар в дверь... Ступеньки вниз... Склад... Трое...

— Хенде хох! — Автоматы направлены на оторопевших немцев. Сзади шум, в подвал продолжают вваливаться бойцы.

Немцы растерянно смотрят на нежданных гостей. Двое сидят на узких продолговатых ящиках: один — рябой, с потухшей трубкой в зубах, другой — белесый, чем-то напоминающий Швейка. Третий, безмятежно похрапывая, спал. Его винтовка лежала в ногах и при осмотре оказалась незаряженной.

— Эй, камрад! Вставай, приехали!

Немец отмахнулся и, что-то пробормотав, повернулся на другой бок.

— Ишь умаялся как, сердечный,— ухмыльнулся Начученко. И, бесцеремонно схватив немца за ворот шинели, встряхнул его: — Говорят, вставай, приехали, значит, вставай!

— Времени не терять! — приказывает Халдеев.— Обыщите, посадите в угол и следите за ними. Пулеметчику залечь у входа, остальным нагружаться фаустпатронами — и наверх. Располагаться вдоль траншеи. Начученко, быстро к комбату. Доложи обстановку!

Бойцы поспешно раскрывали ящики, которых в подвале оказалось более сотни, вытаскивали по две-три булавы, уже насаженные на втулки, и выходили.

— Замечательнее всего,— рассказывал потом, закатываясь от хохота, Начученко,— что этот «фриц» опять уснул. Наверное, мы показались ему всего лишь страшным сном...

6.00. Неожиданной для немцев атакой батальон овладел вокзальным зданием. Рота Дворядкина приступила к углублению занятых траншей, четвертая рота Кузнецова окапывалась по подножию откоса. Между ними расположилась шестая, халдеевская. КП стрелковых рот был организован в подвале вокзала, откуда потянулась связь со штабом батальона. На подходах к станции старшина-артиллерист Вергунов установил сорокапятки. Все ожидали, что противник предпримет контратаку. Офицеры обучали солдат технике владения фаустпатронами.

Однако в течение дня враг вел себя спокойно. Временами с его стороны, из-за леса, наполовину скрытого синеватой пеленой, проносились орудийные снаряды, и тогда отвечала наша гаубичная артиллерия.

Не менее спокойно прошли и следующие сутки.

V

В ночь на 12-е под прикрытием тумана Семенов перебросил на плацдарм ящики с гранатами и патронами.

Кузнецов разделял опасения Иванова, что танки могут прорваться к нам в тыл. Успокоительные заверения Хал-

деева, что проходы заминированы, он выслушивал с недоверием.

— Кто знает, как они заминированы...

Группа связистов отдыхала, отсыпаясь в подвале вокзала.

— Иван, к телефону! — позвал меня Богданюк.

Звонил Семенов:

— Выйди и посмотри, не проникает ли вода в ваше расположение.

Я вышел. Холодный пасмурный день. Воздух насыщен сыростью и пропитан запахами хвойного леса. Внимание привлек рокочущий шум со стороны реки. Он то затихал, то усиливался, подобно морскому прибою. Вернувшись, я доложил:

— Воды на местности нет. Со стороны реки сильный шум и треск.

— Передай трубку Кузнецову.

Разговор был кратким.

— Семенов говорит, что уровень воды быстро повышается. Если выйдет из берегов, то нас затопит. Наш берег ниже.

Халдеев взволнованно засуетился:

— Только этого не хватало!

В подвал ввалился возбужденный автоматчик.

— Товарищ гвардии капитан! На нас пошла вода! Мы не можем там оставаться! Что делать?

Офицеры бросились к выходу. Надвигались сумерки, и низкие бегущие облака усиливали тьму. Река вышла из берегов и, неся громадные льдины, ринулась на плацдарм, сметая на пути преграды. Стоявшие на берегу вековые сосны падали, как подрезанные колосья. Невероятный грохот создавал впечатление беспрерывной канонады.

— Офицеры, в роты! Людей отводить к штабу батальона! — закричал Кузнецов.

Мы с сожалением покидали подвал вокзала. Последними вышли я и Богданюк. Вблизи никого уже не было. Уровень воды повысился. Андрей прыгнул с крыльца и оказался в воде по пояс. Спрыгнул и я, обдав друга брызгами ледяной воды. Тот, чертыхнувшись, отступил в сторону, и, сопротивляясь быстрому течению, мы медленно побрели к насыпи. В стороне артиллеристы, окликая друг друга, безуспешно пытались сдвинуть орудие. Впереди нас брели трое, взгромоздив на себя части пулемета. В одном из них я узнал Токпаева. Ему вода доходила почти до плеч.

— Токпаев!

Тот, с трудом удерживая на плечах станок, остановился и пробормотал:

— Не дойду, старшой! Выручай, друг. Всю войну с ним прошел.

Утопить пулемет для него было то же, что утопить друга.

— Ну-ну, еще повоюете в Берлине. Сваливайте хозяйство к дереву, а сами марш на сучья! И сидите, пока спадет вода.

Пулеметчики послушно стали карабкаться на сосну. Вдали от берега поток был не столь разрушительным и деревья сохранились.

— Андрей, пошли!

Богданюк, который все это время стоял на кочке, оступился и, угодив в яму, скрылся на мгновение под водой.

— Дальше не пойду, не умею плавать, утону. Иди один.

— Ладно, полезли ближе к звездам,— решил я. Мы вскарабкались на сосну и, усевшись верхом на толстых суках, залязгали зубами от охватившего озноба. Мокрая одежда стала невыносимо тяжелой и давила на плечи.

Скоро мы поняли, что, обессиленные и замерзающие, долго не продержимся на деревьях. Неожиданно созрело решение:

— Слушай команду! В чрезвычайных условиях, как старший по званию, объявляю себя командиром лесного десанта. Выполнять мои приказы безоговорочно, иначе погибнем. Сон для нас — смерть. Чтобы не уснуть — одному говорить, всем — внимательно слушать! Каждый доложит, в каком состоянии находится, и вообще о чем хочет. О себе, о семье, товарищах, о любимой девушке. Доклады должны быть предельно многословны. И как можно больше движения руками и ногами! Начинайте говорить! Кто первый?

Молчание...

«Поняли или не поняли, что только это может сохранить жизнь? Андрей, неужели и ты не понял, не отзовешься, не заговоришь первым?» — тоскливо подумал я.

— Докладывает гвардии младший сержант Богданюк. Сижу верхом на суку, спиной к спине с прославленным командиром лесного десанта. Я мокрый с головы до ног. Одна рука на голой груди — отогревается, другая, которой опираюсь на сук,— замерзает.

Андрей и в этой драматической обстановке сохранял чувство юмора.

— Сейчас ночь, холодно, и вы ничего не замечаете. А я вижу: начинается рассвет. На востоке зарумянилось небо. Вот-вот взойдет солнце. Смотрите! Уже показался его золотистый край. И нет леса, нет Германии, нет плацдарма, нет войны! Вы слышите меня — нет войны! Ур-ра! Передо мной равнина, за ней Днепр. Малые Будищи. Здесь мой дом. Мама, отец и я. Я люблю обоих, а они на меня не намолятся. С отцом мы друзья. К маме я отношусь снисходительно. Но на фронте больше я думаю о ней. Помню ее тревогу, смятение, когда сообщил, что поступаю на филологический. Испугало непонятное, мудреное слово, смысл которого я не пытался разъяснить. Мать во мне видела бахчевода. Живы ли они, дорогие старики? На письма не отвечают. Встретимся ли? Досижу ли я на этом суку до утра? Если свалюсь — не спасайте, можно легко простудиться.

Молчание. И наконец...

— Я командир пулеметного расчета гвардии младший сержант Токпаев. Как и вы, отсиживаюсь на дереве, а друг «максим-10» утонул. Мы были неразлучны. Скажу о себе. Дома у меня осталась тетка. Надо сказать, мне не везло с детства — мать умерла, отца не знал. До школы еще меня прозвали Мухой — привык, казалось не обидным. В школе с первого дня учебы окрестили Карандашом. И какие только меры не принимал, чтобы вырасти, не помогало. Все росли нормально, а я... Девушек на селе много. Которые мне нравились, были выше. Они относились ко мне снисходительно, как старшие к младшему, и ласкательно называли Карандашиком. А те, которые были с меня или даже пониже, бежали от меня как от чумного, так как нас двоих тут же звали «парой карандашей». Один конфуз.

Провожали всем колхозом в клубе. Призывники выстроились на сцене, все видные, рослые — я, конечно, не в счет. Стою на краю и ловлю сочувственные взгляды. Председатель закатил речугу, пока говорил, выпил два графина воды. Напирал на «гражданский долг», и все у него выходило, что для спасения Родины мы должны непременно погибнуть. От этого на душе стало муторно. Потом каждому пожал на прощание руку. Подошел ко мне, постоял, подумал и говорит: «Хороший ты парень, с большой душой, а ростом будешь портить строй. И надо ж было уродиться именно в нашем хозяйстве...» Что творилось в зале — не расскажешь.

Перед посадкой девушки целовали ребят. Каждая своего. А потом каждая меня, только по-другому. Говорили: «Береги себя, Карандашик». Жив останусь — приеду, выберу самую-самую, что по душе. Постучу к ней в ворота: «Выйди взгляни, был я храбрым в боях!» Посмотрит, а на груди Карандашика ордена: Красного Знамени, Красной Звезды, две медали «За отвагу»!

Молчание...

— Я гвардии рядовой Горшковоз. В пулеметном расчете третий номер. Сижу на втором суку от воды. Удобно как в кресле.

Так вот, расскажу про офицера, у которого был связным в 215-м полку, до ранения. Запомнился он мне на всю жизнь, полюбил я его как брата. Появился он у нас под Каширой, когда стояли в обороне. Был младшим лейтенантом, да и по возрасту самым молодым из офицеров. Поставили его командовать взводом. Ну, конечно, попервоначалу он нас боялся. Команды на учениях подавал каким-то рыдающим голосом: «Взвод, по наступающему противнику — огонь!»

Командовал и все на меня смотрел,— я правофланговым был,— правильно ли действует. Одним словом, думали: в бою подкачает. А на поверку оказалось совсем не то. Командует, словно плачет от страха, а сам лезет вперед. Солдаты — за командиром. Я на всякий случай держусь рядом. Может, какая помощь потребуется. Потом обстрелялся, голос стал решительным, твердым. А уж солдат любил — слов нет. Был командиром и другом.— Горшковоз помолчал, как бы ушел в воспоминания.— Вот беда, имел изъян. Он, понимаете ли, страдал манией изобретательства. На отдыхе ли, в резерве ли, весь досуг отдавал этому делу. Вечно что-то обдумывает, зарисовывает, чертит. Случалось, нет бумаги и карандаша, так рисовал на земле палочками.

— И получалось что-нибудь? — спросил с соседнего дерева Ляпунов.

— Получаться-то получалось, но как-то все не так. На редкость был невезучий. Вот взять хотя бы под той же Каширой. Он долго возился с минометом и внес изменение в наводочное устройство. Потом с разрешения комбата и командира минометной роты произвел пробный выстрел.

— Попал?

— Попасть-то попал, да не туда, куда надо. Мина пошла в обратном направлении и убила наповал овчарку командира полка.

На соснах — дружный хохот.

— Были и другие изобретения. Вскоре, уже лейтенантом, придумал многоствольное противотанковое ружье. От нажима спускового крючка должны вылетать четыре пули. Стрелял под Дольском. Результат превзошел ожидания. Одна пуля прошила пилотку комбата, хотя он стоял в стороне, вторая пробила походную кухню, третья ушла «за молоком», четвертая осталась в стволе. ПТР разорвало. Лейтенанта отнесли в санбат.

Не смех, а сдавленный стон пронесся над водой.

...Только солдаты роты Дворядкина успели добраться сухими до КП батальона. Остальные отсиживались на деревьях в эту холодную февральскую ночь, мокрые и коченеющие.

Кончалась бесконечная ночь. Чтобы люди не заснули и не свалились в воду, я, сидя спиной к стволу, принимал «доклады» и вел громкую беседу с Андреем, перескакивая с одной темы на другую. Временами казалось, что теряю сознание. Токпаев спросил:

— А как ты думаешь, наше правительство, самое-самое высокое, знает, как мы тут воюем?

— Знает,— ответил за меня Богданюк,— оно все знает.

Рассветало, стали различимы очертания деревьев. Вода стала спадать, к семи часам ее уровень уже не превышал восьмидесяти сантиметров.

— Пора!

Я начал спускаться с дерева, за мной Богданюк, пулеметчики. Мы так промерзли, что, когда очутились в воде, она показалась совершенно теплой. Долго стояли на месте, разминая затекшие ноги, а потом тихо, боясь производить шум, побрели к штабу батальона.

VI

Комбат Иванов отдавал приказы:

— Все по местам! Проверить наличный состав! Боеприпасы протереть и просушить! Самим обсыхать на месте! Восстановить связь с минометчиками, если они там, на берегу, уцелели! Надо продержаться до ночи. Из штаба полка сообщили — подошла смена.

При этом известии лица солдат просветлели. Бойцы собирались в обратный путь — занимать оставленные накануне позиции.

Наступил день, кое-где приходилось пробираться по-пластунски.

По пути я отыскал дерево, на котором провел ночь, подобрал оставленное имущество и потянул провод дальше — от КП батальона к вокзалу, в подвале которого опять расположились командиры рот. У самого здания пришлось залечь под выстрелами немецкого автоматчика. Я прополз под прикрытие стен и не спеша закончил работу. К этому времени заработала связь с минометчиками.

Капитан Питунин сообщил комбату, что в результате принятых мер минометы и мины сохранены, люди снова на боевых точках. Личный состав не пострадал. Река успокоилась и входит в берега.

К 12 часам погода разгулялась. Все ожили, повеселели. Мы с удовольствием подставляли спины под лучи солнца.

В подвале пылала раскаленная печка, и все, кто там находился, окружив ее плотным кольцом, прямо на себе просушивали мокрую одежду. У стены на соломе спали Дворядкин, Халдеев и связные. Богданюк в наушниках дремал у аппарата, рядом сидел ротный Кузнецов.

— Ложись, капитан. Может быть, удастся часок-другой подремать.

Кузнецов молчал. Казалось, он меня не слышал. И только минуту спустя посмотрел на меня. Лицо его было бледным и измученным.

— Почему-то не могу уснуть. Покалывает сердце. На душе тревожно, предчувствия дурные. У тебя такое бывает?

— У меня? Нет. Не знаю почему, но уверен, что останусь жив. В целом или полуразобранном виде доберусь до дому.

Зазуммерил телефон.

Комбат Иванов звал кого-нибудь из командиров рот:

— Принимайте бой! Немцы идут!

Командиры рот бросились на выход.

Противник повел бой без поддержки танков. Как выяснилось впоследствии, значительная часть их ночью была переброшена на защиту Берлина. Перебежками, одна за другой, двигались в нашу сторону неприятельские цепи. На флангах застучали пулеметы.

Даешь Берлин!

Взрывы фаустпатронов перекрывают автоматную трескотню. Немцы откатываются назад, но тут же, понукаемые офицерами, снова двигаются вперед.

Кузнецов поднимает четвертую роту в рукопашную схватку.

Кто чем дерутся бойцы его роты. С окровавленным лицом, шатаясь, возвращается в траншею связист Фролов, но, не дойдя до нее, падает. С саперной лопаткой в руках Халдеев схватился с немецким офицером. Старшина Вергунов, сжимая ствол карабина, остервенело бьет фашистов. Потом застывает на месте, падает.

Я бежал по заснеженной пашне и что-то кричал. Меня сбивали с ног, я падал, поднимался и снова бежал, бежал и кричал. Немцы, отстреливаясь, отступали. Экономя патроны, мы не стреляли. И неслось по полю русское «ур-ра!».

Атака немцев была отбита при больших потерях с обеих сторон. Мы вернулись на прежнее место. Санитары и солдаты относили раненых и убитых к подножью насыпи. Я спустился туда же. Их было много, героев, отдавших жизнь в бою за овладение плацдармом. Там лежал изуродованный до неузнаваемости Фролов. Лицо Вергунова было залито кровью. Лежали рядом Начученко и Подкопаев. А чуть подальше — Дворядкин и Кузнецов. Солдаты как будто спали после тяжелого боя.

Я сидел возле ребят и плакал, рядом стоял Андрей Богданюк. Мимо нас проходили бойцы с мрачными, казалось, никогда не улыбавшимися лицами.

То было в незабываемый день — 13 февраля 1945 года.

Смертельно уставшие, мы переправлялись на восточный берег, уступив позиции свежим силам — стрелковой дивизии.

АНАТОЛИЙ ПОПОВ

ОБЫЧНЫЕ ВЫЛЕТЫ

Я много раз летал в тыл врага, возил туда наших военных разведчиков. В темную ночь при луне, зимой и летом, в глубоком и ближнем тылу прыгали они с парашютами по моей команде: верили нам, летчикам, верили, что будут доставлены точно в район работы. Это доверие мы всегда старались оправдать. И оправдывали. После каждого такого полета разведчики докладывали по радио своему командованию о благополучном прибытии на место назначения и почти всегда радиограммы заканчивали словами: «Спасибо летчикам!», «Благодарим летчиков!» Об этих радиограммах нам сообщали, и, конечно, было приятно слышать слова благодарности.

Несколько слов о нашем экипаже. Командиром был летчик старший лейтенант Михаил Григорьевич Махнев. Еще до войны мы служили в одном полку под Ленинградом, даже в одной эскадрилье, так что летать на боевые задания начали с первого дня войны и воевали до конца ее, до 9 мая 1945 года. Стрелок-радист, тоже 20-летний парень,— Степан Петрович Морозов. До войны служил в нашем полку. Воздушный стрелок — колхозник, призванный из запаса, Александр Иванович Лукин. Ранее на самолетах он совсем не летал, но быстро освоился и всю войну служил вполне благополучно.

Все эти товарищи живы и сейчас, а вот техника самолета старшины сверх-

срочной службы Якова Петровича Бурлаки и механика старшины Анатолия Тарасовича Добряка, которые готовили наш самолет к полетам ежедневно и благодаря самоотверженному труду которых мы успешно выполняли боевые задания, к сожалению, уже нет. Светлая память им!..

Поначалу мы бомбили различные военные объекты врага. И вдруг в середине октября сорок второго года нам сказали, что отныне нам предстоит выполнять какие-то особые задания.

— Что за полеты? — спросил я Махнева.

— К партизанам летать будем,— ответил он.

Как же, думаю, летать к партизанам на бомбардировщике? Ведь он приспособлен только для бомб, на него не посадишь даже одного лишнего человека.

Через несколько дней под «живот» самолета, между колесами, подвесили специальную гондолу. Внутри ее, по бокам, прикрепили две скамейки. В задней части большой люк для десантников. Впереди еще один люк. Через этот можно было пролезать в мою штурманскую кабину.

И вот наступил вечер первого нашего вылета на специальное задание. Мы пришли на аэродром, когда уже стемнело. Техник самолета старшина Бурлака доложил командиру о готовности машины к полету.

Я забрался в штурманскую кабину, проверил все оборудование, настроил радиополукомпас на аэродромную приводную радиостанцию, разложил свое снаряжение так, чтобы в полете все было под рукой, и спустился на землю.

Мы стояли под крылом, когда подкатил грузовик ГАЗ-АА. Из кузова выпрыгнули люди, открыли борт и стащили большие мешки с грузом. К нам подошел незнакомый военный в шинели и спросил:

— Товарищ Махнев?

— Да, я,— ответил летчик.

— Майор Столпник,— представился незнакомец.— Значит, будем работать?

— Конечно,— сказал Махнев.

— Вы готовы?

— Да, дело за вами.

— Сейчас,— сказал майор и направился к грузовику.— А ну, ребята, давай побыстрей поворачивайтесь! Летчики уже давно ждут! Быстро давай, быстро!..

И через несколько минут мешки с грузом лежали в гондоле, а инструктор-парашютист майор Куликов со своим помощником надевали парашюты на отлетающих. Нам предстояло увезти их в район города Новоржева.

Мы заняли свои места в самолете.

Взревели моторы. Летчик Махнев опробовал их на полной мощности: они работали хорошо. Тяжело груженная машина покатила на старт, а через несколько минут взмыла в ночное небо...

Это был наш первый боевой вылет в глубокий тыл противника на особое задание. Как он пройдет — об этом я даже не думал, потому что, несмотря на нашу молодость, мы с Михаилом Махневым имели уже солидный опыт ночных полетов. Даже за успешное выполнение боевых заданий оба удостоились правительственных наград: Махнев — ордена Ленина, я — ордена Красного Знамени. Короче говоря, я был уверен в себе, уверен и в летчике.

Мы набрали высоту всего лишь двести метров и взяли курс на озеро Ильмень. На восточном берегу его были наши войска, на западном — немцы. Мы всегда пролетали линию фронта над этим озером: тут у гитлеровцев не было никаких средств противовоздушной обороны — этим мы и пользовались.

Летая же на бомбежку разных военных объектов противника, мы забирались на высоту две-три тысячи метров, так как все цели враг прикрывал сильным зенитным огнем и прожекторами. И не случайно даже на той высоте ночью, в сорок втором году, погибли два экипажа нашего полка.

Теперь же мы летели не с бомбами, а с разведчиками. Для точного выполнения спецзадания маршрут полета я выбрал над болотистой местностью: гитлеровцы не могли там разместить зенитную артиллерию.

Крупные населенные пункты, железнодорожные станции и аэродромы врага обошли стороной. По всему маршруту шли на высоте 300—350 метров, и в этом имелся свой резон: во-первых, прыгать с парашютом разведчикам лучше всего было именно с такой высоты — не унесет далеко ветер. Во-вторых, наш самолет на этой высоте немцы прини-

мали за свой. Можно ли предположить, что советские летчики полетят в их глубокий тыл так низко. Ну и конечно, полет на малой высоте ночью при любых метеорологических условиях здорово облегчает штурману визуальную ориентировку. Иначе говоря, чем ниже летишь, тем лучше ночью видишь землю.

От озера Ильмень я проложил маршрут на большое озеро близ города Новоржева. На него вышли точно. До цели оставалось лететь пять минут, и я сказал майору Куликову:

— Пусть приготовятся!..

Майор скрылся в гондоле десантников, а я открыл люк для прыжка. Настало время — я подал сигнал, включив бортовую сирену. Пока она гудит, надо прыгать. Когда же мы пролетели заданное место, я сирену выключил.

— Делай разворот! — сказал я летчику, имея в виду еще раз зайти на цель. Только он начал разворачивать самолет на второй заход, как в кабине у меня появился майор Куликов и крикнул:

— Все!..

— Все, Миша! — сказал я летчику и дал курс домой.

На аэродроме доложили командиру полка майору Ю. А. Берсону о выполнении задания. Тут же стоял комиссар полка Береговой. Он тоже слышал доклад летчика, поэтому сказал:

— Начало положено, значит, дело пойдет. Расскажите-ка подробнее, как слетали. Отойдем в сторону, не будем им мешать,— кивнул он на людей, которые подтаскивали к самолету грузовые мешки. Это была вторая группа разведчиков: трое мужчин и одна женщина.

Мы рассказали о полете: что и как, а потом командир полка подытожил:

— Ну хорошо. Слетайте еще раз — и отдыхать, потому что сегодня больше не успеть.

Когда мы вернулись к самолету, на отлетающих надевали парашюты, автоматы, вещевые мешки. Люди сосредоточенно поправляли на себе лямки парашютов, пробовали двигать руками и ногами, проверяли, удобно ли сидит на них снаряжение. Они, конечно, волновались, хотя и старались не показывать вида. Их можно понять: идти в тыл врага не к теще в гости. Но они даже шутили. Только женщина стояла молча и неподвижно. Она была мала ростом и со всем своим снаряжением, надетым на нее, казалась толстой и неповоротливой.

Глядя на них, на их сборы, я спросил шутя:

— И не страшно вам прыгать туда?

Один из них, наверное командир группы, посмотрел на меня, рассмеялся и спросил, в свою очередь:

— А вам летать не страшно? Ведь вас зенитки бьют, истребители...

Шутка не получилась, и я сказал серьезно:

— Всякое бывает.

— Вот и у нас так же.

Тут в разговор вступил майор Столпник:

— Он идет туда не первый раз, так что ему не привыкать.

Прыгать куда-то в ночь, в неизвестность, где на каждом шагу подстерегает опасность! Да, на такое способен только очень смелый человек. И я посмотрел на этого товарища с большим уважением. Мои раздумья прервал голос Махнева.

— Ну, пошли,—сказал он и полез на крыло, а я в свою штурманскую кабину.

Ночь была темной, облачной, но с малой высоты хорошо видны шоссейные дороги, железные — хуже, а реки и озера — прекрасно. Мы благополучно добрались до последнего поворотного пункта маршрута — озера Родиловского. От него повернули на цель.

Это озеро до сих пор стоит перед моими глазами: круглое, как пятак, светло-серое пятно на черном фоне ночного леса, диаметром около километра. Находится оно восточнее Пскова, среди большого по площади лесного массива. Я смотрел на этот лес, куда спускались на парашютах наши пассажиры, а мысль одна: что их ждет? Как они устроятся там? Как будут работать? Все это совсем не просто, как может показаться.

А тем временем под крылом самолета снова проплыло озеро Родиловское, и вместе с ним уплыли мои думы о разведчиках: нужно выполнять свои штурманские обязанности. Иначе говоря, вести самолет на аэродром.

Домой вернулись благополучно.

Доложив о выполнении задания, пошли завтракать и спать.

В следующую ночь летали еще дальше, так что один полет занял более пяти часов. Опять сделали два вылета. На третий — погода испортилась, из-за

нее весь полк просидел без дела двое суток. Однако в любую минуту мы могли вылетать.

В один из тех дней, когда от скуки не знаешь, куда себя деть, я сел писать письмо родителям на Урал. Закончив его, пошел с воздушным стрелком нашего экипажа Александром Лукиным обедать. Письмо прихватил с собой: почта находилась рядом со столовой.

У почты вижу: выходит молодой человек высокого роста, в черном кожаном реглане, на голове темно-синяя фуражка с летным «крабом», какие военные летчики до войны носили. На воротнике реглана и гимнастерке голубели петлицы с черным кантом, а на каждой из них по три красные эмалевые «шпалы», на рукавах звезды политработника. Мы поприветствовали его как старшего по воинскому званию, он прошел мимо. Мы посмотрели ему вслед, и Лукин сказал с восхищением:

— Какой молодой, а уже старший батальонный комиссар!

— Да,— согласился я.— Интересно, кто таков?..

Нам стало ясно, что этот комиссар— новичок в нашем гарнизоне.

После обеда в комнату гостиницы, где мы жили, прибежал Махнев и сказал:

— Собирайся быстро, нас ждут!

— Куда собираться? — не понял я.

— В штаб, командир вызывает!

На улице, у штаба, стояла легковая автомашина М-1 — «эмка», как ее называли. В штабе сидели командир, комиссар полка и незнакомый пехотный капитан. Когда мы вошли, комиссар Береговой, вставая, сказал:

— Вот и они. Ну, поехали?..

Мы кое-как втиснулись в машину, шофер газанул, и «эмка» помчалась куда-то. Потом свернула в деревню, остановилась возле одноэтажного дома. Все вышли из машины и направились в дом.

Посреди просторной комнаты стоял большой стол, заставленный всевозможными закусками. Для кого все это приготовлено? Тут и винегрет, и разделанная селедка, и соленая капуста, и рыбные консервы, и консервированная колбаса, и жареная картошка. А в самом центре стола бутылки. Для фронтовика сон наяву.

В комнате сидел пожилой полковник, худощавый, высокого роста. Его ни разу не видели ни Махнев, ни я.

Полковник встретил нас очень приветливо.

— Проходите к столу, садитесь! — говорил он, пожимая нам руки. Внимательно посмотрел на летчика Махнева, на его новенький орден Ленина, потом так же внимательно на меня, прямо в глаза. Видимо, остался доволен своим осмотром, потому что сказал:

— Молодцы! Я такими вас и представлял!

Затем опять посмотрел на меня и спросил:

— Сколько же вам лет?

Я смутился: мне почему-то всегда дают меньше, чем на самом деле. Однако сказал:

— 22 года.

— Да-а-а...— протянул полковник.— Вам бы сейчас с девушками гулять, а приходится воевать. Но ничего не поделаешь: война есть война, надо выполнять свой солдатский долг перед Родиной. И вы его, как я вижу, выполняете хорошо. Молодцы!.. А девушки? Что ж, они вас подождут... И еще крепче любить будут победителей, защитников Родины.

И замолчал.

А потом все сели за стол, разлили водку. Полковник поднял свой стакан и сказал:

— Я предлагаю тост за человека, которому скажут: лети сюда, здесь выбрось десант. И он приводит самолет точно в заданное место. Я предлагаю тост за здоровье штурмана.

Раздался звон стаканов, я сидел как на иголках и от слов полковника готов был провалиться сквозь землю. Стало стыдно, что ли, непривычно, так как до этого дня никто и никогда не поднимал за меня таких тостов. А полковник, видя мое смущение, чокаясь со мной, спросил:

— Кстати, вы знаете, как выполнили те задания?

— Нет, не знаю,— ответил я.

Тогда он посмотрел на майора Столпника и спросил его:

— Товарищ Столпник, разве вы им не говорили?

— Нет, товарищ полковник.

— Почему же? — удивился полковник.— Им ведь, наверно, интересно знать результаты своей работы!

— Конечно, интересно! — воскликнул комиссар полка Береговой.— Тем более что мы ведем боевой счет полка!..

— Ну вот видите? — с укоризной глянул полковник на майора.

Все тоже поглядели на майора, затем на полковника, ожидая, что он скажет. И после некоторой паузы он сказал:

— Так вот, товарищи, три группы сообщили, что у них все в порядке и они приступили к выполнению полученного задания...

Как приятно услышать это из уст такого большого для меня начальника, но почему три? Ведь мы увезли уже четыре группы! Где же еще одна?

Полковник будто угадал мои мысли.

— Да, три группы отозвались, а о четвертой мы, к сожалению, ничего не знаем...

Он опять замолчал, потупив взор, молчали и мы.

— Но мы надеемся, что скоро отыщется и четвертая...

И тут заговорил комиссар Береговой:

— Был тост за штурмана, а теперь я поднимаю за Махнева. Это наш лучший летчик, товарищ полковник. Он имеет больше всех боевых вылетов, летает без происшествий, без аварий. Да и вообще экипаж старшего лейтенанта Махнева хороший, поэтому и назначили его для выполнения особых заданий...

Я глянул на Махнева — он тоже был смущен, даже, пожалуй, больше, чем я, а комиссар Береговой продолжал расхваливать экипаж Махнева и его самого.

На следующий день с утра потянул прохладный северный ветер, и к вечеру небо прояснилось. Солнце еще не успело скатиться за горизонт, а на чистом небосклоне появилась полная луна.

После ужина мы пошли на аэродром, где техники готовили наш самолет к вылету. Здесь же была и очередная группа разведчиков. Мы быстро собрались и хотели занимать свои места, как подкатила «эмка» командира дивизии полковника Токарева. Вслед за ним из машины вылез еще один человек. Пока Махнев докладывал комдиву, его спутник стоял позади, а потом подошел ближе, и я узнал в нем того самого старшего батальонного комиссара, которого накануне встретил у почты. Он подошел и спросил:

— Товарищ Махнев?

— Да, я,— ответил летчик.

— Здравствуйте! — поздоровался комиссар и, пожимая руку Махнева, спросил: — А где ваш штурман?

Я стоял рядом, и Махнев сказал, показывая на меня:

— Вот он.

Комиссар протянул мне руку и представился совсем не по-военному:

— Сергей Михалков.

— Младший лейтенант Попов!

Гость понял, что дал промашку, и поправился, слегка заикаясь:

— Старший батальонный комиссар Михалков!

Непонятно, откуда он знает Махнева? Оказалось, что, пока я лежал в лазарете, в штабе дивизии состоялась конференция летного состава по обмену боевым опытом. От нашей эскадрильи ездил туда Махнев, там он выступал, тогда-то и узнал его Михалков, который присутствовал на конференции как корреспондент газеты Военно-Воздушных Сил. Теперь, на стоянке самолета, они встретились второй раз.

Полет нам предстоял дальний: увезти группу в район латвийского города Лиепая (Либава) — крупного морского порта и военно-морской базы фашистов на восточном берегу Балтийского моря, до которого от фронта было тогда около шестисот километров. Погода по маршруту сперва складывалась отлично: полная луна светила так ярко, что округа просматривалась как днем.

Мы летели на высоте 30—40 метров. На какой-то станции западнее города Острова Псковской области стоял пассажирский поезд. На черном фоне земли и ночного леса тянулась от паровоза полоса белого дыма, а окна вагонов освещались изнутри ярким светом электролампочек.

— Смотри-ка, немцы даже окна не маскируют! — удивился Махнев и крикнул: — Радист! Дай-ка им жару!

И тотчас трассирующие пули «прошлись» от локомотива по вагонам до самого хвоста поезда.

В Прибалтике местность в основном низменная, немало болот, особенно в районе озера Лубань, что находится в восточной части Латвии, в Латгалии. Маршрут полета я проложил именно на это озеро — отличный ориентир. До него мы летели около трех часов.

За полночь. Стоит ясная прохладная погода, при которой в ночное время, осенью, земная поверхность сильно

выхолаживается. И это обстоятельство является основной причиной образования густых осенних туманов.

Когда мы прилетели туда, озеро и окружающую местность закрывал туман, из-за него я не увидел озера. Это затруднило ориентировку, и дальше пришлось лететь по расчету времени. Я старался использовать малейшую возможность для определения действительного местонахождения самолета, чтобы сделать соответствующую отметку на полетной карте. Но такая возможность не представилась.

Чтобы не заблудиться, от озера Лубань я дал курс прямо на цель и больше его не менял. У меня появилась неуверенность в ориентировке и в своих расчетах, потому что из-за тумана я не увидел даже реку Западную Двину. А всякая неуверенность чревата тяжелыми последствиями. Мне стало казаться, что мы отклоняемся от маршрута. Но я всегда помнил золотое правило из «Наставления по штурманской службе»: при потере ориентировки курс не менять, а выходить на линейный ориентир и по нему попытаться восстановить ориентировку. Не поддался я искушению, заставил себя верить расчетам и по расчетному времени подал сигнал разведчикам прыгать.

Повернули обратно. На озеро Лубань вышли как будто точно, взяли курс на восток, снова вышли на станцию, на которой по-прежнему стоял поезд с освещенными окнами вагонов. Его еще раз обстреляли наши стрелки. Дальнейший путь до аэродрома пролетели без приключений.

В последующие ночи летали в районы Ленинградской и Калининской областей, которые теперь входят в состав Псковской. Каждый полет в среднем занимал четыре-пять часов, так что за ночь делали только по два вылета. На оккупированной территории всюду видели множество партизанских костров: то народные мстители ждали самолеты с Большой земли. С гневом и болью в сердце неоднократно наблюдали, как фашисты сжигали русские деревни. Особенно часто в районе города Порхова зимой сорок третьего года.

Между тем приближалась двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Мои давние мучители — фурункулы — сильно омрачали мне подготовку к празднику. Они пристали, словно пиявки-кровососы, и никакие лекарства не помогали мне. А в самые предпраздничные дни на левой ноге, чуть выше лодыжки, появился такой, что ногу немыслимо раздуло и она не пролезала в голенище сапога. Я не мог ходить, положить ногу на постель — такая сильная боль пронзала при этом. Приходилось постоянно держать ее на весу. Из-за этого в те дни вместо меня несколько раз слетал на задания другой штурман: работа не ждала.

Досада брала меня: из-за пустяка валяюсь без дела. Но совсем огорчался, когда все уходили на аэродром, а я в комнате гостиницы оставался один. С тоской прислушивался к реву моторов. Самолеты то и дело проносились над гарнизоном и аэродромом. Так продолжалось дней десять.

А во второй половине ноября нам внезапно объявили, что наш ночной дальнебомбардировочный авиаполк расформирован. Почему? Никто ничего толком не знал. Все экипажи полка вместе с самолетами передали в другой полк, базировавшийся на соседнем аэродроме. Наш экипаж — тоже. Безэкипажные уезжали в Москву, в распоряжение управления кадров ВВС. Жаль было расставаться с ребятами, к которым привык, которых узнал за время службы. Мне жаль было и сам полк: в нем меня приняли в ряды ВКП(б).

Вот как это случилось. Однажды вечером, перед вылетом, подходит ко мне штурман полка майор Бондаренко (имя его, к сожалению, не помню) и говорит:

— Попов, а не пора ли тебе вступать в партию?

Сознаюсь, предложение прозвучало для меня неожиданно. Ну какой из меня коммунист? Правда, я вступил в комсомол в 1937 году, даже был комсоргом, когда работал после школы монтером радиоузла Чермозской районной конторы связи. Но о вступлении в партию — нет, никогда я не дерзал и думать об этом. Кто я такой? Человек средних достоинств. Мои старшие братья — другое дело: Георгий (он с 1906 года рождения) в то время работал вторым секретарем Ульяновского райкома ВКП(б) города Омска; Сергей (с 1909 года рождения) — работал главным конструктором военного завода, на котором делали для фронта артиллерийские орудия. Они настоящие

коммунисты: для фронта делают все, что в их силах, не жалея ничего, даже своей жизни (так, Сергей заболел гриппом осенью 1943 года, но, имея бюллетень, по неделе не приходил домой с работы, в результате этого получил осложнение на почки и умер 25 декабря 1943 года в возрасте 34 лет, оставив семилетнего сына и шестилетнюю дочь). Вот они — коммунисты, а я пацан.

— Ты достоин быть членом партии,— сказал мне майор Бондаренко.— Так что не сомневайся, подавай заявление: одну рекомендацию дам я, другую даст Поярков, третью — комсомол...

И верно: начальник связи полка старший лейтенант Поярков дал рекомендацию. Короче говоря, в июле сорок второго года меня приняли кандидатом в члены ВКП(б), а в октябре того же года — в члены партии. Рекомендации опять дали майор Бондаренко и старший лейтенант Поярков.

И вот вследствие расформирования полка они оба уезжали в Москву, больше я их не встречал нигде и о дальнейшей судьбе их ничего не знаю до сих пор.

Мы выполняли те же задания. Хотя новый полк базировался на соседнем аэродроме, мы остались на прежнем месте, так как отсюда было ближе до штаба фронта. Задания и группы разведчиков привозили все те же майоры Столпник и Куликов. И жили мы в той же гостинице, что и раньше, только на втором этаже, так как на наше место поселили летчиков-истребителей, прилетавших на этот аэродром в декабре сорок второго года.

На втором этаже, напротив нашей комнаты, жил корреспондент фронтовой газеты Матусовский — ныне известный поэт. Каждый вечер он видел, наверное, как четыре молодых летчика, живших напротив, облачались в летное обмундирование и уходили куда-то. Если бы он, как корреспондент газеты, знал, куда мы уходили, чем занимались! Но о нашей работе тогда писать было нельзя.

Шел декабрь сорок второго, когда наши войска громили армию Паулюса между Волгой и Доном. В это же время войска Калининского фронта наступали и освободили город Великие Луки, вели упорные, кровопролитные бои за город Ржев, в котором до войны служил мой третий брат, летчик лейтенант Александр Попов, погибший в октябре 1941 года.

Успешное наступление советских войск на юге страны и на соседнем с нашим — Калининском — фронте воодушевляло всех советских людей в тылу и на фронте. Нас тоже. Поэтому мы рвались в бой: хотелось бить фашистов бомбами и как можно сильней, чтобы нанести им больший урон, чтобы приблизить день нашей победы. Об этом я и сказал однажды майору Столпнику. И добавил:

— А эти полеты... Что это за боевые вылеты? Летишь, видишь немцев, а ударить нечем! То ли дело — летать с бомбами...

Майор обиделся: он посмотрел на меня пристально. Прищурился, а затем с возмущением отрезал:

— Да знаешь ли ты, что один такой вылет стоит десяти твоих вылетов с бомбами?! — И после некоторого молчания уже спокойнее добавил: — Запомни раз и навсегда: эти полеты дают нашему командованию так много, что ты даже представить себе не можешь. Так что летай, как летал, и ни о чем не думай: здесь вы так же бьете фашистов, как и пехота, как бойцы Калининского фронта. Понял? Так-то вот, товарищ Попов...

«Один такой вылет стоит десяти твоих вылетов с бомбами». Эти слова майора Столпника заставили меня посмотреть на нашу работу другими глазами.

А погода между тем не баловала: часто шел снег, из-за него мы летали редко. Но иногда летали и при снегопаде. Толку же те полеты приносили мало. Например, полетели однажды с группой. До озера Ильмень шли, как всегда, на высоте триста метров, под самыми облаками. Я уж думал, что так и слетаем вполне благополучно, тем более что высота полета обеспечивала безопасный прыжок с парашютом. Но вопреки ожиданию перед озером попали в снегопад. Вот наконец и Ильмень. Он, конечно, скован льдом и покрыт снегом, угадывается только тем, что кончилась суша с темными пятнами лесов и деревень, впереди же одна белая мутная равнина.

Над озером внезапно попали в облака. Летчик вынужден снижаться, чтобы выйти из облаков. Стрелки высотомера быстро побежали к нулю шкалы прибора, потом пробежали и его, а вокруг нас, выше и ниже,—сплошное белое месиво из снега и облачности.

Затем стрелки показали высоту пятьдесят метров ниже нуля шкалы, а вскоре и сто! Это означало, что мы летели на высоте, которая ниже уровня нашего аэродрома на сто метров. Нависла реальная угроза столкновения самолета с землей или льдом озера. А на борту у нас сидели три военных разведчика, которых мы должны доставить в заданный район целыми и невредимыми. Теперь же мы могли погубить их и погибнуть сами. Повернули обратно. Летчик плавно, «блинчиком» развернул самолет на «курс домой», а я то и дело поглядывал на приборы, чтобы в любой момент подсказать летчику: ведь он пилотировал вслепую, а такой полет весьма труден.

На другой день погода совсем испортилась, и мы только сходили на метеостанцию, взяли прогноз погоды по маршруту. Ничего хорошего он не предвещал.

Здесь уместно отметить интересную деталь. В то время начальником метеостанции на аэродроме служил незнакомый нам старший техник-лейтенант. Он каждый раз давал нам прогноз погоды сам, и всегда они оправдывались. Удивительнее всего было то, что он угадывал погоду даже за сотни километров от фронта, в тылу противника, будто видел ее или предчувствовал каким-то особым своим нюхом. Таких синоптиков мне не приходилось больше встречать ни на фронте, ни в мирное время, хотя я и после войны летал еще немало.

Та группа оказалась какой-то невезучей: почти целую неделю стояла плохая погода, и мы никак не могли увезти ребят. Наконец низкие облака пронесло, небо прояснилось. Метель, бушевавшая почти неделю, утихла.

Под вечер к нам в гостиницу пришли майор Куликов и командир группы. Это был лет двадцати пяти брюнет, смуглый, чернобровый, очень похожий на цыгана, среднего роста, худощавый. На нем было гражданское пальто из черного сукна с меховым коричневым воротником. Из-под пальто виднелись стеганые ватные брюки, на ногах серые валенки, на голове шапка-ушанка тоже с коричневым, как воротник пальто, мехом.

Мы стали собираться на аэродром, и он сказал:

— Ну, ребята, как хотите, а сегодня нас обязательно увезите.

Махнев глянул на него и сказал, улыбаясь:

— Тебе что, здесь плохо, что ли? Гуляй себе сколько хочешь!

— Какое тут гулянье! — в тон ему воскликнул он.— Вон начальство над душой стоит, шагу сделать не дает... А там — да, там я сам себе хозяин, там меня немцы боятся.

Меня взяло любопытство, и я спросил:

— Как это тебя немцы боятся? Неужто они такие пугливые?

Он посмотрел на меня с задором, с огоньком в черных глазах. Его опередил майор Куликов, сказав:

— Он там здорово немцам насолил. Так, что они прозвали его Черной головой и дают за эту голову тридцать тысяч марок...

И тут я узнал, что он на оккупированной территории находился с того дня, как фашисты заняли тот район. Однажды выходил на Большую землю по вызову командования фронта, потом ушел снова и находился там почти полтора года. Теперь вот снова вышел по вызову командования. А там, в тылу противника, у него целый отряд — более семидесяти человек, все боевые хлопцы: нет от них покоя немцам ни днем, ни ночью. Взять хотя бы его заместителя: сержант, боевой парень! За смелость и отвагу гитлеровцы прозвали его Рыжим дьяволом и обещают за него — живого или мертвого! — двадцать тысяч марок.

Отвечая на мой вопрос, сказал:

— Что мы там сделали?.. А ты приезжай туда, как только наши войска освободят тот район,— сам увидишь, с населением поговоришь...

По дороге на аэродром я задал ему вопрос, который в то время был, так сказать, в моде:

— Сколько же ты убил фашистов?

Он ответил тотчас, не задумываясь:

— Тысячи полторы.

В полутора тысячах я усомнился, и он обиженно сказал:

— Не веришь?.. Да я лично пустил под откос девять эшелонов с живой силой и боевой техникой — иди сосчитай, сколько там было этих фашистов. А сколько еще из автомата...

За минувшую неделю выпало очень много снега, поэтому вместе с грузовыми мешками в самолет положили для группы и отряда пар двадцать лыж,

туго связанных стропой в одну связку, чтобы не рассыпались в воздухе. Получилось что-то похожее на толстое и короткое бревно.

Наступала холодная звездная ночь, дул пронизывающий северный ветер. У самолета хлопотали техники, грея моторы специальными лампами. Тут же, протягивая озябшие руки к горячим лампам, стояли остальные члены группы. Они были одеты так же, как их командир. Это одеяние показалось мне весьма легким: мороз стоял не менее тридцати градусов, и даже я в меховом летном комбинезоне чувствовал его. Чтобы не морозить ребят, мы быстро собрались и полетели: все-таки в кабине самолета теплее, чем на холодном ветру.

После взлета из-за горизонта выплыла большая, полная луна. Она казалась такой яркой, такой чистой, словно ее кто-то только что вымыл. Воздух необыкновенно прозрачен, ориентиры, особенно крупные, виднелись за десятки километров, а световые маяки — как наши, так и немецкие — за целую сотню километров. В такую ночь летать — одно удовольствие: все видно как днем.

В моей кабине, на полу, сидел майор Куликов, как всегда, свесив ноги в люк, ведущий в гондолу парашютистов. На коленях его автомат ППШ. За два месяца совместных полетов я привык к майору. Он, видимо, ко мне тоже, так что мы с ним стали приятелями. Поэтому однажды я по-свойски спросил его, указывая взглядом на автомат:

— Зачем вы его берете?

Он посмотрел на меня удивленно:

— Как зачем? А вдруг нас собьют?

— Типун на язык! — сказал я и рассмеялся. Смех смехом, а ведь мы летали на задания уже полтора года, за это время бывали в разных переплетах, когда казалось, что одна нога уже в могиле, но каким-то чудом выходили и из таких положений. К опасностям в какой-то степени привыкли. И, несмотря ни на что, все-таки мысли о том, что нас собьют, появлялись иногда. Я гнал их, старался не думать об этом: жить в страхе за свою жизнь просто невозможно. В целом же я верил, что нас не собьют: во-первых, потому, что мы летали ночью и не с бомбами, то есть обходили стороной все опасные места (зенитные батареи и аэродромы истребителей). Во-вторых, истребителей противника мы не очень-то боялись: попробуй-ка ночью в полете увидеть другой самолет. Без радиолокатора наверняка ничего не выйдет, а в 1942 году локаторов на самолетах не было ни у нас, ни у немцев.

До конечного пункта маршрута в тот раз мы долетели нормально. Выше трехсот метров не поднимались. На подходе к цели я тронул плечо майора Куликова и показал рукой вниз — он тотчас скрылся в гондоле десантников. С первого захода по моему сигналу он сбросил грузовые мешки, за ними прыгнули десантники, а затем майор вытолкнул связку лыж и поднялся в мою кабину.

— Все! — крикнул он, усаживаясь на пол.

И тотчас что-то со страшной силой ударило по хвосту, отчего самолет клюнул носом. Летчик рванул штурвал на себя, стараясь удержать машину в горизонтальном полете, но второй такой же удар заставил ее клюнуть еще раз, потом еще и еще...

— Что там? — крикнул летчик.

— Не знаю! — ответил я, оглядываясь по сторонам, но увидел только яркий свет в кабине стрелков. Это надо же! И я крикнул: — Морозов! Ты что, хочешь, чтобы тебя сбил истребитель? Сейчас же выключай свет!

Почему? Ночью свет ослепляет, и стрелок не увидит истребителя противника, а тот подойдет вплотную и собьет сразу же. Радист свет выключил, но удары по хвосту самолета от этого не прекратились. Происходило что-то непонятное. Зенитка противника? Но откуда она в этом глухом заболоченном месте? Тут у немцев нет никаких военных объектов, стало быть, нет и зенитной артиллерии. Но что же это, что?!

А удары сыпались один за другим через каждые пять-шесть секунд. Тут майор Куликов нырнул в гондолу парашютистов, вылез обратно и крикнул:

— Лыжи!

— Что лыжи? — не понял я.

— Лыжи зацепились за фал! — пояснил майор, показывая на пальцах, как восьмиметровая веревка, с помощью которой раскрывается десантный парашют, попала между носками лыж, и вся связка болтается под самолетом. Ее там крутит встречным потоком воздуха, и лыжи бьют по хвосту со всего размаху.

Создалось критическое положение: что, если это бревно из лыж сломает

руль высоты? Тогда неминуема гибель и экипажа и самолета. Хорошо, если успеем выброситься на парашютах. Но на прыжок может не хватить времени. А если самолет свалится в штопор или пике, то из него вообще не выбраться. Что же делать?

И тут мне вспомнился один лозунг, который у нас, в Челябинском училище, висел всюду: и в казарме, и в столовых, и в учебных классах, и в Доме Красной Армии. Вот такой лозунг: «Чем сложней обстановка, тем спокойнее должен быть штурман!» Золотые слова! Они очень помогли мне на фронте. Более того, я считаю, что обязан им своей жизнью, тем, что вышел целым и невредимым из такой страшной войны, хотя летал на боевые задания все четыре года.

Первым порывом было желание поскорее избавиться от этих лыж, и я крикнул об этом майору Куликову. А он кинулся в гондолу десантников резать веревку. Но я успел поймать его за плечо и крикнул ему в самое ухо, чтобы он понял меня правильно:

— Зайдем снова! Резать по сигналу!

Он кивнул головой в знак согласия и скрылся в нижнем люке, а летчик Махнев, услышав мои слова, начал разворачивать самолет на второй заход.

Почему мы пошли на новый заход? Ведь мы рисковали жизнью экипажа и самолетом! Мысль об этом пришла мне внезапно, а летчик не возражал. Мы это сделали потому, что отлетели от места, где прыгнули друзья, уже километров за двенадцать. Обрежь майор веревку на таком расстоянии от них, и ребята наверняка не нашли бы своих лыж. А каково им в лесу без них? Тем более что после метели снег глубокий.

И мы зашли снова, точно так же, как в первый раз. И над тем местом, где прыгнули ребята, я подал сигнал майору, и он обрезал веревку. И тотчас самолет перестало трясти, у нас — гора с плеч.

Мы благополучно вернулись домой, подготовились и слетали еще раз, но уже в другое место. И все время меня мучил вопрос: нашли ребята свои злополучные лыжи или нет? Через два дня майор Столпник сказал, что лыжи нашлись. Значит, порядок.

Между тем прошло два месяца, как мы начали летать на выполнение заданий командования фронта. У нас появилась полнейшая уверенность в своих действиях: мы забрасывали группы всегда точно в заданные места. Об этом обычно через день-два после полета сообщал майор Столпник. Эти сообщения радовали нас.

Но меня огорчало одно: из всех групп, заброшенных нами в тыл врага, две не подавали о себе никаких сведений. Одна из них прыгала недалеко от озера Родиловского. Что с ней? Куда она девалась? Я прекрасно помню, что прыгала она точно в заданном месте. Почему же молчит?..

Вторую группу мы увезли в Латвию, когда перед вылетом к нам на стоянку приезжал поэт Сергей Михалков. Меня, штурмана экипажа, мучила мысль о ней особенно болезненно: ведь я вел самолет на цель, люди прыгали по моему сигналу — значит, отвечаю за них я. Что же там произошло? Или я допустил какую-то ошибку? Вновь и вновь прослеживал мысленно весь полет от начала до конца и не находил ошибки. А помнил маршрут так хорошо, будто летал только вчера, да и сегодня помню — сорок лет спустя.

И вот как-то раз, в декабре сорок второго года, майор Столпник сказал мне, что подала знак латвийская группа — та самая, что ушла в Лиепаю (Либаву). Оказалось, что я все-таки ошибся: из-за тумана выбросил группу не в заданном районе, а за полторы сотни километров в стороне. Когда майор сказал мне об этом, я от стыда готов был провалиться сквозь землю. Но он утешил меня, сказав:

— Ты не расстраивайся: ведь нашлись люди! Они уже на месте, начали работать, понял?

Слабое это утешение: могли попасть в лапы гитлеровцев, пока добирались пешком до места назначения. Но я был благодарен майору. А для себя сделал соответствующий вывод: «Нет, братец, так летать нельзя!»

Над оккупированной территорией всегда летали на малой высоте: на двухстах-трехстах метрах, а в светлую, лунную ночь иногда и того ниже.

Среди прочих еще одно преимущество полета на малой высоте выяснилось совершенно случайно в процессе нашей работы. Однажды мы полетели в район между городами Порхов и Остров.

Ночь стояла темная, морозная. Наши однополчане в ту ночь наносили бомбовый удар по эшелонам противника на железнодорожном узле Дно, мимо которого нам предстояло пролетать.

Когда мы летели над озером Ильмень, кто-то из наших начал бомбометание. Прожектора схватили самолет в лучи-щупальца, а зенитная артиллерия противника открыла по нему яростный огонь. Трассирующие снаряды неслись к самолету прямо по лучам прожекторов.

У меня на сердце стало так больно, словно это в меня летят снаряды. Я смотрел на бесновавшийся вокруг маленькой серебристой стальной птицы, блестевшей в лучах прожекторов, огонь и, переживая за однополчан, сказал летчику:

— Смотри, что делается! Как бы нам не угодить на это Дно!..

Летчик промолчал. Он, конечно, тоже переживал за ребят, но свои эмоции не выказывал: уж такой характер у человека, не любит много говорить, тем более в полете.

Между тем первый бомбардировщик благополучно отбомбился и улетел, а на его место прилетел другой. Бомбы этого рвались на земле, вспыхивая красноватыми сполохами... Вдруг там, на цели, ярко вспыхнуло пламя мощного взрыва, потом еще и еще... При каждом новом взрыве языки пламени выбрасывало высоко вверх. От этих взрывов на станции вражеская зенитная артиллерия словно взбесилась: вокруг самолета бушевал настоящий зенитно-прожекторный ураган.

У города Сольцы, что тридцать километров северо-восточнее Дна, взлетела вверх белая ракета. Кто стрелял и зачем — не знаю, но я подумал, что это условный сигнал: дело в том, что у Сольцов стоял аэродром, на котором базировалась гитлеровская авиация. И я зарядил свой пистолет-ракетницу белой ракетой. Зачем? Просто так, на всякий случай.

Потом и второй бомбардировщик выполнил задание и улетел домой. Над городом и станцией наступило затишье: зенитчики противника и прожектористы притаились, готовые в любой момент встретить следующий самолет, поймать его прожекторами и сбить. Это затишье всегда действовало на нас весьма тягостно: затаившийся враг слышит гул моторов, а сам себя ничем не выдает. Мы же ничего не видим, но знаем, что внизу притаился враг.

Глянув на часы, я подумал, что мы уже миновали опасное место, как вдруг в нас вцепился один прожектор, за ним остальные. Сколь неожиданно, столь и досадно: ведь избегали этого, а попали как раз туда, куда не хотели!

Не успел я что-либо подумать о своих действиях, как правая рука моя схватила ракетницу и выстрелила в форточку кабины белой ракетой. И свершилось чудо: прожектора погасли, и ни одна зенитка ни разу не выстрелила.

Я опять зарядил ракетницу белой ракетой и только успел это сделать, как прожектора снова поймали нас: видно, у немцев появилось какое-то подозрение. Я опять выстрелил белой ракетой. И прожектора снова погасли, теперь уже совсем. Огневые позиции молчали: ни разу не выстрелили ни одна пушка, ни один пулемет.

Мы ушли целыми, поскорее, тем более что делать нам тут было нечего.

Почему фашисты поверили моему обману? Не знаю. Вероятно, потому, что у них в ту ночь действительно белая ракета означала «я — свой самолет». А может, потому, что мы летели на высоте всего лишь сто метров, в то время как наши однополчане летали и бомбили с высоты две-три тысячи метров. А может, и то и другое вместе?..

После того случая я сказал всем членам экипажа, чтобы они предупреждали меня сразу же, как только где-либо появится какая-нибудь ракета. Любого цвета. И эта хитрость помогла еще раз: точно так же в феврале 1943 года я обманул ракетой гитлеровских зенитчиков у поселка Локня Псковской области, где у немцев находились большие армейские склады, охранявшиеся многочисленными зенитными орудиями и прожекторами.

В середине января сорок третьего года наш экипаж передали в распоряжение другой войсковой части, и 15 января мы перелетели на аэродром близ города Калинина. Эта часть подчинялась непосредственно Москве.

Помнится очень холодный день. Когда мы прилетели туда, нас встретил сам командир части подполковник По-

трясов. Он повез нас в город, там мы оказались в каком-то длинном бараке, адски холодном. Здесь мы бросили свои вещи в коридоре, прямо на полу, потому что подполковник сказал, что сегодня надо увезти две группы.

Новую полетную карту склеил быстро: этим делом штурману приходится заниматься очень часто — карты быстро треплются от каждодневного пользования.

Над маршрутом пришлось поломать голову. На Калининском фронте мы ничего не знали: ни места расположения зенитной артиллерии противника, ни аэродромов базирования его авиации. А знать это нам нужно обязательно, чтобы не попасть впросак, ведь у нас на борту разведчики, люди особые, за целость и сохранность, за точную доставку их в заданный район мы отвечаем. Новое же начальство ничего этого не знало и ничем помочь нам не могло. Пришлось положиться на свой опыт и интуицию: авось над болотами и малонаселенной местностью пролетим спокойнее, чем в каком-либо другом месте. Так я и сделал и не ошибся.

Фронт прошли между городами Невель и Витебск. Он хорошо наблюдался по орудийным вспышкам и трассам снарядов, а также по разноцветным ракетам. Его мы миновали на высоте полторы тысячи метров, затем снизились до трехсот метров и пошли прямо на цель. Погода стояла ясная, и мы без труда нашли заданное место. Группа прыгнула, что называется, с ходу.

Из второго полета вернулись в седьмом часу утра. В ту ночь в воздухе пробыли одиннадцать часов, сильно устали. Где же будем спать? Оказалось, подполковник Потрясов позаботился о нас: заранее снял квартиры почти в центре города, и после завтрака нас развезли по ним.

Расселились по два человека, только стрелок-радист Морозов жил один (в экипаже нас было семь человек). Меня и летчика Махнева поселили к женщине, муж которой ушел на фронт в начале войны и пропал без вести. Забегая вперед, чтобы не возвращаться к этой теме, скажу, что 8 марта 1957 года я приезжал в Калинин, заходил на квартиру к бывшей хозяйке нашей. Она, узнав меня, сказала: «Вы знаете, Ваня вернулся! Скоро с работы придет». И верно: через полчаса муж пришел домой, мы познакомились и долго разговаривали о минувшей войне.

...После той многотрудной холодной ночи я с большим удовольствием растянулся на кушетке и мгновенно уснул, будто провалился в небытие. Проснулся около двух дня, а вскоре приехал командир части.

— Как спалось на новом месте? — спросил приветливо.

— Хорошо! — бодро ответил Махнев.

— Ну и прекрасно! — сказал подполковник.— А ну-ка, штурман, давайте вашу карту.

Я развернул на столе свою новую полетную карту, и Потрясов сказал:

— Сегодня одну группу надо вот сюда... А другую — сюда...

Я проложил маршруты, сделал два предварительных расчета полетов, потому что потом, на аэродроме, да еще на морозе, заниматься этим и времени не будет, и не очень-то приятно. Мою подготовку, как и прежде, контролировал я сам: пехота в этом деле ничего не понимает, а Потрясов был пехотинцем. Он верил нам, и мы это доверие оправдывали всегда.

На третью ночь, на пятом по счету вылете из Калинина при перелете линии фронта нас обстреляла зенитка противника. Правда, снаряды рвались в стороне и не причинили нам вреда, тем не менее это насторожило: значит, фашисты обратили внимание на наши ежедневные пролеты тут, к тому же почти в одно и то же время. На обратном пути из второго вылета зенитный огонь усилился, а в следующую ночь там появился даже зенитный прожектор.

Пришлось искать другую дырку в линии фронта, и мы нашли ее — севернее города Великие Луки.

Подполковник Потрясов приезжал к нам на квартиру каждый день после обеда, давал задания на предстоящую ночь. А когда я заканчивал подготовку, он на своей служебной «эмке» увозил Махнева и меня на аэродром. Там мы — Потрясов, Махнев и я — шли прежде всего на метеостанцию. Я просматривал все синоптические карты за последние сутки, получал прогноз погоды по маршруту до линии фронта, и мы ехали на стоянку самолета, где уже хлопотали техники.

Синоптики обслуживали нас безукоризненно: работали они хорошо, прогнозы погоды готовили заранее, до нашего прихода. Почему? Не знаю. Вероятно, Потрясов разговаривал по этому поводу с начальником метеостанции. И стоило только нам туда зайти, как сразу же мы получали все, что нам требовалось.

Январь сорок третьего года в Калинине был ничуть не теплее зимы сорок второго. Тем не менее Потрясов каждый раз, провожая нас в очередной полет, был в шинели. Он не уезжал с аэродрома до тех пор, пока мы не улетали. Перед вылетом всегда задавал мне один и тот же вопрос:

— Ну, штурман, когда вернетесь?

Я называл ему время возвращения по моим расчетам, а когда заруливали на стоянку, его «эмка» уже ждала, а он сам — молодой, высокий, стройный — стоял возле нее. Подполковник всегда — в ночь ли, в полночь ли — ждал нас. Утром, после второго вылета, он вез нас с Махневым в тот длинный барак, где у них действовала столовая. Там я писал боевые донесения, а техники и стрелки тем временем закрывали самолет. Пока я писал донесения, они приезжали в этот барак, мы завтракали и уезжали домой спать.

А после обеда все повторялось: приезжал подполковник, давал задания на предстоящую ночь и т. д. Правда, когда погода портилась, мы не летали. В такие дни ходили в кино, на танцы, в театр, в те дни я впервые посмотрел пьесу А. Корнейчука «Фронт» в Калининском драмтеатре.

В полете я иногда сожалел, что скорость самолета маловата, всего лишь 240—250 километров в час. Даже в том случае, когда группа шла в ближний тыл (в район Полоцка или Витебска), один вылет занимал более четырех часов. А если летали в Прибалтику или в западные районы Белоруссии, то за ночь одолевали только один вылет.

И вот однажды, в конце января или начале февраля сорок третьего года, прилетел транспортный самолет Ли-2 из полка, которым командовала прославленная летчица, Герой Советского Союза В. С. Гризодубова. Если мы на свой самолет могли взять только одну группу парашютистов максимум из шести человек, то на транспортный Ли-2 можно было брать сразу две-три группы. Но нашему горючего хватало на двенадцать часов полета, а Ли-2 — вдвое меньше. Да и скорость нашего была больше на пятьдесят-шестьдесят километров в час.

Махнев не любил тянуть время: если группа ждала, а самолет исправен (исправен он был всегда благодаря самоотверженному труду техников Якова Бурлаки, Анатолия Добряка и Алексея Тумакова) и если погода благоприятствовала полету, он говорил:

— Ну, пошли...

И влезал на крыло, а с него — в свою пилотскую кабину. Мы все по своим местам. Если же у техников что-нибудь не ладилось, он говорил:

— Давай быстрее, ребята!..

Но такое случалось редко. Я не помню случая, чтобы по вине наших техников отказал бы в полете мотор или какой-нибудь агрегат.

Летчик Махнев любил взлетать засветло, когда солнце висело над горизонтом. Это и понятно: при дневном свете взлететь легче, чем в темноте, тем более с максимальным грузом. И получалось так, что мы взлетали раньше, чем ребята на Ли-2. Они же никогда не спешили: из предосторожности взлетали только при темноте.

Примерно через неделю после их прибытия мы опять вылетели засветло. В ту ночь нам предстояло увезти две группы в северные районы Белоруссии: в районы Полоцка и Лепеля. Вернулись из первого полета, а самолета Ли-2 на аэродроме нет. По словам наших техников, он улетел после нас часа через полтора.

На стоянке уже ждала вторая группа, тут же дежурил бензозаправщик, так что минут через тридцать мы взлетели вторично, а вернулись в седьмом часу утра. Самолета Ли-2 опять не увидели. Я подумал, что «дугласисты» (так называли тех, кто летал на Ли-2 — на «дугласе») ушли на второе задание, но оказалось, что они не вернулись еще с первого. Где они запропастились? Что с ними? Или их сбили? Или штурман заблудился?

Погода стояла нормальная: безоблачная, хотя и без луны, но даже в такую погоду, в такую ночь, тем более зимой, ориентироваться не так уж трудно. По крайней мере, мне это давалось легко, и я не допускал мысли, что штурман, имеющий опыт ночных поле-

тов, может заблудиться. Тревога за коллег возрастала. Если их сбили истребители, то могут и нас подкараулить где-нибудь.

Дней через пять, под вечер, мы приехали на аэродром. Приятная неожиданность: Ли-2 стоял на своем месте. Возле него хлопотали люди. Их вид показывал, что у них все в порядке, что с ними ничего не произошло. Махнев спросил командира экипажа, где они пропадали столько времени. Оказалось, заблудились.

Как-то раз мы получили задание увезти груз — один только груз, упакованный в мешки и тюки. Такие задания мы получали редко.

Доставить группу парашютистов в западный район — дело не из легких, а выбросить груз значительно проще: костры-сигналы партизаны зажигали с наступлением темноты. Располагали их то в виде треугольника, то квадратом, то еще как-нибудь. О порядке расположения костров экипаж всегда знал.

На этот раз подполковник Потрясов сказал мне, что костров будет четыре — квадратом. И указал на карте их место. Зажгут их только с нашим прилетом. Значит, расслабляться в полете мне ни в коем случае нельзя!

Обычно партизаны зажигали костры где-нибудь на лесной поляне, в стороне от больших гитлеровских гарнизонов. А наши получатели груза выбрали место для костров буквально рядом с железнодорожной станцией Боровуха, что стоит на линии Полоцк — Даугавпилс.

Перед вылетом Потрясов сказал: если там будут гореть костры до нашего прилета, груз не бросать. Не бросать его и в том случае, если будет гореть хоть один маленький огонек.

Когда мы прилетели — нигде ни огонька. С двухсотметровой высоты я хорошо видел и разъезд Боровуха, и железную дорогу, идущую на Даугавпилс, и поле, на котором должны появиться костры. Увидел и поразился: уж больно близко то поле от разъезда. Вот, думаю, какие смелые люди — получатели груза: ведь наверняка гул моторов нашего самолета услышат немцы и полицаи, которые дежурят на разъезде, и засуетятся: зачем это прилетел советский самолет, да еще ночью? И наверняка сообщат на ближайший аэродром истребителей. А увидят костры — и вовсе озвереют.

Я сказал летчику:

— Все, Миша, здесь! Делай круг!..

— А ты уверен, что здесь?

— Конечно! — отвечаю.— Как раз то самое поле.

И стали мы кружить: кружим пять минут, кружим десять, а никаких костров что-то не зажигается. Махнев вновь говорит:

— Посмотри хорошенько. Может, ошибся?

— Нет, все правильно! — отвечаю.— Здесь, здесь должны быть костры. Может, там уснули?

Время идет, а костров нет и нет. Я уж чувствую, что летчик (редкий случай) волнуется не на шутку: уже несколько раз повторил, что я ошибся, просил проверить все расчеты и т. д. А я был абсолютно уверен в себе, поэтому отвечал, что все правильно, что они там, черти полосатые, все проспали, что надо подождать еще маленько. Словом, мы начали психовать и чуть не разругались, а костры не светили...

И только минут через сорок, как мы прилетели, по полю забегали люди и зажгли четыре костра, расположенных квадратом. Летчик увидел их и успокоился.

Выбросив груз в несколько минут, взяли курс домой.

Наступил день 21 марта 1943 года.

В час дня, как всегда, к нам приехал подполковник Потрясов. Поздоровавшись, спросил о моем здоровье.

— Ну, давайте вашу карту.

На большой, как простыня, полетной карте он показал:

— Сегодня вот сюда...

Маленькое озеро в двадцати километрах восточнее латвийского города Лиепаи (Либава). Опять та самая Либава, куда мы доставляли группу в октябре сорок второго, но из-за тумана выбросили за полторы сотни километров от нее. И эта Либава находилась от фронта за шестьсот километров. Каково лететь эти шестьсот километров над глубоким тылом противника, тем более после той неудачи?..

Мне пришла в голову мысль: опять у нас будет что-то не так. Почему? Не знаю. Но от этой мысли стало не по себе.

Делать нечего: приказ есть приказ, лететь надо. Я стал готовить маршрут полета, делать предварительный расчет, стараясь ничем не показать своего настроения, чтобы не портить его другим.

И надо же такому случиться: на взлете отказал правый мотор, отказал в тот момент, когда перегруженная машина только-только оторвалась от земли. Нас спасло то, что на аэродроме было две таких полосы и пересекались они не в центре летного поля, а дальше. Мотор отказал за триста пятьдесят метров от этого пересечения. Летчик сумел направить самолет на другую полосу и в конце ее все-таки остановился.

Техники провозились с мотором два дня. Вечером 23 марта к нам приехал Потрясов, с ним — незнакомый товарищ в гражданском пальто и в офицерской шапке со звездочкой. Подполковник спросил, как всегда, о моем здоровье.

— Фурункулы его замучили,— пожаловался за меня Махнев.

— А ну-ка, доктор, сделайте ему что-нибудь,— сказал Потрясов своему спутнику.

Тот снял пальто, и на его плечах я увидел погоны майора медицинской службы. Он обработал мои раны (а было их штук десять), наложил на них очень много ваты, чтобы мне было удобно сидеть в кабине самолета и чтобы раны не так сильно болели.

Куда лететь? Опять эта Либава. Вот навязалась — не отвяжешься.

— Надо,— сказал подполковник.— Надо, понимаете?

— Надо — значит, полетим, какой разговор,— сказал я.

— Конечно, полетим,— сказал Махнев и начал надевать меховой комбинезон.

Полет рассчитывался на девять часов. Самолет загрузили до предела: три парашютиста со снаряжением, три мешка с грузом для них, каждый весом по сто двадцать килограммов, пачек сто листовок для оккупированной Латвии. И конечно, полные баки горючего.

Машина долго бежала по взлетной полосе и оторвалась от нее как бы нехотя.

Светлая лунная ночь. Вокруг все видно отлично. За линией фронта снизились до ста метров и на этой высоте пошли прямо к цели. Кабина стрелков завалена пачками листовок, так что ребятам пришлось попотеть, пока они разбросали листовки над городом Резекне и другими населенными пунктами. Километров за двадцать до заданного места я подал сигнал парашютистам, а когда подлетели к озеру, включил бортовую сирену. Люди прыгнули быстро, вслед за грузовыми мешками.

Летчик плавно развернул самолет на обратный курс. Пролетели минут десять. Все хорошо. На душе легко, приятно от сознания, что задание выполнено точно. Такое важное, трудное и такое неприятное задание, из-за которого я так невзлюбил Либаву.

И вдруг, когда все самое трудное позади, можно и расслабиться, вдруг в этот период приподнятого, радостного настроения начал стрелять правый мотор. Опять правый!!! Да так здорово, что снизу мотора появилось пламя, большой язык огня, такой, что в кабине хоть газету читай.

Создалось угрожающее положение: в любой момент мог вспыхнуть весь мотор, а за ним — бензобаки.

Кузьмин, сидевший на полу в моей кабине, как когда-то сидел и майор Куликов, вскочил и кинулся в нижний люк, ведущий в гондолу парашютистов, но я успел схватить его за меховой воротник куртки и потянул к себе.

— Ты куда? — спрашиваю, стараясь перекричать гул моторов.

— Мотор горит! — кричит он в ответ, показывая рукой, словно я сам не вижу.

— Сиди на месте! — говорю.— Без команды — никуда!

До фронта по прямой полтысячи километров, а по дорогам наберется вся тысяча. Как их пройти?

Я спросил летчика, что случилось.

— Не знаю! — ответил. Он проверил у себя в кабине все, что имело хоть какое-нибудь отношение к работе двигателей, но подозрительного не обнаружил. А мотор между тем продолжал стрелять, выбрасывая из-под капота пламя, и летчик крикнул:

— Прыгать будем!

Прыгать с парашютом? Для меня это означало верную гибель. Дело в том, что из-за фурункулов я не только ходить, даже сидеть как следует не мог, несмотря на то, что перед вылетом врач наложил на раны много ваты.

И еще. В ту ночь я увидел, что там, в Латвии, снега уже не было: он весь растаял, и всюду блестела вода — и на полях, и на льду озер, и в лесу между деревьями, и в этой вешней воде четко отражалась полная яркая луна. А все мы летали в меховых комбинезонах, в теплых унтах. Если прыгнем в таком

одеянии, далеко ли уйдем по воде? И я крикнул летчику:

— Что ты, Миша! Лети, пока можно! Давай хоть Западную Двину перетянем!

Если даже и прыгнуть с парашютом, то перебраться через нее нам не суметь: я хорошо видел на ее поверхности рябь от ветра — значит, уже без льда. Если же дотянем до Двины и перелетим ее, то, глядишь, подберут партизаны. А я — штурман, много раз летавший ночью в тыл противника,— знал, где искать партизан.

Мысли мои мчались вперед гораздо быстрее, чем мы летели на нашем неисправном самолете. Между тем летчик выключил правый мотор, и пламя исчезло.

Мы летели на одном моторе, летели со скоростью всего лишь сто девяносто километров в час. Однако я заметил, что самолет высоту не теряет. У меня зародилась надежда, что, может, долетим до фронта. Уж так, видно, устроен человек, что даже в безвыходном положении не теряет надежды на спасение, ждет какого-то чуда.

Как только я убедился, что высоту не теряем, подумал: если дотянем до фронта, то как же полетим над ним на этой высоте? Нас наверняка поймают прожекторы и собьют зенитки. Стало быть, надо забираться повыше. Но как набрать высоту на одном моторе? И все же я не выдержал и крикнул летчику:

— Миша! Пробуй набирать высоту! Хоть немножко!

И получилось ведь: по воле летчика самолет полез кверху с набором высоты всего лишь полметра в секунду — на большее Махнев не решился, потому что в этом режиме все возможно: и свалиться в пике и в штопор. Но даже при таком подъеме к линии фронта мы подошли на высоте три тысячи метров. В этом главную роль сыграла, конечно, техника пилотирования летчика, которому немного помогал и я: по его команде уперся обеими ногами в левую педаль, так как самолет все время разворачивало вправо — в сторону неработающего мотора. Не последнюю роль сыграло и то обстоятельство, что мы летели уже домой, без груза, и с каждой минутой самолет становился все легче: горючее из баков убывало.

Так и летели на одном моторе, с небольшим левым креном, и сели на своем аэродроме, сели с ходу. Полет закончился благополучно благодаря выдержке и самообладанию летчика Михаила Махнева: несмотря на молодость (ему шел тогда всего лишь двадцать третий), он ночью пилотировал самолет — на одном моторе! — около четырех часов. На такое способен только пилот высшей квалификации. Таким летчиком Михаил Махнев остался и после войны, заслужив 1-й класс, став командиром полка.

Тот полет мы произвели ночью с 23 на 24 марта 1943 года. Гитлеровцы готовились к летней кампании под Курском. Они перебрасывали свои войска и боевую технику не только по железной дороге, но и по Балтийскому морю. Вполне понятно, что советское военное командование интересовалось морскими перевозками противника, в том числе и через порт Лиепаю. Мы, конечно, ничего этого тогда не знали и знать не могли, от нас требовалось лишь точное выполнение особых заданий советского командования — мы это и делали.

Мы выполнили и позже еще немало подобных заданий. Они прошли нормально. Поэтому о них рассказывать нечего: обычные полеты, без происшествий. Но командование решило иначе. Оно увидело в обычном необычное. В августе сорок третьего года всех нас наградили вторично: Махнева и меня — орденом Красного Знамени, радиста Морозова и стрелка Лукина — орденом Отечественной войны 2-й степени, а техника самолета Бурлаку, механика Добряка и моториста Тумакова — медалью «За отвагу».



Алексей БЫСТРОВ

КРАСНЫЕ ЧАЙКИ

— Скажите, чайки долго живут? — спросил Артуш.

«Зачем это ему?» — не понял я и ответил:

— Не знаю. А что?

— Я часто смотрю, как они над прибоем вьются, и все думаю, если они живут долго, то видели, что тут происходило в войну, и потому так тревожно кричат.

Мы шли берегом моря. Была осень. Море накатывало на гальку ленивые волны, вода с шипением ворошила мелкие камни и, пенясь, стекала обратно, чтобы через несколько секунд снова грузно, словно нехотя, кинуться на берег. Заходило солнце, и водяные валы просвечивали изнутри желто-зеленым угасающим огнем.

Почти к самому берегу полого спускались виноградники.

Между виноградниками и морем, рядом с совхозным поселком расположилась пограничная застава имени Героя Советского Союза Унана Аветисяна. Артуш Адамян служил на заставе, и мое знакомство с ним не было случайным: он из Армении, из того же села Нав в Араратской долине, что и Унан.

Прибыли они на заставу вдвоем с Гарегином Арустамяном, одноклассником, а встречал их Игорь Захарян, уехавший из села годом раньше. Так повелось: парни из села Нав служат на «своей» заставе.

Места тут примечательные. Южнее по берегу — Малая земля. По увалам проходила вражеская «голубая линия», там шли упорные бои. На взморье, при входе в лощину, в сорок третьем разыгралась одна из трагедий минувшей войны.

В ленинской комнате заставы диорама, она словно окно в ту зимнюю роковую ночь.

Мрак и пламя. В горах, на море... Кругом враг. На увалах, в долине, на берегу... Пламя взрывов и лучи прожекторов вырывают из черноты транспорты десанта. Десантники прыгают в ледяную воду.

...И по побережью немцы не прошли в Закавказье. Они были остановлены на окраине Новороссийска, у цементных заводов. Защитники Кавказа перешли в контратаки, но большого успеха не добились. Было решено обойти город с моря, высадить крупный десант в Южной Озерейке. Место удобное, берег отлогий — к морю выходит широкая лощина. В этой лощине и предстояло захватить плацдарм, чтобы «нависнуть» над городом и создать явную угрозу врагу, отрезать его от оккупированных им Тамани и Крыма.

Плыли ночью. Было совершенно темно. Лишь смутно на фоне неба угадывались очертания подступающих к морю гор.

Тишина. В городе, в горах враг. Полторы тысячи десантников плыли в Южную Озерейку.

Но их заметили. Как только приблизились к берегу, на створе смертельно ярко вспыхнули прожекторы, враг осветил все подходы. По транспортам ударила артиллерия, выкатывающихся волной на берег десантников косили пулеметы.

Некоторым лишь удалось пробиться к партизанам или на Малую землю. Долго бился о берег кровавый прибой. И тревожно, и скорбно кричали красные от крови чайки.

— Всю ночь мне потом снился шторм и птицы со сломанными ветром крыльями, а утром я смотрел на них и думал: если бы они умели говорить...

Вот почему Артуш спросил про чаек. Я смотрел на него и старался понять, что у этого парня на душе. Рослый, поюношески еще нескладный, в мундире и кирзачах, слышал он в шуме прибоя и крике птиц отголоски далекого боя. Значит, история существует не сама в себе, и жизнь молодых солдат тоже не самотечна. Они взаимосвязаны. Обагренное кровью прошлое тревожит душу, вызывает желание жить достойно.

Диорама полыхает огнем смерти. Давит мрак, безысходно, пока безысходно. Трепетно бьется, как умирающее сознание, тревожная надежда обреченных. Не осилить врага, не переломить судьбу. Смерть. А сердце не принимает свершившегося, противится и слышит, как яростно звучит гимн «безумству храбрых» — гимн бессмертья. И пронизывает немой грохот нарисованного боя свет торжества. Свет победы.

Стоим на пляже. Остыла галька, разъехались отдыхающие. Отдохнувшие от забот и тревог. Отдохнувшие... На том самом месте, где все это произошло...

Все, все он, солдат, чувствует. И впрямь чайки долго живут? Если долго, то они касались крыльями того кровавого прибоя...

В первый день, когда Артуш и Гарегин прибыли на границу, начальник заставы Павел Павлович Редько, как водится, познакомил их, группу новобранцев, с вверенным подразделению участком границы. И начал это знакомство с памятника на могиле Унана Аветисяна...

Немцы считали свою «голубую линию» неприступной. Она прикрывала Новороссийск и Таманский полуостров. Полк, в котором воевал Унан, перебросили к поселку Верхне-Баканскому, как раз к «голубой линии». Бойцы поняли: готовилось что-то серьезное. Унан с группой солдат получил задание подавить два дзота на горе. Уже неделю шли непрерывные, упорные бои. Наши усиливали натиск. Утром был взят Новороссийск, но здесь, под Верхне-Баканским, споткнулись. Дзоты на косогоре не пускали вперед, сдерживали наступление. Их надо было подавить. Любой ценой.

Длительные, затяжные бои выматывают. Но Унан не выглядел усталым. Неторопливый, но обстоятельный и спорый в своем деле, он все успевал: и окоп отрыть, и автомат почистить. Глядят другие на него, удивляются: когда успел? А он, пока рыл окоп, полную рекогносцировку на местности произвел и точно определил, куда свою огневую позицию разворачивать, как лучше в атаку идти. Да и окоп у него в полный рост, а у соседа еще по колено, потому что долбит без разбору, в сплошной камень, а Унан перед тем как начать осмотрелся, нашел, где земля треснула, и давай в эту щель шанцевым инструментом вгрызаться. Пока сосед мучается, из-за его бруствера уже табачным дымком потягивает. Будто и не торопился, а все вышло в аккурат.

Выпадет передышка, Унан, бывало, о своей довоенной жизни вспомнит, заговорит, будто сам про себя, только вслух — степенно, душевным кавказским говорком. Какая тут усталость! Пахнет вдруг душистым теплом юга, как наяву представят боевые товарищи и сады, и виноградники в голубой дымке, и чистой бирюзы высокое небо, под которым даже снеговые вершины будто присели, смирили свою гордыню. «Как у нас сады цветут! Ай-ай...»

Дома Унан был бригадиром, и здесь, на фронте, он — помкомвзвода.

Что-то доверительно-дружеское в его рассказах неизменно располагало к нему людей. С ним легко сходились. Он не задавался и не замыкался в себе, но не надоедал, не навязывался.

По-разному смотрят на таких. Одни недолюбливают — из зависти. Другие высокомерно принимают их за простаков, сдуру, мол, откровенничающих перед кем попало: эти привыкли жить только в себе. Третьи же, и таких, к счастью, большинство, видят истинную красоту их души, становятся их искренними друзьями.

...Немцы, засевшие в дзотах, не жалели патронов, бешено строчили из бетонных щелей. Взять их приступом нечего было и думать. Откос простреливался сверху донизу. Лишь только бойцы поднимали головы, над ними начинали пронзительно посвистывать пули. Фонтанчики мергелевой пыли строчками прошивали каменистый косогор.

У командира есть право послать подчиненных на смерть. Унан, конечно, знал: если он прикажет, солдаты ползком, перебежками станут продвигаться к огневым точкам. Но не дойдут. Полягут.

Он пополз к дзотам сам.

Артуш представлял, как это было.

Унан вдавливался в каменистый склон, чувствуя, как душно и пыльно пахнет прокаленная огнем земля.

...Там, в Армении, уже созрели яблоки, висят, как золотые фонари, и виноград светится янтарными гроздьями. Сейчас бы пройтись по дворам, как бывало, созвать народ, пошли бы они убирать яблоки, виноград, помидоры, капусту. Уберут ли?..

Тра-та-та... Каменистый косогор, душная пыль и в ушах неумолчные треск автоматов, свист пуль. Так вышло, что свою долину он защищает здесь, возле Новороссийска. Подступы к его селу под Кафаном начинаются отсюда, отсюда начинается для него Кавказ и вся страна, без которой — он носил это в себе как истину — не может жить отдельно ни Араратская долина, ни его Армения.

Пробрался-таки к одному дзоту. Граната. Другая... Пулемет умолк. Во втором дзоте остервенели. Испугались! В бетонном бункере испугались. Выходит, он сильнее их. Сильнее!

Тра-та-та... Бьет отчаянно пулемет из второго дзота. Уперся в неровность, напрягся, надо пересилить себя, свой страх. Надо! Сдвиг, еще сдвиг. Туда, ко второму дзоту... Обожгло голову, косогор колыхнулся, встал почти отвесно. Строчили оттуда, сверху. Подтянуться на руках, проползти еще, еще немного. Снова обожгло. Руки слабеют. Сейчас он сорвется и покатится по косогору в бездну. Пальцы деревенеют, не держат.

Он приподнимается и идет во весь рост. Вот она, огненная, пульсирующая точка. Он хочет закрыть ее собой. Но она со всей громадой горы опрокидывается на него.

Так представлял Артуш, его даже покачивало слегка, будто он был на месте Унана, словно сам, истекая кровью, шел под пули.

Жил в их селе человек, ходил по тем же улицам, по тем же тропам, жил так же, как жили они, не думая о смерти, все было для него: горы, небо, сады, воздух. И ничего нет. Теперь для него ничего нет! И его нет.

Артуш пытался вообразить себя погибшим и не мог. Не мог представить, что лежит под землей, не дышит, не чувствует, не слышит — и ничего нет... Об этом можно сказать, но невозможно представить. А для Унана все это уже свершилось. Давно свершилось.

Стоит и поныне в селе дом Унана, а сам он лежит в этой крепкой мергелевой высотке, и ты пришел к нему от его родных стен: что на сердце? Что сказать?

— У памятников нужно прочувствовать, пережить прошедшее так, словно не чья-то, а твоя жизнь оборвалась на этом месте...

Артуш говорил медленно, и было видно — это не просто слова, а им открытая в себе боль.

Богомольная старушка не пройдет мимо церкви, не перекрестившись, мы же порою даже не остановимся у памятника, не задумаемся на минуту о людях, которым этот памятник поставлен. Памятники становятся частью архитектурного ансамбля, служат украшением площадей, а задуматься о подвиге нам порой недосуг.

Вспомнилось, один ветеран войны в разговоре все удивлялся: в каком-то городке Вечный огонь зажгли чуть ли не на базарной площади — хотели, видно, как лучше, где больше народу, а вышло наоборот: в толчее его никто не замечал. На большом заводе памятник погибшим поставили перед проходной. Думали, люди будут идти на работу и с работы — памятник перед глазами. А кто остановится, если все спешат в цехи, а после работы — домой.

Дни памяти должны совпадать с народными днями поминаний.

Памятники заставляют о многом задуматься, когда они стоят на земле былых боев. Дубосеково, Мамаев курган, Куликово поле, Бородино... К сожалению, в последнее время боевые реликвии принято переносить с мест прошедших боев в музеи, будто нарочно делается все, чтобы не осталось от тех дней никаких следов. Понятно, все огромное поле солдатской Славы не оставишь заповедным — его надо пахать, засевать, но в Волгограде, на Малой земле, собраны пушки, снаряды, стоят танки и катера тех лет — все это размещено под открытым небом и производит незабываемое впечатление. На местах партизанских стоянок восстанавливают старые, обвалившиеся окопы и землянки, траншеи и ходы сообщений. Незачем отсюда нести каждый найденный пулемет, каждую проржавевшую гранату в музеи и прятать под стеклянные колпаки или, что совсем плохо, сваливать их в запасниках.

Естественные «музеи» под открытым небом, воспроизводящие обстановку военного времени, трогают сердце своей достоверностью, человек осознает: именно здесь шло сражение, здесь гибли люди... Вся их атмосфера способствует раздумьям о прошлом и настоящем, о жизни и подвиге. Это места возвышения человеческой души, места очищения и укрепления в доброте и верности. Людям жить без этого нельзя. Это потребность. Без этого душе голодно.

Истина становится кровной, когда

она пережита. Артуш стоял у надгробья Унана, смотрел на горы и понимал: здесь, на этой земле, надо служить в полную силу. И даже больше: надо превзойти себя.

У всех бывает день и час новоселья. Начало новой жизни. Как она сложится? Как отнесутся к тебе?

На заставе, хоть все и одеты одинаково, люди, как и везде, разные. Из разных мест, из разных семей. Сдружишься, не сдружишься, пойдет служба, не пойдет — от многого, в том числе и от тебя, зависит. Понять себя в новой жизни надо, правильно поставить.

Пограничная застава — статья в армии особая. Она — воинский островок, обособленный, замкнутый. Разве только на подводной лодке экипаж более уединен. Здесь все располагает к общности. По себе сужу: служил в мотопехоте, дружно жили, но, пусть извинят товарищи, не испытал такого доверительного братства, какое видел на заставе. Входишь, будто в окоп на передовой, как на край света ступаешь: родная земля кончилась, дальше — чужбина. Воины, что служат здесь, каждый час, каждую минуту, считай, в боевой обстановке.

Адамян быстро освоился в казарме. Открытый и без претензий, он не напрашивался в друзья, но и не чурался товарищей. Первый год как на крутую гору взбирался, плохим пограничником быть не хотел. И не мог. Перед Унаном не мог, перед памятью гор и моря.

Поначалу не в силах был ничего поделать с собой. Нескладный, «мотылястый», как о нем говорили,— ни пробежать быстро, ни подтянуться на турнике, и в стрельбе не получалось, и граната летела как-то кувырком и падала у него же под носом. Начнет разбирать автомат, обязательно что-нибудь уронит, пока ищет, не то что в норматив, в два не уложится. И в строю вышагивал как на ходулях. И смех и грех. Самому неловко. Как же так, из того же села, что и Унан, а не солдат.

— Отчаялся я тогда,— вспоминает Артуш.— И подумать не смел, что выправлюсь. И все-таки старался.

Не такая уж большая беда, что на первых порах многое не умел. Главное — хотел, чтобы получалось. Не ушел в себя, не замкнулся. Понимал и принимал дисциплину. Понимал и принимал приказы. Сам себя заставлял: надо...

В другом деле, наверно, и не переживал бы: не получается, и ладно. А здесь, на «своей» заставе, стыдно оплошать. Как хочешь, а переломи себя.

— Мне даже приснилось, Унан говорит: «Ты думаешь, мне легко было. И я никогда бы не поверил, что смогу решиться на такое, но ведь мы с тобой из села Нав, разве у нас плохие люди. Вспомни отца, мать, не огорчай их... Они надеются, ты сильный, только сам не знаешь».

И он взялся за себя. Встать пораньше. Пробежка вдоль забора. Подтянуться на турнике. Сборка, разборка оружия. Не шаркай кирзачами по земле, вырабатывай шаг.

И так не с одним Артушем происходило. Гарегин говорил о том же. Об Игоре Захаряне и упоминать нечего, он эту школу уже прошел и теперь учит других. Младший сержант! Парни чувствовали, поднимаются в них светлые силы, чувствовали, что способны и готовы на большее, и то, что их пугало совсем недавно, сегодня по плечу.

Знал Пал Палыч, как зовут на заставе за глаза Редько, что все перемелется — мука будет. Строг, но строгость у него от уверенности, а не от бессилия. Потому незлая, добрая. Внушает солдатам и своим помощникам, заместителю и старшине: надо, чтобы по совести. Не скупитесь на доверие. Тут нужно чутко дозировать, наставлял он, строгость и душевность.

В этих его словах явно угадывалось нежелание обходиться только командирской властью. Он пользовался еще властью сердца. Без этого, по его мнению, не будет доверия. И оно завоевано «благодаря — его слова — кропотливой работе заместителя, старшины и сержантов». Те, в свою очередь, убеждены: все идет от командира. Обе стороны, впрочем, правы, да и сторон-то нет. В одном окопе.

Приказать служить, как положено, можно. Приказать служить с душой нельзя. У Редько служат с душой.

Впрочем, он так не говорит. Он говорит: «Каждый знает, что служит не мне, не замполиту, а народу».

Артуш с Гарегином сидят на крыльце кухни, чистят картошку. Очищенные картофелины бросают в бачок с водой. Вода булькает, и это единственное, что нарушает тишину. Наконец Артуш произносит:

— Сколько людей было летом на пля-

же! Если бы они знали, что тут в войну происходило. Купаются, загорают, смеются. А тогда... Понимаю, от тяжелой памяти мы не должны разучиться смеяться. Но за смехом не надо забывать...

— Павших радость жизни не обидит,— философски отзывается Гарегин.— За нее не следует извиняться. Помнить не значит хмуриться. Помнить — значит жить.

Артуш повторил: «Помнить — значит жить. А жить — значит помнить? Нет, не так. Жить — это значит жить. Своей жизнью. Как это своей? У человека, которого задержали на соседней заставе, когда он пытался проникнуть на чужое судно, тоже была своя жизнь. Нигде не работал, ходил по ресторанам, как-то добывал деньги. А когда накопилось много долгов, и денежных, и моральных, и надо было отвечать, решил сбежать. Это жизнь? Нет, это падение»,— думал Артуш. Конечно, у каждого свое. Но ведь говорил же ему в школе одноклассник: «Не хочу, чтобы на меня влияли. Хочу быть самим собой. Не хочу спешить, не хочу быть первым. Хочу просто жить». Это своя жизнь?

Он усмехнулся, подумав про себя по-школьному, чужими словами: «И жить торопится, и чувствовать спешит». Шире, шире надо видеть и чувствовать. Не хочу жить только своей жизнью. Хочу жить жизнью людей».

Тихо кружил листопад. Стояло бабье лето. Было непривычно тихо для здешних мест, припекало осеннее солнце. Сверкало море. Отдыхали пирамидальные тополя, погнутые обычными здесь валящими с ног норд-остами. У ворот раскинули ветви могучие крученые вязы, словно подставляли ладони последним теплым лучам солнца. Булькала вода в бачке с начищенной картошкой. Возле котельной двое, сняв пояса и расстегнув воротники гимнастерок, кололи дрова. В клетке поскуливала овчарка Арфа. Скучно ей взаперти. Шли по морю суда, рядом с заставой добирали с плантаций последний виноград, жгли опавшие листья. День был такой мирный, что, казалось, застава тут совсем ни к чему. Но на постах не видно, не слышно несли службу наряды. На границе все может быть.

Стемнело. Наряд прожектористов старшего сержанта Крюкова выкатывает по рельсам из ангара свою «лампадку». В этом отличном наряде служит Артуш. Все он теперь умеет. Чисто, не шаркая, ходить в строю, быстро бегать по разъезжающейся под ногами гальке, работать на радиолокационной станции и, конечно, управляться с прожектором. Был случай: по морю шла неопознанная цель. Дул сильный норд-ост. Ветер порвал электролинию. Прожектор оказался не у дел. Резервный дизель, как назло, на ремонте. А дежурный требует осветить, что там плывет, в темноте. Что делать? Выход один — быстро собрать раскиданный дизель. Наряд собрал его за считанные минуты. Оказалось, штормом унесло в море бревно.

В наряде трое: Крюков, Свириденко, Адамян. И снова в который раз прожектористы доказали: воины отличные.

И не только они. Все, что произошло с Артушем, пережили и другие. Застава шесть раз подряд подтверждает звание отличной.

Артуш сознает, как он повзрослел за эти два года. Никакая он не цапля, нормальный парень. Стройный, походка что надо, в разговоре не пустословит... Приезжала делегация из Армении — рабочие совхоза из села Нав, брат Унана — Амаяк. Так совпало, в день их приезда на заставе был поднят флаг в честь рядового Адамяна, ставшего победителем солдатского соревнования. Все сдал на «отлично»: огневую подготовку, и политическую, и физическую.

Ничего не случилось на заставе. Нарушители не пытались проникнуть на ее участке. «Случайные» суда не заходили в территориальные воды. Можно ли в этом случае говорить о чем-то таком, чтобы поставило нынешних солдат вровень с героем, чьим именем названа застава? Можно. Произошло очень важное: человек стал Человеком, живущим жизнью людей.

Рассветает. На прожекторных рукоятках осела роса. Будто пот выступил от напряжения. Крюков, Свириденко, отключив «лампадку», оглядываются. По изгибам гор сначала узко засветилась малиновая полоса, она на глазах разгоралась и разгоралась и вот уже стала широким золотым пологом.

— Эх, ребята, ребята... Вот ты,— Артуш поворачивается к Крюкову,— кемеровский, у тебя там уголь, терриконы. Ты,— он кивает Свириденко,— с

Украины, у тебя степь. А у меня...— Он мечтательно молчит и вздыхает.— Знаете, какое сейчас утро в нашем селе? Белые вершины сверкают в лучах солнца. А в долине еще сумрак, синий, как вот это море. Над речкой Басуд легкий туман, и старый рыболов уже раскинул свои удочки. Времени у него немного: проснутся мальчишки, прибегут на берег, всю рыбу распугают.

Артуш развоспоминался. Горы обступили село Нав. Как и сорок лет назад, когда жил Унан, взвивается над Араратской долиной солнечный купол, и речка Басуд торопится вниз, чтобы там, на равнине, успокоиться и исчезнуть, растворившись в большой воде широких рек, и вместе с ней влиться в море. Свое название реки доносят до устья и отдают себя морю, ради продления его вечного неизмеримого могущества и красоты. Они умирают, чтобы дать жизнь новой стихии. И остаются жить — текут и текут.

Басуд стекает вниз. Судьба героя восходит к вершине.

Приезжали на заставу отец и мать Артуша. Аршавир Хосровович, бухгалтер совхоза имени Унана Аветисяна, и Амалия Джумшутовна, домохозяйка, привезли араратских яблок. Старшина, кажется, немного обиделся: «Да мы своих намочили четырнадцать бочек!» Но гости вежливо обошли обиду: не для того везли, что боялись, нет на заставе своих, а для того, чтобы домом пахнуло.

Порадовать сына. И радовало их, что сын к лучшему изменился. Спасибо командирам. Спасибо заставе. «Вам спасибо за отличного воина»,— сказал Редько.

Замечательные парни из села Нав.

Крюков и Свириденко слушают рассказ Адамяна о родном селе, вспоминают свой дом. У одного Анжеро-Судженск перед глазами, у другого — Жданов. И отцы, собирающиеся на работу, и матери, занятые стряпней. Милые папа и мама... Пусть будет все благополучно в нашем доме.

Блики пурпурной зари пролились на косогоры, на долину и на взморье. Все окрасилось в радостный цвет утреннего пробуждения. И тревоги. Словно проступили на камнях капли неумирающей праведной крови.

— Смотрите, смотрите,— вскрикнул Артуш,— красные чайки! Красные чайки!

Над урезом воды парили, зависая у самых волн, красные от багровых отсветов птицы. Казалось, они прилетели оттуда, из сорок третьего...



ДОРОГИ ПАМЯТИ

Страницы истории Великой Отечественной войны являются для нас открытием человеческих судеб, ярких характеров, рассказывают об истоках народного подвига.

В июле 1981 года вышло в свет постановление Бюро ЦК ВЛКСМ «О проведении Всесоюзной поисковой экспедиции комсомольцев и молодежи, пионеров и школьников «Летопись Великой Отечественной».

Комсомольцы и пионеры страны получили важное задание — записать воспоминания ветеранов войны и труда. Были созданы поисковые группы следопытов великого Подвига. Святая цель всей их работы — не допускать бесследного исчезновения страниц героической истории Великой Отечественной, сохранить для будущих поколений воспоминания, по возможности, всех участников войны.

Проведение Всесоюзной встречи правофланговых поисковой экспедиции с участниками битвы под Москвой (декабрь 1981 г.), в июне 1982 года — с участниками Сталинградской битвы показало, что экспедиция на верном пути.

Одним из самых жарких событий минувшего года были встречи правофланговых Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной» с ветеранами Курской битвы, которые проходили в городах Курске, Орле и Белгороде.

Как видим, такие встречи стали традиционными. Главное их назначение состоит в том, чтобы каждый их участник сердцем своим прикоснулся к неиссякаемому источнику героизма, заглянул в сокровенные уголки солдатской памяти, ощутил, какой огромной ценой была достигнута Победа и как велик вклад в нее каждого ветерана войны — от солдата до маршала.

И наверное, непередаваемо то волнение, что испытывали комсомольцы и пионеры, молодые рабочие комсомольских бригад, когда в феврале, в дни сорокалетия подвига, пришли на место гибели Александра Матросова, чтобы почтить память Героя Советского Союза, и волнение тех, кто в теплые майские дни Всесоюзной вахты памяти стоял у Вечного огня Брестской крепости.

Навеки символом мужества, беспредельной преданности Родине стали герои-пограничники, первыми принявшие на себя всю тяжесть коварного удара.

И теперь, когда начинается подготовка к празднованию 40-летия Победы, по-особому звучат волнующие слова приказа: «На охрану Государственной границы СССР заступить...» И, возможно, кто-то из ребят, стоявших у Вечного огня Брестской крепости, в будущем удостоится чести ответить на этот приказ: «Есть!..»

Вечный огонь стал истоком дорог Памяти. Несколько лет назад родилась эта традиция и стала жизненно важной и необходимой. Каждый год в канун Дня Победы с 3 по 9 мая проводится Всесоюзная вахта памяти. В ней участвуют республиканские, краевые и областные комсомольские организации, все комсомольцы и молодежь, пионеры и школьники.

Память... Она привела юношей и девушек 7 мая в Гремучий лес под Ровеньки, где встретили свой последний час герои «Молодой гвардии».

Звучали песни времен Великой Отечественной, к могилам казненных молодогвардейцев легли красные гвоздики, будто символ неколебимости революционных традиций, которым до конца остались верны герои-комсомольцы. И так было везде во всей нашей стране. Огромной, великой стране, о которой так проникновенно писал в письме с фронта один из солдат Великой Отечественной: «...В глубине чужой страны, среди людей с понятиями о человеческих достоинствах, так непохожими на наши, ежеминутно мысль летит туда — на восток, где осталась далеко-далеко Родина, любовь, мечты. И, пройдя множество мест, увидав много разных людей, присмотревшись к нравам и обычаям, мысленно я стремлюсь в Россию. Ничто не успокоит моей тоски — ведь я русский человек!»

У Вечного огня берут начало дороги Памяти и уводят в вечность, в бессмертие, которому принадлежат имена героев войны.

Всесоюзная экспедиция «Летопись Великой Отечественной» продолжает свою работу.

ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1944 г.)

24 декабря 1943 г.— 17 апреля 1944 г.— Операции 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов при содействии Черноморского флота и Азовской флотилии по освобождению Правобережной Украины.

14 января — 1 марта — Наступление Ленинградского и Волховского фронтов при содействии Балтийского флота под Ленинградом и Новгородом.

27 января — Окончательное снятие блокады Ленинграда.

28 января — Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов завершили окружение корсунь-шевченковской группировки противника. 17 февраля группировка была ликвидирована.

26 марта — Войска 2-го Украинского фронта вышли на реку Прут — государственную границу СССР и Румынии.

8 апреля — 12 мая — Освобождение Крыма войсками 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии при содействии Черноморского флота и Азовской флотилии.

— Войска 1-го Украинского фронта вышли на государственную границу с Чехословакией и Румынией.

10 апреля — Войска 3-го Украинского фронта освободили Одессу.

9 мая — Войска 4-го Украинского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом освободили Севастополь.

6 июня — Англо-американские войска высадились в Нормандии (Северная Франция). Открылся второй фронт в Западной Европе.

23 июня — 29 августа — Белорусская операция 1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фронтов.

3 июля — Войска 3-го и 1-го Белорусских фронтов освободили столицу Белоруссии Минск.

13 июля — Войска 3-го Белорусского фронта освободили столицу Литовской ССР Вильнюс.

13 июля — 29 августа — Львовско-Сандомирская операция 1-го Украинского фронта.

17 июля — Войска 1-го Украинского фронта пересекли границу СССР и вступили на территорию Польши.

— Через Москву были проконвоированы 57 600 военнопленных солдат, офицеров и генералов, захваченных в Белоруссии.

28 июля — Войска 1-го Белорусского фронта освободили Брест.

29 июля — Войска 1-го Украинского фронта начали форсирование Вислы в районе Сандомира.

20—29 августа — Ясско-Кишиневская операция 2-го и 3-го Украинских фронтов.

23 августа — Начало антифашистского восстания в Румынии.

24 августа — Войска 3-го Украинского фронта освободили столицу Молдавии Кишинев.

24—29 августа — Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов окружили и уничтожили крупную группировку немецко-фашистских войск в районе Кишинева.

29 августа — Начало Словацкого народного восстания.

— Советские войска завершили Белорусскую наступательную операцию, вышли на реку Вислу и освободили значительную часть Польши, форсировали реку Неман и подошли к границам Германии.

31 августа — Войска 2-го Украинского фронта вступили в столицу Румынии Бухарест.

8 сентября — Советские войска вступили в Болгарию.

— Болгария объявила войну Германии.

8 сентября — 28 октября — Карпатско-Дуклинская операция 1-го Украинского фронта.

9 сентября — 28 октября — Карпатско-Ужгородская операция 4-го Украинского фронта.

14—17 сентября — Войска 3, 2 и 1-го Прибалтийских фронтов перешли в наступление с целью полного освобождения Советской Прибалтики.

15 сентября — Войска 3-го Украинского фронта по согласованию с болгарским правительством вступили в Софию.

22 сентября — Войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом освободили столицу Эстонской ССР Таллин.

27 сентября — 24 ноября — Операция Ленинградского фронта и Балтийского флота по освобождению Моонзундского архипелага.

28 сентября — 20 октября — Белградская операция 3-го Украинского фронта.

6 октября — Советские войска во взаимодействии с 1-м Чехословацким армейским корпусом овладели Дуклинским перевалом и вступили в пределы Чехословакии.

6—27 октября — Дебреценская операция 2-го Украинского фронта.

7 октября — 1 ноября — Операция Карельского фронта и Северного флота по освобождению Заполярья.

8 октября — Войска 2-го Украинского фронта завершили освобождение территории Югославии восточнее реки Тиса.

13 октября — Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов освободили столицу Латвийской ССР Ригу.

17—18 октября — Войска 3-го Белорусского фронта пересекли границу Восточной Пруссии.

20 октября — Войска 3-го Украинского фронта и части Народно-освободительной армии Югославии освободили столицу Югославии Белград.

22 октября — Войска Карельского фронта вышли на государственную границу СССР и Норвегии.

29 октября 1944—13 февраля 1945 — Будапештская операция 2-го Украинского фронта.

28 декабря — Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили окружение группировки немецко-фашистских войск в Будапеште.

— Временное Национальное правительство Венгрии объявило войну Германии.

Рукописи объемом до 1,5 а. л. не рецензируются и не возвращаются.

Альманах «Подвиг». Выпуск двадцать пятый

М., «Молодая гвардия», 1984

Редактор выпуска **С. Ионин**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Т. Кулагина**

На обложке репродукции картин **С. Никифорова**

Рисунки в тексте художников **М. Виноградова, В. Васильева, К. Фадина, Б. Федюшкина**

Сдано в набор 27.07.83. Подписано в печать 07.05.84. А07086. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Условн. печ. л. 14. Усл. кр.-отт. 28,5. Учетно-изд. л. 17,9. Тираж 150 000 экз. (75 001—150 000 экз.). Цена 1 р. 10 к. Заказ 961.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

